

Юрий Левада

УДК 316.65+316.654:323/324(470+571)

ББК 60.527+60.561.3+66.3(2Рос)

ЛЗ4

Левада, Ю. А.

ЛЗ4 **Сочинения** : социологические очерки 1993–2000 / Ю. А. Левада ; [сост. Т. В. Левада]. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издатель Карпов Е.В., 2011. – 506 с. : ил.
ISBN 978-5-9598-0150-2

Это пятая книга из серии, посвященной жизни и работе крупного ученого-социолога – доктора философских наук, профессора Ю.А. Левады. Она воспроизводит текст очерков «От мнений к пониманию», изданных в 2000 г. за исключением раздела «Проблема человека» (будет опубликован в шестой книге).

Эмпирическую основу очерков составляют обширные данные регулярных и специальных опросов, проведенных Всероссийским Центром Общественного мнения.

Теоретический анализ важнейшего события Новейшей истории – социально-политического перелома в России, представляет интерес как для специалистов, так и для широкого читателя.

УДК 316.65+316.654:323/324(470+571)

ББК 60.527+60.561.3+66.3(2Рос)

ISBN 978-5-9598-0150-2

© Левада Ю.А., 2000

© Московская школа политических исследований, 2000

© Русинов В.Ю., 2011

© Левада Т.В., составление, 2011



Библиотека
Московской
школы
политических
исследований

Ю. А. Левада

Социологические очерки
1993–2000

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	9
Общественные перемены и общественное мнение	11
Векторы перемен: социокультурные координаты изменений	13
Общественное мнение в год кризисного перелома	28
Факторы и ресурсы общественного мнения в условиях «постмобилизационного общества»	40
Факторы переменные и постоянные: сводный мониторинг 1994–1995	51
Пирамида общественного мнения в электоральном зеркале	66
Социально-пространственная структура: центр и регионы	85
Российское электоральное пространство	100
Человек политический: сцена и роли переходного периода	117
Факторы и фантомы общественного доверия	135
Социальные типы переходного периода: попытка характеристики	152
Массовый протест: потенциал и пределы	173
1988–1998: десятилетие вынужденных поворотов	191
Общественное мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки (К социологии политического перехода)	212
О природе общественного мнения	247
Элита и масса – проблема социальной элиты	249
Комплексы общественного мнения	264
Человек, толпа, масса	305
Еще раз о проблеме социальной элиты	327

«Средний человек»: фикция или реальность?	351
Индикаторы и парадигмы культуры в общественном мнении	371
Феномен власти: парадоксы и стереотипы восприятия	394
Показатели социальных настроений в «норме» и в кризисе	422
Проблема эмоционального баланса общества	439
Подводя итоги	477
Наши десять лет: итоги и проблемы (Околоюбилейные размышления)	479

От автора

В книге собраны статьи, публиковавшиеся в журнале «Мониторинг общественного мнения»¹ с 1993 по 2000 год. В отдельных статьях (особенно в таблицах) сделаны небольшие сокращения непринципиального характера, а также произведена незначительная стилистическая правка. Конечно, материал ряда исследований, использованный в статьях разных лет, в настоящее время утратил свое информационное значение и может служить лишь иллюстрацией или примером при разработке определенных теоретических и методологических положений.

В качестве названия сборника взят официальный девиз ВЦИОМ – «ОТ МНЕНИЙ К ПОНИМАНИЮ». В этой формуле выражен один из основных принципов работы нашего центра: использовать данные изучения общественного мнения для понимания процессов и перемен в социальной, экономической, политической и культурной жизни общества. Написанные в разные годы статьи подчинены решению этой достаточно сложной задачи. В некоторых из них, относящихся главным образом к первым годам работы, нетрудно обнаружить признаки упрощения и наивности при трактовке результатов исследований; надеюсь, что в статьях последних лет они встречаются реже.

Все статьи написаны на основе огромного фактического материала регулярных исследований, в которых участвует весь аппарат и весь коллектив ВЦИОМ, как московский, так и региональный. Собственно авторский «копирайт» относится только к интерпретации этого материала.

¹В 1993–1997 годах этот журнал, который издается Всероссийским центром изучения общественного мнения, выходил под названием «Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. Информационный бюллетень». – *Прим. ред.*

Инициатор издания сборника – многолетний пресс-секретарь ВЦИОМ В.П. Никитина. Большую помощь в подготовке материалов оказали сотрудники ВЦИОМ Ю. Орлова и Е. Цветкова.

На протяжении ряда лет ВЦИОМ успешно сотрудничает с Московской школой политических исследований. Результаты многих опросов ВЦИОМ обсуждались на семинарах Школы, некоторые исследования были подготовлены совместно. Директор-основатель Школы Е.М. Немировская активно содействовала выпуску книги. Не могу не выразить признательности Ю.П. Сенокосову за участие в подготовке этого издания.

*Москва
август 2000 года*

Ю. Левада

**ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ**

ВЕКТОРЫ ПЕРЕМЕН: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КООРДИНАТЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Уровни и предмет анализа в социальном исследовании

Результаты массовых опросов общественного мнения, как зарубежные, так и отечественные, чаще всего используются для получения информации о реальных или потенциальных *реакциях* людей на определенные события, на изменения в экономической, политической, культурной ситуации, на действия политических лидеров или средств массовой информации. Этим, однако, не ограничивается потенциал опросов как инструмента социального знания. При определенных условиях – наличии содержательных концепций, повторяемости и сравнимости исследований – данные массовых опросов могут служить средством изучения таких более устойчивых скрытых факторов социальной жизни, как социально-психологические *установки*, социальные *нормы*, социокультурные *ценности*. Факторы разных уровней взаимосвязаны, поэтому в результатах отдельного исследования обычно представлены сложные феномены, подлежащие аналитическому разделению. Так, например, одобрение или неодобрение каких-либо действий властей, удовлетворенность или неудовлетворенность условиями жизни или труда и тому подобное – все это показатели совместного воздействия ориентаций и установок, непосредственных реакций и шаблонов восприятия, задаваемых средствами массовой информации и так далее.

Научиться понимать сложность этого механизма формирования общественного мнения, а с его помощью и механизма общественных сдвигов, – особенно важно в обстановке бурных и неоднозначных перемен в России и других «постсоветских» обществах. Такое понимание позволяет видеть, насколько глубоки, устойчивы, в конечном счете, социально

эффективны наблюдаемые изменения в обществе.

ВЦИОМ за годы своей работы накопил определенный опыт изучения изменений в установках и ценностных ориентациях населения. Такие задачи ставились в программах ряда тематических блоков и специальных исследований, например, по проблемам бюрократии, национальных отношений, социальной антропологии «советского человека», культурных перемен. Ценный материал для изучения стабильности и изменений на уровнях ожиданий и ориентаций дают регулярные исследования по итогам года («Новый год») – своего рода мониторинг общественного мнения на его макроуровне.

Некоторые результаты этих исследований (1988–1992), на которых мы остановимся ниже, позволяют обозначить определенные принципиальные направления или *вектора*, тех социальных и социокультурных перемен, которые измеряются в зондажах общественного мнения.

Политическая мобилизация и апатия

Многочисленные свидетельства и данные говорят о повсеместном снижении интереса людей в указанные годы к политической деятельности, нежеланию и невозможности участвовать в ней значительной части населения. Сравним в этом плане результаты ежегодных опросов ВЦИОМ.

Таблица 1

«Можете ли Вы сказать о себе: ...?»
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	1988	1989	1990	1991	1992
Я всегда принимал участие в общественно-политической жизни	10	13	7	4	3
Для меня сейчас открылась возможность участия...	11	4	1	1	0,5
У меня по-прежнему нет возможности участия...	33	22	21	17	19

Продолжение табл. 1

Варианты ответа	1988	1989	1990	1991	1992
Я в последнее время разочаровался в политике	–**	12	14	16	16
Для меня самое главное – судьба моего родного народа	34	32	26	28	26
Политика меня не интересует	11	12	11	21	25

* Опросы, как правило, проводились в декабре текущего или в начале следующего года. Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

** Этот вариант ответа не предлагался.

Перед нами вполне очевидная тенденция неуклонного снижения политического участия и политических интересов населения (кстати, и к «судьбе родного народа», то есть к этнополитической интерпретации этих интересов).

Уместно сопоставить эти данные с результатами ответов на вопрос о «человеке года», который ставится в каждом годовом исследовании ВЦИОМ. Избранником неизменно оказывался первый политический лидер страны (М. Горбачев, затем Б. Ельцин). Но при этом доля респондентов, указывающих имя лидера года, неуклонно уменьшалась.

Таблица 2

«Человек года»
(в % от числа опрошенных)*

	1988	1989	1990	1991	1992
М. Горбачев	51	44	16	14	1
Б. Ельцин	5	19	44	38	17

* Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Получается, что самый популярный в России деятель собирает в начале 1993 года менее пятой части условных «голосов». Правда – и это чрезвычайно существенно – при том условии, что популярность измеряется вне сфер политической напряженности и конкуренции, в каком-то сконструированном исследователями абстрактном поле оценок. В некоторых других опросах (например, о доверии к лидерам) в зависимости от контекста и формулировки вопроса одобрение деятельности Б. Ельцина высказывали от четверти до трети опрошенных.

Такие показатели дали основание некоторым наблюдателям и политическим деятелям (прежде всего, оппозиционным правительству) ожидать, что большинство населения не проявит в этой связи интереса к референдуму о доверии президенту и его политике, проводившемуся в апреле 1993 года. Как известно, эти ожидания не подтвердились: в условиях нагнетания политической напряженности вокруг референдума большинство населения приняло участие в голосовании и сделало выбор в пользу политики президента и правительства.

Налицо, таким образом, очевидный парадокс: выражен относительно высокий уровень политической поддержки власти при стабильно низких показателях интереса к политике, доверия к политическим лидерам и институтам.

Для объяснения этого парадокса представляется важным оценить сам характер политического участия и политической поддержки в постсоветский период – во время «перестройки» и в последующие годы. Следует принять во внимание, что в советском обществе никогда не существовало того типа политической активности и тех политических институтов, которые привычны на Западе, – политических партий, многопартийных выборов, конкуренции партий и партийных программ, парламентской оппозиции и пр. Возникшие в России после 1988–1990 годов феномены с подобными названиями в лучшем случае можно считать лишь некими подо-

биями соответствующих западных институтов, учитывая, что политические партии в России не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на население и не организуют его политическую активность. Если на Западе партии выдвигают свои политические программы и своих лидеров до парламентских выборов, то в России сами партии стали заявлять о себе только *после* первых демократических выборов (и после ликвидации официальной монополии КПСС на власть). Активно, а нередко и агрессивно выступавшая в то время оппозиция политическому руководству страны (прежде всего президенту) опиралась не на какие-либо массовые организации типа политических партий, а преимущественно на остаточные структуры прежнего, партийно-советского строя.

Поэтому, несмотря на формально существующий политический плюрализм, реальные отношения политической поддержки и доверия (и соответствующие негативные установки) по-прежнему, как и в советском «монолитном» обществе, строились вокруг одной-единственной оси – «власть и народ» – при отсутствии того набора посредующих социальных и политических организаций, которые характерны для гражданского общества.

Это значит, в частности, что механизмом политической активности и сегодня остается *мобилизация* массовой поддержки с помощью пропаганды, массовой информации и, в некоторой мере, личного влияния лидеров. Уменьшение роли прямого насилия, запугивания и дезинформации масс не ликвидировали этот механизм. Общество мобилизационного типа, как показывает опыт всей советской (и не только советской) истории, может проходить *два состояния* – политического «мобилизационного» возбуждения и политической апатии, отключенности. Относительно краткий – если он не поддержан особыми обстоятельствами и рычагами воздействия на массы, как это было в условиях войны – период эмоционального и морального напряжения неизбежно чередуется с периодом доминирования рутинных, «апатичных» меха-

низмов социализации и социального контроля.

Начало политических реформ в годы горбачевской «перестройки» (имеются в виду 1988–1990 годы) обеспечило некоторую степень политической мобилизованности общества, в основном затронувшей его элитарную часть. Нынешнее российское общество также сохранило механизм и потенциал общества мобилизационного, то есть способного в определенных условиях переходить из апатичного состояния в возбужденное. Что и произошло во время апрельского референдума 1993 года, когда мобилизация общественной поддержки для политики президента Б. Ельцина стала возможной потому, что действия оппозиции были (с полным основанием) отождествлены с попыткой реставрации «старого режима».

Ситуация политической напряженности, сложившаяся перед апрельским референдумом (после двух съездов народных депутатов и угрозы отстранения президента от власти) изменила тогда значение самого вопроса о доверии политическому лидеру страны и о политике, которая в массовом сознании отождествляется с ним. Здесь, как можно полагать, был задействован тот же механизм политической мобилизации. В итоге, если в «спокойной» (условно) ситуации Б. Ельцин с некоторым трудом набирал около трети поддерживающих его голосов, то в обстановке мобилизационного напряжения часть людей, которая соглашалась поддержать президента с оговорками или воздерживалась от поддержки, была поставлена в положение простого и категорического выбора. Произошло примерно то, что происходит в условиях собственно военной напряженности и мобилизации – сплочение сил вокруг центра и лидера. (Еще более грубая аналогия – поведение стада в условиях смертельной опасности.) Различия в оттенках и оговорки при этом, естественно, не исчезли, но были отодвинуты на второй план. Соответственно оказалась в очередной раз отложенной до лучших времен и задача формирования собственно политических механизмов жизни общества.

О природе и функциях общественного мнения в постсоветском обществе

В условиях показного принудительного «единомыслия» тоталитарного общества существование общественного мнения в современном смысле этого слова было невозможным. Показное одобрение действий власти, лукавое стремление сохранить некоторую долю приватности обыденных интересов, а также относительно слабые попытки сопротивления тотальному контролю над мыслями, – все эти компоненты традиционного «советского» сознания исключали ту независимость мнений отдельных людей, которая является обязательным условием функционирования института общественного мнения в современных цивилизованных обществах. Возможность появления независимых мнений как социально признаваемого и социально значимого института появилась (точнее, начала формироваться) с распадом тоталитарных структур общества и устранением принудительного контроля над мыслями, с началом формирования политического и идеологического плюрализма. Однако тоталитарные по своему происхождению шаблоны и механизмы принудительного единомыслия (как «за», так и «против»), а также неперенного фокусирования общественного внимания вокруг носителей верховной власти по-прежнему задают тон или систему координат функционирования общественного мнения. Отсюда, в числе прочего, и особенности поддержки населением политических лидеров нынешнего переходного периода (равно как и отказа в такой поддержке). Проблема лидерства нуждается в особом рассмотрении и потому в данном очерке не затрагивается.

Разброс мнений отдельных лиц и групп, которые суммируются в опросах исследователей общественного мнения в России, остается сравнительно небольшим. Стандарты единого принятия или отрицания (соответственно, доверия и недоверия к институтам и деятелям), напротив, по-

прежнему влиятельны, а могущество монопольных средств массовой информации (прежде всего, телевидения) – практически неоспоримо. В итоге значительная часть исследований общественного мнения имеет дело не столько с «гласом народа», сколько с отголосками шаблонов и оценок, распространяемых средствами массовой информации. Это нельзя, правда, понимать как простое принятие таких оценок, тем более, что существуют заметные различия в политических и даже нравственных ориентациях СМИ, особенно печатных. При весьма ограниченном наборе стандартов политических оценок (тяготеющих к примитивной оси тотального одобрения–отрицания) существует возможность *выбора* между самими стандартами.

Неразвитость, упрощенность политической самоорганизованности российского постсоветского общества – постоянный источник конфликтов и кризисов, фактор превращения социально-политических противоречий в личностные (и наоборот).

События, связанные с конституционным кризисом весны 1993 года (до и после референдума) обнаружили еще один парадокс политического развития общества. Незрелость и нестабильность существующих политических институтов порождает попытки их легитимации при помощи непосредственного обращения носителей верховной государственной власти – прежде всего, президента – к общественному мнению. В принципе, именно такой попыткой явился референдум 25 апреля 1993 года, имевший статус сплошного опроса общественного мнения. Как эффективность, так и слабость подобных апелляций обнаружена последующей борьбой политических сил.

Общественное мнение – какова бы ни была степень его развития, многообразия, независимости – не приспособлено для того, чтобы быть непосредственной базой властных структур или наделенных властью деятелей; его «нормальная» функция состоит в том, чтобы служить, с одной сторо-

ны, поддерживающей опорой таких структур, а с другой – средством давления на них. Нельзя построить демократическую систему государственности целиком или преимущественно на демократических устремлениях и симпатиях людей, даже если они составляют весомое большинство. Но общественное мнение может быть (при определенных условиях, разумеется) одной из опор государственных институтов. Или же указателем возможного направления и способа формирования таковых. Или, наконец, что скорее всего наиболее близко к переживаемой Россией ситуации, – указателем того, какие варианты формирования государственных институтов нежелательны, неприемлемы для общества; в общественно-политических катаклизмах осени 1991 – весны 1993 годов как раз эта последняя из названных функций общественного мнения была весьма важной.

Социокультурные рамки деятельности человека

Опыт прошедших нескольких лет подтверждает, что сколько-нибудь устойчивую основу для ориентиров («указателей») общественного мнения в нашем неустойчивом обществе следует искать не на его политической поверхности, а в его «глубине» – на уровне социокультурных ценностных ориентаций, а также на уровне столь долго третировавшегося обыденного, повседневного человеческого опыта. Крушение идеологических и демонстративных структур советского общества сосредоточивает внимание исследователей на скрытых, в известном смысле «теневых», нормативно-ценностных структурах индивидуального и группового поведения.

В одной из работ авторского коллектива сотрудников ВЦИОМ, опиравшейся на специальное исследование общественного мнения, обосновывалась концепция принципиальной двойственности («двоемыслия») советского человека как

социально-антропологического типа¹. Официальное (демонстративное) и повседневное (практическое) сознания типичного советского человека всегда были взаимообусловлены и приспособлены друг к другу. Невероятно быстрое и легкое ниспровержение всей системы официальных лозунгов, запретов, социальных масок и прочего отнюдь не означало высвобождения «нормального» человека от сковывавших его пут. Сформированный эпохой принудительного единомыслия «советский» человек остается и надолго останется двойственным, приспособленным к отеческой заботе со стороны власти и готовым скорее к «единодушному» одобрению (или отрицанию), чем к ответственному действию и самостоятельной мысли. Но в то же время способным ценой сделки с властью обеспечить себе условия для выживания в собственной, «домашней» скорлупе. Ни быстрых, ни легких изменений в таких установках, конечно, ожидать нельзя.

Но доминирование определенного социального типа личности никогда не означало полного отсутствия иных типов. В переломные эпохи происходит, прежде всего, изменение механизмов доминирования и выдвижения на первый план меньшинства, которое обладает «востребованными» в данной ситуации характеристиками. (А в перспективе ряда лет можно говорить и о формировании новых доминант в новых поколениях.)

Давно уже стало очевидным, насколько противоречив и неоднозначен по своим последствиям этот процесс. Можно лишь пожалеть, что эта неоднозначность даже в среде социальных ученых чаще становится поводом для сетований, чем предметом изучения.

Определенный интерес для анализа представляет сопоставление ответов на вопрос об условиях «успеха в жизни»,

¹ См.: Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М.: Мировой океан, 1993.

который задавался респондентам в исследовании 1988 и 1992 годов.

Таблица 3

«Что нужно, чтобы добиться успеха в жизни?»
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	1988	1992
Упорно и целеустремленно работать	45	32
Знать свое дело	35	30
Обладать хорошими способностями	26	30
Уметь «вертеться»	19	31
Иметь большие связи	17	31
Встретить «настоящих людей»	14	8
Иметь обеспеченных родителей	10	14
Иметь родственников, занимающих высокие посты	8	9
Вести большую общественную работу	6	1
Иметь хорошие анкетные данные	4	1
Иметь интеллигентных родителей	2	1
Родиться мужчиной (женщиной)	2	4

* Исследования по программе «Советский человек», 1989 (N = 1250 человек) и «Культура», 1992 (N = 1800 человек). Сумма показателей превышает 100%, так как можно было отметить более одного варианта ответа.

Выделим три наиболее существенные различия в ответах разных лет. Во-первых, резкое снижение доли ответов, ориентированных на «образцовое» поведение («упорный труд» в данном контексте – не самостоятельная ценность, а прежде всего лозунг). Во-вторых, столь же заметный рост показателей демонстративной ловкости и цинизма («иметь связи», уметь «вертеться» и прочее). И, наконец, практически полное исчезновение чисто «советских» признаков («анкета», «общественная работа»). Найти признаки роста каких-то «новых» факторов продвижения – если не считать чуть более

частой апелляции к собственным способностям – нельзя. «Новым» здесь скорее является преодоление «старых» демонстративных факторов успеха. К выявлению наиболее эффективных факторов успеха современного образца, видимо, не удастся подойти с вопросами образца 1988 года.

Признаки перемен

О переменах в нормативно-ценностных ориентирах общества можно судить по результатам ряда исследований ВЦИОМ, в особенности по данным опроса «Культура» (1992). В соответствии с традициями теоретической социологии к сфере культуры (культурной подсистемы общества) отнесены различные типы признанных обществом стандартов, оценок и регуляторов. Именно сдвиги в этой сфере в конечном счете определяют устойчивость всех общественных изменений.

Наиболее существенными представляются три принципиальных направления перемен социокультурного порядка: разгосударствление, открытость, «приватизация».

На протяжении всего советского периода российской истории государство служило не только главным спонсором и цензором кино, литературы и так далее, но – что гораздо важнее – монопольным источником, интерпретатором и хранителем всей нормативно-ценностной сферы. Вездесущее и никому не подконтрольное, оно претендовало на нормативный контроль над всеми формами человеческого поведения – от сакрализованных предписаний относительно «служения» отечеству (то есть власти) и отношения к предельным ценностям жизни до правил коллективного и бытового поведения. Эти претензии, правда, никогда не реализовывались полностью и буквально. Лукавое «двоемыслие» всегда в определенной мере ограничивало всевластие официально декларируемых норм, оставляя некое пространство для нормативных сделок и компромиссов.

К этому можно добавить, что социальное целеполагание и нормотворчество стали в России государственной монополией задолго до советской эпохи. Государство (государь, власть) как верховный судья в вопросах добра и зла, как главный цензор и «кормчий» – реальность послепетровской истории, неперемный признак государственной модернизации общества. С этой функцией была связана и специфическая просветительская миссия литературы, прессы, а также и всего образованного сословия.

Сегодня происходит разрушение всего этого исторически сложившегося комплекса государственно-централизованного нормативного контроля за обществом. Одновременно наблюдается кризис эстетических, нравственных межличностных норм и критериев поведения. Этот кризис не тождествен нормативному коллапсу. Многообразие общественных структур, которое, как отмечено выше, никогда не было полностью подчинено жесткому централизованному контролю, обладает значительным потенциалом самоорганизации и саморегулирования.

Один из признаков конца государственной модернизации – кризис прежнего типа «просветительской», а точнее задающей некую общеобязательную норму, литературы и системы массовой информации. Вместе с тем происходит и изменение функции образованного интеллигентского сословия общества.

Традиционные для отечественной истории функции интеллигенции в принципе оказались исчерпанными. С концом государственной модернизации на первое место выдвигаются функции специалиста, носителя конкретного и специального знания, в том числе социального².

Другой мощный фактор изменений в культурной сфере созданной новой *открытостью* общества. Почти внезапно ли-

² См.: Гудков Л., Дубин Б. Конец харизматической эпохи // Свободная мысль. 1993. № 5.

шившись привычного колпака, а точнее, системы барьеров, призванных принудительно оградить заданное геополитическое и культурное пространство от разрушительных влияний внешнего мира, культура российского общества оказалась открытой для самых разнообразных влияний – от художественного постмодерна до нетрадиционных религий. Важнее здесь, видимо, не прямые, а так сказать, «фазовые» воздействия. С определенным запаздыванием по отношению к аналогичным событиям в западных странах наше общество переживает процессы и последствия формирования молодежной субкультуры, демографического перехода (к нуклеарной и малодетной семье), «сексуальной революции». Все эти процессы начались у нас ранее рассматриваемого периода, но в последние годы как бы вынесены на поверхность общественного внимания. Кроме того, действует официально признанная и широко принимаемая идея единства современной мировой цивилизации и универсальности ее ценностей.

В различных слоях общества – прежде всего, возрастных – эти влияния вызывают различные реакции. Налицо болезненные признаки разрыва и взаимного непонимания поколений «отцов» и «детей». Наиболее очевиден этот феномен при сопоставлении ценностных ориентаций молодых людей 18–25 лет и возрастной когорты «ветеранов».

Таблица 4

«Молодежные» и «ветеранские» ориентации
*(в % от числа ответивших по возрастным группам,
 по столбцу)**

Отдельные предпочтения	Молодежь до 20 лет	Ветераны старше 65 лет
Одобрительно относятся к западной культуре	56	12
Приветствуют частное предпринимательство	69	27
Любят военные песни	7	49

Отдельные предпочтения	Молодежь до 20 лет	Ветераны старше 65 лет
Одобряют идеи коммунизма	8	40
<i>Предпочитают праздник:</i>		
День Победы	2	49
Собственный день рождения	73	26

* Исследование «Культура», 1992 (N = 1800 человек).

Как видим, определенная часть общества, особенно люди старших возрастов и ряд представителей либерально мыслящей интеллигенции воспринимают процессы культурных «вторжений» как признаки некой катастрофы. Такие суждения представляются неоправданно упрощенными. В результате катастроф гибли лишь примитивные и жесткие системы культуры и цивилизации. Сложные современные культуры трансформируются, адаптируются вслед за социально-политическими и иными потрясениями, связанными с процессами включения в мировые потоки цивилизации. Подобные процессы происходят и в российском посттоталитарном обществе.

Существенную роль играет в этом процессе такой фактор, как индивидуализация или *приватизация* нормативных регуляторов общественной жизни. Фокусом жизни людей все более явно становятся повседневные человеческие интересы и потребности, семья, здоровье, дети, достойный уровень благосостояния. С немалым трудом в общественное сознание входит представление о том, каким образом социальные институты, государство, политика должны служить интересам человека, а не наоборот. Все это очевидно связано с утратой иллюзий в отношении государства, политической деятельности и, разумеется, всей идеологии «светлого будущего».

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ГОД КРИЗИСНОГО ПЕРЕЛОМА

1993 год оказался для России годом тяжелых потрясений, которые охватили все основные политические структуры общества и привели к глубоким изменениям в структуре и динамике массового сознания. При этом дело не просто в падении или росте доверия к отдельным лидерам, организациям, институтам власти и прочему: произошла смена *парадигмы*, механизмов «работы» и рамок движения этого сознания. В этот период не только завершился «романтический», как часто говорят теперь, период бури и натиска радикального экономического и политического реформаторства, но исчерпал себя и прекратил действие сам механизм преобразований общественных структур по воле и призыву правящей элиты. Причем это относится и к движущей силе и ко всей системе передаточных механизмов, обеспечивающих действенность общественного устройства определенного типа, — того, что было известно под именем советского, государственного, тоталитарного социализма. (Реанимация сил традиционно советской ориентации во время и после декабрьских выборов 1993 года далеко не означает реставрации условий монопольного господства этих сил.)

За короткое время практически сменились и «сцена», и правила политической «игры», а если присмотреться внимательнее, то и сами «игроки». Обрели иное значение те же действия, лозунги, персонажи, которые участвовали в политическом процессе год или более назад. И в то же время сменилась «оптика», способы видения этих сил и персонажей в общественном мнении.

Канва кризисного развития

В событийном ряду минувшего года наблюдений (от марта 1993 года до марта 1994-го) выделяются две группы собы-

тий, сходных по рисунку и существенно различающихся по принципиальной структуре. Первая относится к марту–апрелю (парламентский кризис, попытка импичмента президента, референдум как стремление найти выход из парламентского, а точнее, конституционного тупика при помощи прямого обращения президентской власти к авторитету общественного мнения). Вторая – от сентября–октября до декабрьских выборов (попытка радикального силового выхода из конституционного тупика, которая привела к первым альтернативным выборам). Где-то в промежутке между этими событийными всплесками произошло – и поначалу было замечено немногими – решающее изменение года: формирование защитного механизма массовой политической *апатии*, который оградил значительную часть населения от околотовластных страстей и тем содействовал социальному и даже физическому выживанию народа в условиях потрясений «в верхах». Обратная сторона этой медали – изменение содержания таких традиционных категорий политической жизни, как лидерство, доверие, поддержка властных структур или оппозиция власти.

В дни апрельского референдума 1993 года оказалась еще возможной мобилизация доверия и поддержки большинства в пользу президентской вертикали власти. Анализ данных опросов того периода позволил предполагать, что прямая апелляция к общественному мнению не способна обеспечить легитимность и стабильность политической системы при отсутствии соответствующих социальных механизмов.

В период осеннего кризиса президентской стороне не удалось добиться значительной мобилизации общественного доверия и поддержки. Данные мониторинговых и оперативных исследований показывают, что первоначальная волна одобрения относительно большинством действий президентской власти не оказалась ни высокой, ни устойчивой. Кроме того – и в конечном счете это, видимо, имело решающее значение – сама эта «волна» в условиях нарастающей

жесткой поляризации общественных сил имела иное значение, чем аналогичная тенденция в апреле, в условиях подъема общественных симпатий к президенту и силам его поддержки.

Это принципиально важное обстоятельство на первых порах не было адекватно понято ни политиками, ни исследователями. Организаторы избирательной кампании практически исходили из допущения, что «мобилизационная» модель событий марта–апреля сохранит свое действие в октябре–декабре. Главный недостаток первых социологических интерпретаций избирательной кампании в том числе и предлагавшихся специалистами ВЦИОМ – не столько в неполноте, недостаточной репрезентативности, запаздывании информации (все эти факторы, несомненно, действовали), сколько в отсутствии адекватной *модели* происходящих процессов.

Конец «мобилизационного» общества?

Понятие социальной мобилизации довольно давно и широко используется в социологической литературе для характеристики таких процессов, как концентрация массового внимания на узкой группе проблем, предельное упрощение социальных противостояний до оппозиции типа «свои–враги», монополизация власти и информационного влияния. В чрезвычайных условиях войн и кризисов подобные процессы происходят в разных обществах в течение каких-то отрезков времени; если они становятся необходимыми предпосылками самого существования общественной системы, последнюю правомерно рассматривать как мобилизационную. Классический пример – советская общественная система во все периоды своего развития, в том числе в «перестроечные» и «постперестроечные» годы.

Политическая жизнь и в 1985–1991 годы, и позже – по крайней мере, до осени 1993 года – строилась по мобилизационной схеме: монополия власти выступает единственным

источником общественной активности, политический лидер – главный фактор перемен, общество не структурировано, политические интересы не организованы, плюрализм носит преимущественно декларативный характер, а оппозиция верхушечный или кабинетный. Но в условиях надломленного посттоталитарного общества ресурсы этой модели его организации неизбежно должны были исчерпаться, что и произошло к осени 1993 года. На сроки и способы этого перелома, разумеется, повлияли конкретные действия, бездействие, просчеты власти и оппозиции. После декабря 93-го стало ясно, что все действующие силы политической жизни остались на своих местах, но сами эти места (роли) и политическая сцена в целом получили иное содержание.

Социально-политический *плюрализм* приобрел реальные черты с того момента, когда декларированные ранее партии, блоки, фракции превратились в элементы действующего политического механизма, а сам этот механизм стал функционировать по принципам непрерывного уравнивания действий различных сил и полей политического влияния. Правда, все эти субъекты политического действия в большинстве своем слабо организованы, неустойчивы. Спустя несколько месяцев после многопартийных парламентских выборов сказывается искусственность и поспешность появления на политическом подиуме партий, блоков, фракций, лишенных идейной и организационной определенности, меняющих свои лозунги и теряющих поддержку избирателей. Участниками политических процедур оказываются также ведомства, региональные власти, традиционные и новые группы давления – картина весьма далекая от европейских политических стандартов, но неизбежная при данных исторических и социальных предпосылках. Немало воды должно утечь, прежде чем случайный набор партий и фракций уляжется в рамки, подобные, например, европейскому политическому спектру.

Политическое лидерство, носившее в условиях мобилиза-

ционного общества черты «вождизма», то есть концентрации высшей власти, непогрешимого авторитета и харизматической инициативы в образе верховного руководителя, через серию политически болезненных трансформаций изменяет свой смысл. Подчеркнем: дело не только в том, что ни один из нынешних деятелей не собирает (в более или менее обычных условиях) голосов доверия даже одной пятой потенциальных избирателей. Потерпели существенную трансформацию такие политические категории, как «лидерство» и «доверие».

Исчезли, растворившись в атмосфере усталости и циничного скептицизма, ориентации на фигуры вождей, которые наделялись атрибутами сверхчеловеческого и сверхсоциального авторитета и превращались в предмет политического культа (как это было в период «классического» советского общества). Но вслед за этим исчерпал себя и популярный в «золотые» годы перестройки миф о вожде-поводыре, вожде-реформаторе, способном вывести народ из плена и пустыни в землю обетованную или найти точку опоры, чтобы вновь «перевернуть Россию». (Никакую фамилию нельзя сегодня и в обозримом будущем вставить в известную некогда песенно-мифологическую формулу «С песнями борясь и побеждая, наш народ за имярек идет».) 1993 год показал, что практически единственная роль, уготованная нынешним общественным мнением общенациональному лидеру (о лидерах партийного или локального масштаба речь не идет), – это роль символического авторитета, символа порядка, стабильности, легитимности социальных институтов и организаций. Эта необычная для отечественного политического сознания функция национального лидера оказалась центральной темой конфликта вокруг формул гражданского согласия, а также многочисленных дискуссий относительно перспектив и возможных персональных воплощений президентской власти в России.

Аналогичную метаморфозу неизбежно претерпевают и

массовые представления о функциях властных институтов в целом. Как видно из данных мониторинговых наблюдений, показатели доверия ко всем институтам власти на протяжении года оставались стабильно низкими, в то время как институт церкви, самый удаленный от любых властных полномочий (включая полномочия надполитического арбитра или социального миротворца) сохраняет высокое доверие общества. При том, что страхи по поводу тотального социального распада, которые нередко выплескиваются в публицистике со ссылками на результаты различных опросов, не имеют серьезных оснований. Объяснить явный парадокс, видимо, можно, лишь приняв во внимание, что означают для массового сознания сегодняшние властные институты, что реально стоит за таким термином, как «доверие».

Не многие сегодня ждут от властей всеобщей заботы или всеобщего же устрашения – этих атрибутов примитивного патернализма традиционно «советского» типа. Современные патерналистские ожидания в отношении государственных или хозяйствующих организаций скорее опираются на представление о том, что льгот, кредитов и «справедливого» распределения общественных благ можно добиваться с помощью нажима (от лоббирования до забастовок). После того, как утратил действенность механизм всеобщего террора, от власти стали ждать «направленного» устрашения с целью обуздания преступности, коррупции, рэкета. Но чем более определенными и повседневными становятся ожидания от власти – ждут и требуют не великих свершений, а определенных полезных актов, – тем сложнее для массового сознания провести разделительную черту между функциями властных институтов и поведением власть имущих и использующих. С этим, в частности, связано широко распространенное представление о всеобщей *коррупционности* всех, без исключения, уровней государственного управления. (Это показали, например, опросы, проводившиеся осенью 1993

года, когда политические соперники шумно обличали друг друга в коррумпированности.)

Недоверие как фактор стабилизации

Кончилась долгая эпоха принудительного и безальтернативного *доверия*, которого требовал, и в общем, добивался от масс тоталитарный режим. В нем доверие практически совпадало с покорностью, сдобренной иллюзиями светлого будущего. Невозможным стало доверие в смысле готовности следовать за хитроумным поводырем. Остается – и то не без сомнений – признание «права править», то есть признание легитимности существования власти. И так же как функции властных институтов в массовом восприятии сводятся к поведению чиновников, доверие к этим институтам в значительной мере отождествляется с отношением к политике, к действиям государственных ведомств. Доверие сводится к согласию, а то и к терпению. (*«Жить трудно, но можно терпеть»* – самая распространенная и самая устойчивая реакция наших граждан на все перипетии общественных судеб, как показывает мониторинг минувшего, 1993 года.)

Отсюда и такая странная, на первый взгляд, картина, когда массовое недоверие не означает еще развала строя и массового активного неповиновения. Более того, недоверие ко всем институтам и силам предполагает отказ от активных действий в пользу кого бы то ни было, а значит становится фактором неустойчивого общественного баланса.

Иллюзорные альтернативы

Стало, пожалуй, как никогда привычным, что в парламенте, в прессе, на площадях непрерывно идет самая резкая и даже грубая критика власти и ее политики, лидеров нынешних и вчерашних. В общественном мнении сохраняется не слишком высокий, но все же заметный (10–12%) уровень до-

верия к некоторым альтернативным политическим фигурам – прежде всего, к В. Жириновскому, Г. Явлинскому, А. Руцкому. При очевидных различиях в ориентациях все эти официально декларируемые альтернативы существующей расстановке сил имеют в механизмах власти одну – и решающую – общую черту: они не представляют собой какой-либо реальной альтернативы. Если вынести за скобки неясную «ретро-ориентацию» Руцкого (поскольку неясны и по-прежнему непопулярны те «старые» рубежи, которые его потенциальные сторонники могли бы использовать), остаются две как будто полярных ориентации программного и личностного порядка. Обе обещают удовлетворить неудовлетворенных, не предлагая никаких конкретных средств, но зато раздавая обещания. В одном случае действует расчет на мечтающих о плавных и «интеллигентных» реформах, в другом – на социально и «патриотически» обиженных. Одни готовы верить таинственным намекам, другие – безответственным обещаниям. Альтернативной линии, не говоря уже о программе государственной политики, они не содержат.

Какие бы доли потенциального электората ни привлекали «ученость туманная» одних или бесшабашная «обещаловка» других, эти ориентации политиков сами по себе не представляют существенной конкурентной угрозы для действий правящих структур. И прежде всего потому, что у последних нет ни программного, ни «партийного» единства, их сила – в прагматической инерции пришедшего в движение социального механизма.

Цена безмолвия

Один из типичных парадоксов прошедшего года: чем круче разворачивались коллизии в правящих эшелонах, тем спокойнее, безразличнее, «повседневнее» вело себя преобладающее «молчаливое» большинство, которое впервые стало действительно молчаливым, поскольку поняло, что больше

нет нужды петь в унисон с начальством. И просто занялось собственными делами – заработками, приработками, земельными участками, ваучерами и так далее. Вероятно, впервые в нашей истории повседневность одержала столь убедительную победу над политикой. Победа эта неоднозначна.

Конечно, это условие социальной стабильности, которая при вовлечении масс в политическое противостояние просто была бы невозможной. Отделение народа от политической жизни – добровольное и вынужденное, собственно говоря, означает освобождение народа от политической «принудилочки», от вынужденных аплодисментов и столь же вынужденных утешительных анекдотов. Это один из важнейших признаков конца того же мобилизационного общества.

Повседневность доминирует в интересах и внимании обычных людей в обычных же условиях, скажем, европейской жизни. И там общественные вопросы, требующие решения голосованием, решаются голосами 10–20% менее равнодушных, а то и случайных людей. Но это происходит при развитой системе профессиональной политической жизни, то есть при действующей системе политических интересов, политической элиты, политической этики и пр. Если всего этого практически не существует, доминирование интересов повседневности означает неизбежное низведение общественно-го до повседневного (до «хлеба и зрелищ», то есть до примитивного потребительства и сериала «Просто Мария»).

В принципе демократия – это система институтов и механизмов, которые поднимают интересы и действия множества людей до общественных, которые, собственно, и превращают толпу в народ. Популизм же, этот неперменный атрибут всех авторитарных правлений, включая советское, действует в противоположном направлении – низводит общественное до массового, то есть до уровня наиболее распространенного, приемлемого, «простого». В водовороте переходных периодов происходит неминуемая сшибка, столкновение этих типов политического действия: практически все противостоя-

щие силы, поглощенные поисками временной опоры в неустойчивой ситуации, пытаются апеллировать к простейшим страстям, влечениям, фобиям. На сцену выходят и безоглядные «потребительские» обещания, и призывы к радикальному разрушению, и дремавшие под покровом демонстративной «советской» лояльности этнические фобии и национальные амбиции. Так было в России в 1917–1918 годах и в 1991–1993. В событиях минувшего года демократия у нас крупно проиграла популизму.

Кризис элитарного сознания

Кризис демократии, в том числе и еще не сформировавшейся, неизбежно порождает растерянность элиты, которая жила демократическими иллюзиями. За прошедшие годы – особенно же после осеннего кризиса 1993 года – почти вся демократически-интеллигентская элита «перестроечных» времен превратилась в носителя отчаяния и отчаянной критики отечественной демократии, занята обличением злодеяний политиков, происков чужеродных сил, оплакиванием почти прекрасного прошлого и так далее¹.

Ареной этих переживаний стала та самая печать, которая сыграла важнейшую роль в момент политического пробуждения (точнее, возбуждения) «тех» лет. Правда, в еще большей мере та же печать и другие средства массовой информации поглощены низведением интересов своей аудитории до мелких разоблачений и сенсаций, насаждением в общественном мнении универсального унылого ёрничества (именуемого на молодежном жаргоне «стёбом»).

Эта трансформация «передовых отрядов» российской демократии – показатель того, насколько далеко еще отстают от

¹ См.: Куда идет Россия? // Труды Интерцентра. М., 1994. Вып. 1. С. 208–214.

реальной демократии и все общество, и его интеллектуальные верхи.

Реформы без реформаторов?

После ухода Е. Гайдара из правительства стало ясно, что радикальные экономические преобразования утратили импульс «сверху», причем надолго, скорее всего – на все обозримое будущее. Нет решительно никаких шансов на то, что команда радикальных реформаторов может быть возвращена к власти авторитарной волей президента или процедурой всеобщего голосования. Силы, которые способны в определенной мере сохранить принципы и приобретения политики реформ, – это преимущественно силы инерции уже запущенного маховика.

Если попытаться разложить этот образ на социально-значимые компоненты, можно выделить несколько факторов. Это сложный баланс сил «наверху», затрудняющий резкие повороты в какой бы то ни было сфере. Это соотношение интересов экономических субъектов, которые не могут и не хотят вернуться полностью к «распределительной» экономике со всеми ее властными надстройками. Это – слабая и противоречивая, но все же действующая – включенность страны в сеть мировых экономических и политических связей. И, наконец, – это фактор уже существующей адаптации масс к новой экономической реальности, которая довольно последовательно выражена в опросах общественного мнения за весь минувший год.

Устойчивое преобладание установки на то, чтобы «продолжать реформы» над требованиями «реформы прекратить» в соотношении примерно 3:1 или 2,5:1, прослеживаемое каждый месяц во всех социальных группах, – один из основных показателей состояния общественного мнения с начала 1992 года. Можно полагать, что этот показатель суммирует разнородные компоненты: лояльность по отношению к офи-

циальному курсу и лозунгу, ориентацию на какую-то стабильность («продолжать»), но кроме того и, возможно, прежде всего – практическую адаптацию к новой экономической ситуации (новый потребительский и трудовой рынок). Первые из перечисленных факторов более подвержены колебаниям общественной конъюнктуры, весьма вероятно, что они значительно ослабеют, особенно при официальном снятии лозунга реформ с мачты правительственного корабля. Фактор же массовой практики, скорее всего, не утратит значения.

Это одно из важнейших условий дальнейшего движения упомянутого «маховика» реформ, независимо от намерений и настроений тех или иных «дежурных» при этом механизме.

«Мониторинг...» 1994. № 3

ФАКТОРЫ И РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ «ПОСТМОБИЛИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

Признаки постмобилизационной ситуации

Достаточно широко используемые в социально-политической литературе термины с приставкой «пост» («постсоветский», «постреволюционный», «постимперский» и тому подобное) неизменно обозначают различные стороны еще не оформившейся ситуации, которая нуждается в определении специфического типа: через отрицание – притом, неполное, незавершенное – предыдущей фазы.

В нынешнем обществе не работают механизмы постоянной, хронической напряженности всего поля мобилизации общественного мнения вокруг единого политического центра, нет социальной атмосферы универсального, искусственно поддерживаемого единодушия «восторга и страха». Однако, впрочем, как и в других обществах, существует потенциал *частичной*, или спорадической, мобилизации определенных слоев либо фрагментов массового сознания вокруг отдельных ситуаций, событий, деятелей.

Причем, в отличие от политически и социально стабильных общественных систем, в наших условиях чуть ли не каждая вспышка напряженности (включая повышенное внимание или доверие к каким-то лицам, акциям) грозит превращением в лавинообразный процесс. Надежных институциональных рамок подобные процессы в не сформировавшейся общественной системе не имеют, а различные «пожарные» контракции *ad hoc* (запреты, контрпропаганда и пр.) малоэффективны, поэтому реальными заслонами на пути лавины могут служить лишь инерция («сила привычки») массового сознания и поведения, а также относительная *кратковременность* всякого эмоционального состояния общества, будь то

увлечение или отталкивание («восторг и страх»). Как отмечалось выше, только условия тотальной политической мобилизации способны институционализировать такие состояния – через репрессивные и пропагандистские механизмы – и придать им характеристики или хотя бы видимость устойчивой длительности.

За прошедшие три года российское общество пережило, по крайней мере, два различных по содержанию, но близких по механизму процесса негативной мобилизации общественного мнения и внимания.

Первый из них – в августе 1991 года, когда произошла мобилизация общественного мнения против организаторов «путча» при довольно слабых и неопределенных признаках позитивной мобилизации. Эмоциональный всплеск оказался кратковременным, уже в октябре–ноябре стали усиливаться факторы массового разочарования и отчуждения. Энергия отрицания не была трансформирована в энергию созидания, поэтому в значительной своей части она была растрачена неэффективно. Ни устойчивые демократические институты, ни устойчивая расстановка основных политических сил не сложились.

Второй пример негативной мобилизации – ситуация выборов декабря 1993 года.

Как показали неоднократные опросы, значительная часть избирателей, поддержавшая оппозицию, голосовала в это время не столько «за» ее кандидатов, сколько «против» правительственной линии. Впервые после распада структур мобилизационного общества «советского» типа, почувствовав возможность политического выбора, эти люди делали выбор по правилам негативной мобилизации и предпочли наиболее радикальных «контргероев». Прежде всего сказанное относится к избирателям ЛДПР. Негативная мобилизация охватила за считанные недели и дни примерно четвертую часть избирателей и сказалась на расстановке парламентских сил. (Нужно учесть, что стремительно нарастающая в предвыбор-

ные недели разобщенность между организациями и деятелями, как принято говорить – не вполне точно – демократической ориентации, в значительной мере также происходила «от противного».)

Какова дальнейшая судьба негативной мобилизации образца 1993 года?

В плане политических институтов ее результатом является парламентская структура, опирающаяся на взаимное отталкивание и сдерживание разобщенных фракций. В определенной мере это отражает картину соотношения сил в обществе. Отсутствие в политическом наборе российского образца правительственных партий приводит к тому, что общественно-политические конфликты, как и год назад, строятся по оси «власть – оппозиция». Как показывают исследования, в общественном мнении политические интересы и действия преимущественно ассоциируются с деятельностью оппозиционных сил, парламентских и «уличных».

В плане же массового сознания острый, даже агрессивный негативизм переломной осени 1993 года как бы перешел в устойчивый фон. Сохраняются – на уровне предшествующего года или несколько более низком – и уравнивают друг друга отрицательные установки в отношении деятельности властей (президента, правительства, парламента) и официальной линии (в 1994 году это относится также к курсу реформ и рыночной системе хозяйства). При этом действия активного социального протеста практически отсутствуют, вероятность их оценивается ниже, чем год назад, а готовность участвовать в них – и того менее.

Так, в марте–июне 1993 года выражали готовность участвовать в акциях протеста против экономической политики в среднем 34% опрошенных, а за тот же период 94-го – 24% (показатель за 1993 год получен на основе исследований типа «Факт»).

Парадоксы «двухслойного» сознания: актуальные варианты

Снижение уровня острой напряженности (точнее, переход ее в хроническое, «фоновое» состояние) оплачено растущим разрывом между действующими в массовом сознании критериями оценок «общего» и «собственного» положения.

Возьмем для примера соотношение оценок опрошенными экономического положения собственной *семьи*, своего *города* (или сельского района) и *страны в целом*. Оценки разнятся весьма сильно, причем эта разница устойчива из месяца в месяц.

Таблица 1

Оценки положения в семье, городе и в стране (в % от числа опрошенных)*

Оценки	Май 1994	Июнь 1994	Июль 1994
<i>Положение семьи</i>			
Позитивные**	54	53	53
Негативные***	44	45	44
<i>Положение в городе</i>			
Позитивные**	32	32	31
Негативные***	53	54	55
<i>Положение в стране</i>			
Позитивные**	16	16	17
Негативные***	69	69	67

* Исследования типа «Экспресс», 1994 (N = 1600 человек).

** Сумма оценок «очень хорошее», «хорошее» и «среднее».

*** Сумма оценок «плохое» и «очень плохое».

Объяснение парадоксального на первый взгляд разрыва в оценках состоит в том, что используются разные типы информационных каналов: в первом случае (своя семья) – это личный опыт, в последнем (страна) – СМИ, в промежуточ-

ной ситуации города действуют и тот, и другой каналы. Причем критерии обыденного здравого смысла («своей рубашки») неизменно приводит к более спокойным оценкам. При характеристике же общего положения работает другой, задаваемый системой массовой коммуникации критерий тревожности.

Иной тип парадокса: противоречивое сочетание общеидеологических и собственных установок по отношению к экономическим реформам.

Таблица 2

Отношение к реформам и собственному бизнесу
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Уже есть свое дело	Хотел бы открыть	Не хотел бы иметь	Затруднились ответить
Реформы продолжать	3	32	48	17
Реформы прекратить	1	19	64	16

* Исследование типа «Мониторинг», май 1994 (N = 3000 человек).

Как видим, из сторонников продолжения реформ 3% уже имеют свое дело, а еще 32% хотели бы его открыть, – что кажется вполне логичным. Но среди тех, кто настаивает на прекращении реформ, имеют свое дело 1% и еще 19% хотели бы его начать! Кроме того, из тех, кто предпочитает систему государственного планирования, находится 1% бизнесменов, еще 18% хотят ими стать. Можно полагать, что в ситуациях такого типа имеет место «мирное сосуществование» отнесенных к разным плоскостям критериев своего интереса и идеологической нормы (некто вроде «кесарю – кесарево»), вполне в традиции советского двоемыслия. Поэтому об отношении массового сознания, например, к экономическим реформам, *нельзя* – или недостаточно – судить только по

декларативному «одобрению–неодобрению». Как нельзя судить и об отношении к прошлому («до 1985 года») только по его оценке. Реальное отношение (установка), которое мы на каждом шагу можем обнаружить в общественном мнении, практически по любому волнующему его вопросу, – это определенное сочетание, скажем, декларативного принятия и практического отторжения и, наоборот, практической адаптации и идеологического осуждения, и тому подобное.

Политические ресурсы на разных стадиях предвыборных соревнований

В настоящее время для общественного мнения предстоящие парламентские и президентские выборы (1995–1996) предстают как феномен довольно далекой перспективы. Эта удаленность не столько «календарная», сколько «маршрутная»: от намеченных дат нас отделяют не просто месяцы, но этапы, повороты, изменения в расстановке сил, да и в ориентациях последних. Если применять спортивные выражения, то можно было бы сказать, что перед нами не спринт, когда напряжены все силы и решают доли секунды (или, в политическом соревновании, доли процентов популярности), а скорее стайерский бег на длинные дистанции, в котором важны не послестартовые позиции участников, не микропроценты рейтингов, а возможности более эффективного использования ресурсов. Можно даже несколько продолжить сравнение: в политическом «спринте» важны собственные ресурсы (например пропагандистские способности), тогда как для успеха на дальнем маршруте важнее всего латентный потенциал общественной поддержки. На дальних подступах к выборам именно он должен стать предметом пристального внимания исследователей.

К политическим ресурсам в первом приближении можно отнести:

а) возможности *активизации* «молчальников», то есть той

половины избирателей, которая не участвовала в прошлых выборах и не выражает политических предпочтений или просто не намерена голосовать на будущих выборах;

б) потенциал «*дрейфа*» партийных симпатий населения, который происходит практически непрерывно;

в) наконец, тенденции *трансформации* лозунгов и программ самих участников политического соперничества.

Структура и потенциал «молчаливой» половины

Как показывают опросы, чуть больше половины избирателей не связывает свои интересы с какой-либо политической силой. Однако вопреки распространенным предположениям, «молчаливая» группа электората вовсе не является какой-то «темной массой», средоточием ретроградства и тому подобным.

Сопоставим черты «портретов» сторонников крайних политических сил и молчаливой половины.

Таблица 3

Сторонники политических сил и «неприсоединившиеся» (в % по столбцу)*

Группы	Симпатизируют «Выбору России»	Симпатизируют ЛДПР	Не симпатизируют никому	Средний показатель
<i>По полу</i>				
мужчины	46	64	43	44
женщины	54	36	57	54
<i>По месту жительства</i>				
Москва и Санкт-Петербург	16	4	10	9
большие города	35	31	25	27
малые города	36	41	39	38
села	13	24	26	26

Группы	Симпатизируют «Выбору России»	Симпатизируют ЛДПР	Не симпатизируют никому	Средний показатель
<i>По возрасту</i>				
до 25 лет	29	16	19	16
25–39 лет	34	42	33	33
40–54 года	22	22	21	23
55 лет и старше	24	20	27	28

* Исследование типа «Мониторинг», май 1994 (N = 3000 человек).

Получается, что практически по всем объективным показателям «молчальники» почти не отличаются от средних показателей.

Обратимся к субъективным показателям, то есть к суждениям и оценкам опрошенных.

Таблица 4

**Мнения сторонников крайних политических сил
и «неприсоединившихся»**
(в % по столбцу)

Группы	Симпатизируют «Выбору России»	Симпатизируют ЛДПР	Не симпатизируют никому	Средний показатель
«Можно жить»	7	12	9	10
«Можно терпеть»	56	47	50	51
«Терпеть... невозможно»	15	36	33	33
Реформы продолжать	59	22	26	31

Группы	Симпатизируют «Выбору России»	Симпатизируют ЛДПР	Не симпатизируют никому	Средний показатель
Реформы прекратить	16	45	30	32
За государственное планирование	27	43	34	39
За рынок	46	27	21	26

* Исследование типа «Мониторинг», май 1994 (N = 3000 человек).

«Молчальники» лишь ненамного консервативнее среднего уровня. Если же взять их персональные симпатии («кто вызывает наибольшее доверие»), то здесь различия заметны: 81% опрошенных не доверяют никому (средняя величина – 59%). Иерархия доверия почти не отличается от средних показателей (Б. Ельцин, В. Черномырдин, Е. Гайдар, Г. Явлинский...), но уровень доверия к каждому из них в два-три раза ниже среднего. Примечательно появление на втором месте в ряду доверия имени Черномырдина, а также отсутствие заметного положения у деятелей оппозиции. Таким образом, политические ресурсы группы «неприсоединившихся» – это ресурс отсутствующего доверия к лидерам.

«Дрейф» политических симпатий

Как показывают исследования, расстановка партийных сил, существовавшая во время выборов 12 декабря 1993 года, оказалась весьма неустойчивой, особенно для новых политических сил (кроме КПРФ).

Так, из голосовавших за «Выбор России» в 1993-м в апреле 1994 года только 57% считали, что эта партия выражает

их интересы, в мае – 47%, в июне и июле – 45%. Из голосовавших за «Яблоко» – соответственно, 59, 52, 55 и 64%. Из сторонников ЛДПР – 35, 40, 43 и 44%. (Динамика незначительна, сопоставление данных важно скорее для того, чтобы видеть определенную стабильность – примерно на уровне 40–50% для всех трех партий.)

Тенденции внутренней трансформации политических сил

Вероятность мобилизации этого потенциала весьма высока при сравнительно слабой «программной» сплоченности (и инерционности) всех новых сил. На уровне общественного мнения это выражается в том, что наиболее популярными лозунгами становятся такие, как «стабилизация», «порядок», «согласие», – при том, конечно, что и само содержание этих лозунгов, и средства их осуществления становятся предметом напряженной борьбы.

В результате за несколько месяцев «околопарламентских» относительно мирных конфронтаций изменились некоторые существенные акценты в деятельности всех без исключения политических партий и блоков. (В условиях «немирной» конфронтации 1993 года это было невозможным, так как острота столкновений последовательно разводила участников по «своим» окопам.) Радикальные реформаторы сейчас делают шаги в сторону умеренности и стабилизации, декларативно-интеллигентные реформаторы – в сторону государственного регулирования, популистские сторонники справедливости делят парламентские привилегии. Изменяется – хотя и с трудом – и стиль взаимной критики. Как будто правомерно говорить о нарастании неких *центристских* тенденций, о популярности центристских лозунгов и так далее. При этом, однако, на политической сцене отсутствуют сколь угодно влиятельные политические силы и лидеры, а тем более – партии и партийные программы, которые формулировали бы линию «центра». В такой ситуации понятие «центр»

приобретает преимущественно референтное значение – как некий мысленный конструкт, воображаемая точка отсчета («центр» бублика), но не как некая политическая реальность. Вынужденные обстоятельствами взаимные уступки в сторону популизма и реформаторства не образуют никакой «центральной» структуры. Борьба за центр сводится к взаимному сдерживанию «периферийных» факторов.

«Мониторинг...» 1994. № 5

ФАКТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ: СВОДНЫЙ МОНИТОРИНГ 1994–1995

Объединенный мониторинг (апрель 1994 – май 1995) суммирует данные девяти исследований, проведенных в течение года, свободного от электоральной горячки. Как видно из приводимых ниже данных, основные показатели социальных процессов и оценки событий в общественном мнении за этот период оставались практически стабильными. На этом внешне спокойном фоне выделяются три зоны достаточно резких сдвигов:

во-первых, резкий всплеск общественной напряженности, а затем определенный спад таковой в связи с «чеченским» политическим кризисом;

во-вторых, устойчивая, в значительной мере усиленная тем же кризисом, тенденция растущего недоверия к высшим эшелонам государственной власти, прежде всего – президентской;

в-третьих, передел «сфер влияния» внутри так называемого демократического направления, нараставший на протяжении 1994 года, но особенно интенсивный с начала 1995-го.

Представляется, что наиболее важным для понимания этого внешне парадоксального сочетания стабильности и кризисных ситуаций прежде всего должен служить обстоятельный анализ природы и механизма этих процессов. Сводные данные мониторинга 1994–1995 годов – неплохая база для такого анализа.

Общая картина как «генератор проблем»

Отметим основные параметры «фоновой» ситуации этого времени, как она представлена в объединенном мониторинге, включая данные опроса за июль 1995 года.

Таблица 1

Основные параметры «фоновой» ситуации
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	1994						1995			
	Месяц проведения исследования						Месяц проведения исследования			
	IV	V	VI	VII	IX	XI	I	III	V	VII
Оценка политической обстановки										
Благополучная, спокойная	5	5	6	7	8	6	2	2	4	3
Напряженная	60	61	63	63	62	60	51	59	60	57
Оценка собственного положения										
«Все не так плохо»	8	9	10	11	12	11	9	8	11	10
«Можно терпеть»	49	51	51	51	47	50	51	47	47	46
«Терпеть невозможно»	36	34	33	31	32	31	35	39	35	37
Отношение к экономическим реформам										
Продолжать	33	30	31	33	30	30	29	27	27	30
Прекратить	28	29	32	27	24	26	31	30	30	32
Отношение к президенту России										
Полная поддержка	8	8	6	7	5	4	3	3	3	2
Частичное несогласие	30	30	33	32	30	29	25	24	25	25
Требование отставки	41	40	40	38	41	43	57	59	56	56

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 24 260 человек).

В этой батарее известных и даже привычных глазу наблюдателя данных анализ неизбежно находит парадокс, за-

гадку, проблему. Рассмотрим по представленной таблице три из них:

- неизменный, возможно, решающий для нашей социальной ситуации фактор массового *терпения* в напряженной, даже критической обстановке;
- характер *интереса к политике* в обществе, где массовая политика отсутствует;
- и, наконец, природу той «тканевой несовместимости» как будто близких по ориентациям политических групп, которая занимает интеллигентные умы задолго до электоральных коллизий.

Что значит «можно терпеть»?

Из опрошенных в мониторинге 1994–1995 годов половина определяла свою позицию в терминах «жить трудно, но можно терпеть», одна десятая часть соглашалась с тем, что «все не так плохо», и около одной трети считала, что «терпеть наше бедственное положение уже невозможно»; примерно 7% затруднились ответить.

Таблица 2

Доля «терпеливых»
(в % от числа опрошенных)*

Группы	Варианты ответа		
	«можно жить»	«можно терпеть»	«терпеть невозможно»
По полу			
мужчины	12	49	32
женщины	8	50	35
По возрасту			
до 25 лет	23	48	18
25–39 лет	11	49	32
40–54 года	6	48	40
55 лет и старше	4	52	39

Группы	Варианты ответа		
	«можно жить»	«можно терпеть»	«терпеть невозможно»
<i>По образованию</i>			
высшее	15	49	30
среднее	11	49	33
ниже среднего	7	50	36
<i>По месту жительства</i>			
Москва и Санкт-Петербург	17	50	26
большие города	11	50	32
малые города	9	51	33
села	8	50	36
<i>По должностям</i>			
руководители	19	45	30
специалисты	11	50	32
служащие	10	48	36
квалифицированные раб.	8	50	35
<i>По реформистским настроениям</i>			
за реформы	20	58	16
против реформ	3	39	53

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив 1994–1995 ($N = 24\ 260$ человек).

Примечательно, что доля «терпеливых» превышает сумму других содержательных ответов практически во всех социально-демографических и социально-экономических категориях респондентов (исключение составляют некоторые политические группы, например, сторонники КПРФ и, в меньшей мере, ЛДПР).

Бросается в глаза, что разброс значений в средней, «терпеливой» колонке неизмеримо (на порядок!) меньше, чем в двух крайних группах. Различия в социальных статусах преимущественно коррелируют с крайними оценками собствен-

ного положения, оставляя почти нетронутой долю «терпеливых».

Можно утверждать, что стабильность доли граждан, при всех перипетиях общественной жизни оценивающих свою позицию в категориях «можно терпеть», – залог устойчивости, даже ультрастабильности общества, способного «гасить» или демпфировать в своей толще не только весьма резкие колебания, происходящие на уровне элитарных структур, но и такие явления, как падение жизненного уровня, неуверенность в сохранении собственного статуса и другие. Здесь перед нами один из базовых, «осевых» механизмов поддержания социального равновесия.

Природа этого феномена, видимо, двойственна. С одной стороны, реальное положение значительной части населения остается «средним», то есть колеблющимся вокруг некоторых общераспространенных величин, различия в положении отдельных групп сравнительно невелики, столь широко обсуждаемая новая дифференциация фактически касается преимущественно «крайних», относительно небольших групп. С другой стороны, в постсоветском обществе сохраняют свое влияние мощные социально-психологические стереотипы «усреднения» собственного положения (нормативные установки типа «быть как все», «не высовываться», прятать от постороннего глаза как чрезмерное богатство, так и чрезмерную бедность и так далее).

Вот, например, как воспринимают положение своих семей в трех выделенных по оценке общей ситуации группах при разных формулировках в качестве подсказок.

Таблица 3

**Кто и как оценивает свое положение
и положение своей семьи**
(в % по столбцу по каждой выделенной группе)*

Варианты ответа	Считающие, что:		
	«можно жить»	«можно терпеть»	«терпеть невозможно»
Живем без особых забот	12	1	1
Живем более-менее прилично	6	45	17
Едва сводим концы с концами	68	48	60
За гранью бедности	1	3	20
Очень хорошее, хорошее положение	23	0	0
Среднее положение	63	59	26
Плохое, очень плохое положение	12	35	71

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 24 260 человек).

Здесь как будто налицо принципиально важное воздействие предложенного варианта: более конкретный вопрос о способе семейного существования как бы делит группу «терпеливых» почти поровну между живущими «более-менее прилично и «едва сводящими концы с концами», но если вводится «средняя» оценка, то почти две трети опрошенных предпочитают именно ее.

В данном же случае нас больше занимает другая сторона проблемы: разница в *социальном* содержании столь широко распространенного статуса «способных терпеть». Понимать его можно, по меньшей мере, *четырьмя* разными способами:

- готовность терпеть как камуфляж, компонент или условие *успеха* (то есть это позиция типа «все не так плохо...», прикрытая более осторожным ярлыком);

- терпение, связанное с *надеждой*, как условие успеха, возможно, в будущем;
- терпение, обусловленное *отчуждением* или изоляцией респондента от социально-политических и подобных им реалий и интересов;
- терпение как апатичное равнодушие к своей и общей судьбе.

Попытаемся оценить значимость каждого из этих факторов «терпения». Из числа лиц, оценивающих свое положение в терминах «можно терпеть», за последние полгода материальное положение своей семьи улучшили 5% опрошенных, сохранили – 46, ухудшили – 45%. Свое положение в обществе за это время повысили 7% участников опросов, сохранили – 77 (притом 8% сохранили «высокое положение»). Из той же группы 21% респондентов имели высокие доходы.

Обратимся теперь к тем, чье терпение поддерживается надеждами на лучшее. Рассчитывают на повышение своего общественного положения 13%, на сохранение имеющегося высокого статуса – 9, среднего – 42%. Показательно, что все индикаторы ожидаемых (перспективных) изменений статусов в интересующей нас группе смещены в сторону некоторого оптимизма по сравнению с фактическими (ретроспективными): если, например, высокое положение сохранилось у 8%, а снизилось у 7, то рассчитывают на его сохранение 9, а на снижение только 2% респондентов и так далее. Единственное исключение: 25% опрошенных остались на низшей ступени статусов, и 29% полагали, что они сохранят его и впредь. Это и есть, видимо, та доля «терпеливых», которая лишена надежд на собственный успех – по крайней мере на ближайшее будущее.

Но имеется еще и надежда на достижения общезначимые, прежде всего связанные с экономическими реформами. Вот как выглядят показатели отношения населения к реформам среди представителей трех выделенных групп.

Таблица 4

«Терпение» и отношение к реформам
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Реформы продолжать	Реформы прекратить	Затруднились ответить
«Все не так плохо...»	62	9	29
«Можно терпеть»	35	22	43
«Терпеть... уже невозможно»	29	31	40

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 24 260 человек).

Таким образом, в группе «терпеливых» сторонники продолжения реформ преобладают в соотношении 35:22. Отметим, что это значительно выше среднего уровня (30:28) и не столь уж мало для периода, когда не только позабыта «романтическая» эйфория реформистских надежд, но и утратил силу фактор доверия к политическому (правительственному, президентскому) курсу реформ и его проводникам. Энергия запущенного маховика неумолимо вовлекает в сферу своего движения «средние» группы населения.

Правда, надеющихся на улучшение социально-экономической обстановки в ближайшей перспективе среди этой группы опрошенных заметно меньше: лишь 17% полагают, что Россию ожидают сдвиги к лучшему в экономике, а 20% (против 56) верят, что за год «наша жизнь более или менее наладится».

Позволительно допустить, что доля «успешных» в группе «готовых терпеть» составляет около 15%. Доля надеющихся на собственные достижения составляет примерно 20%. Ни на что не надеются до 30%. И около одной трети все же рассчитывают на социальные сдвиги к лучшему. (Эта последняя категория, конечно, пересекается с другими, что можно проверить.)

В любом случае позиция типа «трудно, но можно терпеть» никак не должна отождествляться просто с традиционным русским «безответным» терпением: в значительной мере она связана с ожиданием «ответа», то есть определенного результата, эффекта, личного или социального.

Что означает «интерес к политике»?

В регулярных опросах ВЦИОМ существующая политическая ситуация обычно характеризуется распределением таких позиций:

Таблица 5

Политическая обстановка в России (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Доля опрошенных
Развитие демократии	6
Сохранение старых порядков	15
Становление диктатуры	4
Утрата порядка, анархия	51
Затруднились ответить	24

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 24 260 человек).

По ряду данных, выходящих за рамки собственно исследования общественного мнения, можно заключить, что это не просто набор вариантов суждений различных людей, но реально действующий в неустоявшемся обществе набор социальных механизмов разного порядка и происхождения. Слабые, но скорее всего уже неустранимые с общественно-политической сцены ростки либеральной демократии сочетаются с факторами прежних, то есть партийно-диктаторских порядков (не только переименованных, но и практически усеченных, поскольку они все же лишены своих традицион-

ных опор), элементами новой, собственно авторитарной диктатуры и, разумеется, нарастающей в своем значении самоорганизующейся структуры многовластия и местничества.

Каждый из этих механизмов требует своих специфических, не распространяемых на другие плоскости средств исследования и анализа. Существующая полуоткрытость политической «кухни», постоянные утечки какой-то околоконфиденциальной информации и тому подобное (тоже, как-никак, достижение либерализации) создают почву для целого пучка направлений отечественной кремленологии, конструирования экспертных рейтингов и соответствующих прогнозов. Такие типы информационного анализа – если вывести за скобки неизбежные примеси простого шарлатанства – могут представлять определенный интерес, хотя и не имеют прямого отношения к изучению массовых процессов. Столь же очевидно, что сами по себе данные о характере массовых настроений и предпочтений не пригодны для объяснения или предсказания итогов «аппаратных» игр.

Приведенные ранее данные свидетельствуют о том, что, несмотря на все настроения разочарования и недоверия к партиям, политикам и политике как таковой, как будто нельзя говорить, что общество утратило интерес к политической жизни. Ведь около половины потенциальных избирателей (пока) намерены голосовать на ближайших выборах, притом почти половина имеют сколько-нибудь определенные партийные и лидерские предпочтения. Согласно объединенному мониторингу 1994–1995 годов, «очень большой» интерес к политике показали 2% опрошенных, «большой интерес» – 7, «средний» – 28, «малый» – 30 и «никакого интереса» к предстоящим выборам не проявили 33%.

Отметим некоторые особенности распространения интереса к политике среди различных социальных групп. Многие обнаруживаемые соотношения самоочевидны и не нуждаются в комментариях: например, среди мужчин, среди высокообразованных интерес выше. Но имеются и данные, заслу-

живающие особого внимания. Во-первых, весьма низкий уровень политического интереса у молодежи, во-вторых, население Москвы и Петербурга, признанных центров политической жизни страны, оказывается, мало чем отличается по интересу к политике от жителей других городов; в-третьих, наибольший интерес к политике заявляют сторонники партий самой непримиримой оппозиции.

Прежде, чем пытаться объяснить эти парадоксы, обратимся к наиболее важному блоку вопросов, относящихся к *содержанию* понятия «интерес к политике».

Таблица 6

**«Если Вы интересуетесь политикой,
то в чем выражается этот интерес?»**
(в % по столбцу)*

Вид деятельности	Всего	Интерес к политике		
		большой	средний	малый, никакой
Внимательно слежу за информацией о политических событиях	7	82	56	11
Обсуждаю политические события с друзьями	7	55	56	16
Участвовал в демонстрациях, митингах, забастовках	0,3	7	2	0
Участвовал в организации предвыборной кампании	1	9	4	1
Участвовал в собраниях партии, движения	0,3	5	2	0

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 24 260 человек).

Итак, интерес к политике – это почти исключительно интерес к *информации*, к «разговорам» о политике. Все прочие

виды политического участия затрагивают незначительное число людей.

К тому же практически во всех «активных» формах политической вовлеченности доминируют партии политической оппозиции. Если, в среднем, в митингах и политических забастовках участвовало 0,3% населения, то среди сторонников КПРФ – 5, ЛДПР – 3, на партсобраниях присутствовало 6% из сторонников КПРФ, 4 из сторонников ЛДПР, тогда как из поддерживающих ДВР всего 1%, «Яблоко» – менее 1%.

В этом, как представляется, *ключ* едва ли не ко всем основным парадоксам современной российской политической жизни. Сколько-нибудь активного массового политического участия в стране не было никогда. Принудительно-массовые шествия или всенародные голосования советской эпохи не имеют никакого отношения к такой активности. Не создал почвы для нее и реализовавшийся вариант «перестроечного» преодоления тоталитаризма – через верхушечное разложение и дезориентацию элитарных структур. Принудительно пробужденные и в разной степени растревоженные общественные группы оставались преимущественно пассивными *зрителями* в политическом театре. Отчасти («первые ряды») зрителями заинтересованными, эмоционально вовлеченными в переживание происходящего, готовыми «аплодировать» или «освистывать», но никогда, даже в самые крутые моменты, не становившимися активными участниками политических процессов. Ни официально признанных, ни неформальных структур массового политического участия так и не возникло.

Участие же в многопартийных избирательных процессах, которые все еще, в основном, в силу «советской» инерции, остается относительно массовым («...не хуже Европы»), не вводит массу в активную политику (хотя бы потому, что не создает взаимно обязательных связей между избирателями и избранными), но лишь продолжает традицию «зрительского» участия в спектакле. Притом уже без эмоциональной вовле-

ченности, с холодным равнодушным любопытством и отчасти с расчетом «самому худшему» злу противопоставить «не самое худшее». (Чисто местные и местнические компоненты избирательного поведения мы в данном случае оставляем в стороне.)

Подтверждением последнего положения, в частности, может служить тот факт, что в указанный период наибольшая политическая растерянность отмечалась на самой политизированной «верхушке». Так, среди наиболее интересующихся политикой самая большая доля людей, которые мотивируют свой отказ от участия в выборах отсутствием подходящей кандидатуры.

Негативная доминанта и факторы отталкивания

Характерный штрих распределения партийно-электоральных симпатий в одном из мониторинговых исследований (июль 1995): негативные установки («ни при каких обстоятельствах не буду голосовать за...») явно преобладают над позитивными предпочтениями («готовы поддержать...»): 42% опрошенных уклонились от позитивного выбора и только 34% – от негативного. Избиратели скорее готовы назвать партию, за которую они ни в коем случае не стали бы голосовать, чем ту, которую они предпочли бы поддержать в первую очередь. Более того, показатели потенциального «антивыбора» выражаются цифрами второго, третьего, даже пятого десятка, в то время как позитивное отношение к какой бы то ни было партии не насчитывает и одного десятка процентов респондентов. Так, Аграрную партию России (АПР) готовы поддержать 3%, «ни в коем случае» не станут этого делать 6%, Демократический выбор России (ДВР) – 4 и 21% соответственно, КПРФ – 9 и 21%, ЛДПР – 5 и 44%, лишь «Яблоко» собирает 7% опрошенных «за» при чуть менее 7% «против».

Прямого отношения к электоральному прогнозированию

эти данные, разумеется, не имеют – «работать» будут только цифры поддержки. Но они важны для оценки общего распределения позиций в обществе. Ведь несомненной доминантой всего периода после 1985 года является не столько утверждение, сколько *отрицание*, отвержение, отталкивание. Тут нет места для оценок нравственного порядка: происходило то, что могло происходить при данных социальных, культурных и личностных предпосылках.

Вехи периода – отталкивание от «застоя», далее – от тоталитарного коммунизма, от планово-распределительной системы, от советской суперимперии, от М. Горбачева, от Б. Ельцина, от Е. Гайдара и так далее., причем все повороты и путчи укладываются в ту же схему (наиболее привычную, простую и легкую, требовавшую всегда – в том числе в отечественной истории – наименьшей затраты сил для начала, но наиболее тяжелых жертв для продолжения). Особо стоит отметить, что среди двух поколений политических деятелей, выступивших на сцену за этот период, практически не было политиков (или они не были востребованы) «дальнего прицела», способных подниматься над конъюнктурой текущих успехов или поражений.

«Спокойный» период, охватываемый сводным мониторингом 1994–1995 годов, дает тому весьма наглядные и поучительные примеры. Практически весь период после смятения выборов 1993 года представляет собой череду расколов и размежеваний в рядах продемократических и проправительственных сил при неудачных попытках блокирования и объединения в той же среде. Непременным элементом «логики отмежевания» оказывались поиски виновных и попытки самоопределения не на какой-то платформе, а на основе того же отмежевания.

Следует подчеркнуть, что значение негативной доминанты в российском политическом формообразовании далеко не сводится к отношениям между организованными движениями и силами. Сам характер ценностного самоопределения

нынешнего общества – преобладающих лозунгов, требований, ожиданий – это, прежде всего, запрещенное в формальной логике «определение через отрицание». Даже преобладающее во всех списках популярных – и разделяемых во всех группах и течениях – лозунгов требование «порядка» и «стабильности» на деле имеет *негативное* содержание (отрицание беспорядка и неустойчивости).

«Мониторинг...» 1995. № 5

ПИРАМИДА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ЗЕРКАЛЕ

Опыт избирательной кампании 1995 года дает исключительно богатый материал не только для изучения тенденций и перспектив социально-политического развития российского общества, но также для понимания природы и значения такого его института как общественное мнение. Сопоставление исследовательских данных о состоянии нестабильного общества на очередном его переломе с документальными позволяет представить взаимоотношение ряда явных и скрытых компонентов этого феномена. Собственно социологическое исследование требует перехода от чисто «поллингового» сбора поверхностной информации (совокупности ответов на предложенные вопросы) к пониманию смысла и содержания информации, «данной» в материалах исследований общественного мнения, а кроме того – оценки эффективности теоретических средств его анализа. (Вопросы надежности технологических инструментов электоральных исследований общественного мнения нуждаются в особом рассмотрении и в данной статье не обсуждаются.)

Оценка «заявленной» рациональности

По данным одного из предвыборных опросов, около трети избирателей собирались принять решение участвовать ли в голосовании и кому отдать свой голос в последнюю неделю перед выборами, а около 8% заявляли, что примут окончательное решение только в день голосования. После выборов 24% опрошенных утверждали, что приняли решение в последние дни, а 4% – на участке.

При этом собственное решение сочли вполне обдуманым и взвешенным 45%, скорее таковым – 27, скорее эмоциональным – 9, полностью эмоциональным – 4 (затрудни-

лись оценить свое решение 15% опрошенных). Сопоставим эти показатели со сроками принятия избирателями своих электоральных решений (участие в выборах и предпочтение какого-то партийного списка).

Таблица 1

**Мера обдуманности и время принятия решения
о голосовании**
(в % от числа опрошенных)*

Насколько обдуманным было принятое решение	Задолго до начала избирательной кампании	В начале осени	Примерно в октябре	Примерно в ноябре	В последние дни перед выборами	На избирательном участке	Затруднились ответить
<i>Всего</i>	30	9	8	12	23	4	8
Полностью обдуманно	41	10	8	12	19	2	3
Скорее обдуманно	21	13	10	14	26	6	7
Скорее эмоционально	29	3	6	13	36	6	5
Эмоционально	9	2	5	12	33	1	23
Затруднились ответить	17	4	6	6	18	4	30

* *Исследование типа «Экспресс», декабрь 1995 (N = 1600 человек). Задавался вопрос «Когда Вы решили, за какую партию голосовать?».*

Наиболее обдуманным считают свой электоральный выбор те, кто сделали его еще до развертывания избирательной кампании. И, напротив, избиратели «последнего дня» чаще других ссылаются на чисто эмоциональные факторы. Но определивших свои партийные предпочтения заранее, как видно из *таблицы 1*, не более трети опрошенных.

Таблица 2

**«Было ли Ваше решение участвовать в выборах
и голосовать за ту или другую партию
полностью обдуманным?»**

*(в % от числа ответивших по группам)**

Группы	Полно- стью об- думан- ным	Скорее обду- манным	Скорее эмоцио- нальным	Полно- стью эмоцио- нальным	Затруд- няюсь ответить
Всего	48	27	8	4	12
По полу					
мужчины	49	28	8	3	12
женщины	41	29	11	3	15
По возрасту					
18–24 года	41	29	11	3	15
25–39 лет	45	28	9	6	11
40–54 года	51	27	7	3	12
55 лет и старше	50	27	7	3	13
По образованию					
высшее	58	24	8	3	6
среднее	47	26	8	4	13
ниже среднего	44	31	8	3	14
По месту жительства					
большие города	55	23	8	3	10
малые города	48	27	7	3	14
села	38	34	10	5	14
По политическому предпочтению					
КПРФ	61	29	5	1	3
ЛДПР	57	26	8	4	5
НДР	53	24	11	5	8
«Яблоко»	57	27	7	3	6
ДВР	60	33	3	2	2
АПР	55	16	9	0	18

* Исследование типа «Экспресс», декабрь 1995 (N = 1600 человек).

Были предложены следующие варианты ответа:

- *Полностью обдуманным и взвешенным.*
- *Скорее обдуманным и взвешенным.*
- *Скорее совершенным под влиянием эмоционального порыва.*
- *Затрудняюсь ответить.*

Если обратиться к *мотивации* электорального выбора (заявленной в ответах респондентов), то здесь устойчиво – до и после принятия электоральных решений – доминируют ссылки на такие факторы как близость интересов, доверие к лидеру и практические возможности избранного блока.

Таблица 3

**«Чем объясняется Ваше намерение голосовать
за эту партию или блок?»
(в % от числа опрошенных)***

Варианты ответа	Перед выборами	После выборов
Выражает интересы	25	22
Нравится лидер	21	20
Имеет силу	13	15
Давно поддерживаю	5	2
Окружающие за нее	4	6
Хотя бы знаю	5	4

** Исследования типа «Экспресс», ноябрь–декабрь 1995 (N = 1600 человек).*

Были предложены следующие варианты ответа:

- *Партия, за которую я буду голосовать, выражает интересы таких людей, как я.*
- *Я поддерживаю лидера (лидеров) партии, за которую я буду голосовать.*
- *Она имеет реальную силу и сможет изменить обстановку в стране.*
- *Я поддерживаю эту партию уже долгое время.*
- *Большинство окружающих меня людей склоняются к ее поддержке.*

- *Эту партию я хотя бы знаю, про остальные мне практически ничего неизвестно.*

Распределение факторов голосования в октябре–декабре остается устойчивым. Причем показатель доверия к лидеру говорит о типе построения определенного движения, партии, но не позволяет оценивать их, например, по оси рациональность–традиционность. Чаще других респонденты указывают три фактора своего электорального выбора: совпадение интересов, доверие к лидеру, расчет на силу партии. В конце декабря (после выборов) в электоратах различных политических сил эти факторы распределились следующим образом:

Таблица 4

«Чем объясняется Ваше намерение голосовать за...?»
(в % от числа опрошенных)*

Партии	«Сходство интересов»	«Привлекательность лидера»	«Обладание силой»
<i>Всего</i>	22	20	15
КПРФ	43	12	28
ЛДПР	21	39	30
НДР	18	28	31
«Яблоко»	31	40	19
ДВР	29	38	16
АПР	55	9	0

* *Исследование типа «Экспресс», декабрь 1995 (N = 1600 человек).*

Очевидно различие партий явно «лидерских» (ЛДПР, «Яблоко») и явно «идеологических» (АПР, КПРФ). У остальных значимы оба фактора, хотя доверие к лидеру в той или иной мере преобладает повсеместно. Идеи действуют через людей, и доверие к ним определяется в первую очередь доверием к их носителям. За рамками этого общего правила

остается только традиционно идеологизированная коммунистическая группа политических сил (АПР и КПРФ; у «Коммунистов СССР», слабо представленных в выборке, идеологизация выражена еще сильнее).

Наконец, об отношении избирателей к *программе и лозунгам* «своей» партии. По данным опроса, проведенного сразу после выборов, лишь 25% опрошенных во всех электоратах поддерживали программы движений, за которые они голосовали в декабре, «полностью и безоговорочно»; чуть более трети – «в основном, но с оговорками»; 18% – «не совсем», но полагали, что она все же «лучше других»; а 15% опрошенных отметили, что мало знают о программе партии, за которую они только что проголосовали...

Приведенные выше показатели «заявленных» (декларируемых респондентами) факторов и мотивов электорального выбора подкрепляют давно известный, но не всегда учитываемый тезис: нельзя понимать поведение людей, опираясь только на их собственные суждения об этом.

Поиски адекватной модели

Уроки выборов 1993 года привели к выводу о необходимости разработки эффективной теоретической модели плюралистической и резко поляризованной структуры общественного мнения и соответствующего электорального поведения.

Сейчас представляется уместным подойти к электоральной ситуации с точки зрения самой *структуры общественного мнения*. Такую структуру можно представлять, прежде всего, как некоторый набор определенных когнитивных стереотипов, «содержательных» рамок восприятия «свое–чужое», «справедливое–несправедливое», ранжированные оценки, символические структуры и так далее. Правомерно допустить, что для каждой общественной системы этот набор, в принципе, исчерпывает все возможные или практиче-

ски необходимые «ниши» оценок и позиций; иными словами, «набор» может быть представлен как «спектр». Понятие «политический спектр» – частный случай подобной трактовки.

Упомянутое допущение имеет в данном случае сугубо аналитическую природу. «Спектральный» анализ по определению претендует на полноту описания возможных компонентов некоторого целого именно потому, что эти компоненты являются результатом дифференциации этой целостности в процессе конструирования исследовательской модели. Таковы, например, характерные для политического спектра западноевропейских стран категории «левого–правого»; в американских политических моделях они не имеют смысла и заменяются чем-то вроде ранжированных степеней популизма. В наших условиях, после декабря 1995 года, когда политический плюрализм в стране кажется доведенным до абсурда, а плюрализм парламентский – до жесткого «потолка», определяемого «процентной нормой», вырисовываются контуры целостной структуры, в принципе исчерпывающей спектр возможных позиций по отношению к властной вертикали, этой оси постсоветской (впрочем, советской тоже) политической организованности общества.

Ведущая после декабрьских выборов четверка политических сил образует конфигурацию наподобие квадрата, – «квадратура» политического круга, каждая из вершин которого несет определенную функциональную нагрузку. Этими вершинами, как известно, служат «партия-правительство» и три вида оппозиции – коммунистической, популистско-патриотической и «альтернативно»-реформаторской. (Пока ограничимся характеристиками этих видов с помощью их самооопределений; как они способны выполнять заявленную каждым течением миссию – особый вопрос.) Как говорится, положение обязывает: не столько история, идеология, амбиции и прочее, сколько положение на одной из вершин четырехугольника вынуждает соответствующую структуру к исполнению – или, по меньшей мере, к декларированию – оп-

ределенной функции в политическом спектре. Так формируется «практическая», не выстроенная в теоретической абстракции, а способная работать в данной ситуации, функционалистская социально-политическая модель.

Другой подход к проблеме структуры интересующего нас предмета – анализ когнитивных стереотипов общественного мнения. Здесь речь должна идти о наборе – или опять-таки о спектре – действующих и возможных в данной ситуации «формальных» рамок (способов, средств) организации распространенных мнений. В настоящем очерке преимущественное внимание сосредоточено именно на этом уровне понимания структуры исследуемого предмета. Можно показать, что между элементами представленных таким образом разных уровней имеется определенное соответствие.

Социально-политическое развитие последних лет позволяет выделить три таких типа, действующие в современных отечественных условиях. Во-первых, *рациональный* (точнее, рационализирующий). Он оперирует универсальными образцами, правилами игры – экономической, политической, этической и так далее. Выражением универсалистских ориентаций служит ссылка на некие мировые стандарты – стремление поступать «как все». Это извечная идеологема интеллигентской модернизации, опора всех демократических иллюзий, основа экономической реформы «западного» типа (универсальное в российском геополитическом пространстве непременно выступает как веяние Запада). Во-вторых, *традиционный* (на деле, традиционалистский или традиционализирующий, поскольку речь идет скорее об использовании определенных образцов представления о реальности, чем о возвращении к образцам социальной организации и социального действия, характерным для традиционных обществ). Здесь доминируют апелляции к уникальным, сугубо партикуляристским моделям, неповторимым особенностям культурно-исторического или этнокультурного, геополитического и прочего плана. Известно, что этот категориальный аппа-

рат используется преимущественно в национал-коммунистическом и национал-патриотическом сегментах политического спектра. Но никаких строго очерченных граней здесь не существует: в определенной мере (и в определенных смыслах, – к этому феномену мы вернемся несколько позже) традиционные стереотипы восприятия социальной реальности действуют во всех социальных и политических группах. И, наконец, *реактивный* тип общественного мнения, представленный – и осознаваемый – как непосредственный ответ на какой-то внешний вызов, например, личное влияние политического деятеля или эффект масс-медиа. (Конечно, в этом случае никогда не действует прямая, как бы механическая реакция на стимул, минуя структура личностных и групповых стереотипов.) Наиболее очевидная, далеко не единственная сфера действия этого типа – слой избирателей «последнего дня», делающих электоральный выбор незадолго до голосования под воздействием выступлений кандидатов и других факторов момента.

Перечисленные типы или уровни организации мнений и оценок, которые представлены в массовых исследованиях общественного мнения (на старомодном философском наречии это именовалось бы уровнями общественного сознания или массового понимания, и тому подобное), образуют сложную конструкцию, что-то наподобие *пирамиды* когнитивных стереотипов. Следует еще раз отметить, что строгое разделение уровней возможно только в рамках методологической модели. В любой социальной группе и в любом реальном действии социального субъекта, в том числе и единичного, можно обнаружить все уровни «пирамидальной» иерархии и сложные взаимодействия между ними. Попробуем представить характер и масштабы действия различных структур этой иерархии на материале электоральной кампании 1995 года.

Стереотипы рационализации

Рациональные типы действия, как было показано еще М. Вебером, понятнее для исследователя, потому что именно они действуют в процессе исследования. Но массовое действие, ориентированное на рационализирующие образцы, это скорее действие «последователей», чем «исследователей». Если, как сказано выше, полагать преимущественной сферой влияния рационализирующих стереотипов деятельность реформаторски ориентированного электората, поскольку именно здесь в первую очередь выступают ориентации на всеобщие, «вычисленные» образцы, в этой сфере оказывается до 15 миллионов избирателей. Представить себе, что все это множество движимо сугубо рациональными мотивами, конечно, невозможно. (Впрочем, это относится и к любому, отдельно взятому человеку как субъекту действия.) Лозунг «всеобщей» или «массовой» сознательности всегда оставался либо наивной мечтой просветительства, либо превращался в орудие демагогии и насилия над массами. Практически реализуемой была и остается лишь рациональность социально институционализированная, то есть система социальных институтов, которая обеспечивает эффективное разделение властных полномочий, соблюдение прав человека, квалифицированный элитарный отбор, доверие населения к государственным структурам и функционерам и так далее.

Неразвитость или неэффективность такой системы порождает весь комплекс хорошо известных из отечественной действительности трагических иллюзий относительно «просвещенного деспотизма» и исполняющей его функции «организации революционеров», а также обслуживающей их интеллектуальной элиты. Это относится, в частности, к одному из самых сложных узлов противоречий постсоветской жизни, где универсальные (например правовые) принципы постоянно и неизбежно вступают в коллизии с «оперативными», злободневными интересами. В результате каждой такой кол-

лизии последних лет долговременные и принципиальные интересы приносятся в жертву ради – или под предлогом – спасения положения или режима. Именно такая коллизия начала разворачиваться вокруг электорального законодательства в конце 1995 года. В интересующем нас плане ее можно трактовать не просто как столкновение практической целесообразности с принципами права, а как конфликт двух типов рационального социального действия – инструментального и ценностного. Трагичность таких ситуаций в том, что они не имеют принципиального решения и потому губительны для всех действующих сторон.

Интеллектуальная элита общества вынуждена нести всю тяжесть подобных коллизий, не будучи в состоянии предложить их решение. В этом, как представляется, – глубинная основа того раскола и разброда в демократическом стане после взлета эмоционального демократизма «перестроечного» образца, который никак нельзя свести к столкновению лидерских амбиций. Распад «партийно-советских» государственных структур сделал неизбежным союз деспотичного бюрократического режима с частью демократически настроенной интеллигенции, – той, которая понимала, что может использовать исторический шанс преобразования общества не с помощью теоретически чистой идеальной демократии, а только с помощью авторитета этого режима. За этот вынужденный брак по расчету пришлось расплачиваться тяжелой ценой – ответственностью за непоследовательность и трудности экономической реформы, а кроме того, за все акции державного авантюризма, с которыми волей-неволей приходилось хотя бы отчасти смиряться. Результатом и стали бесчисленные размежевания в стане демократов, обескровившие все их силы и подорвавшие доверие ко всем крупным и малым лидерам, независимо от «процентных ставок» на думских выборах 1995 года.

Один из самых заметных продуктов демократического распада 1993–1995 годов – лозунг «иной реформы», которая

была заявлена, но так никогда и не *предъявлена* обществу в виде программы, плана, какой-либо разработки. Что отнюдь не лишает данный лозунг социально-политического содержания, но определяет его реальное значение. «Альтернативная реформа» – не противопоставление одной модели реформы (или ее реализации) какой-то иной, более демократичной или более социальной, более продуманной. Это вполне последовательный в своем роде – и имеющий глубокие исторические корни – способ перехода от парадигмы типа «что делать» к парадигме типа «кто виноват», то есть от рационализирующего стереотипа к традиционалистскому. Именно по этой оси, как можно представить, произошло принципиальное размежевание реформаторских по своим ярлыкам движений, что и обрекло на неудачу слабые попытки предвыборного блокирования летом 1995 года.

И, как это бывает всегда, недееспособность «элитарной» демократии (которая обеспечивала бы ведущие роли в обществе рационализирующим элитам) привела к господству – пока только электоральному – демократии «толпы». Которая, разумеется, лишь на первый взгляд может показаться неорганизованной, бесструктурной, на деле же всегда организована на традиционалистском уровне. Слабость современных гражданских институтов и стереотипов социального восприятия неизбежно ведет к доминированию традиционалистских образцов. «Народ как толпа» – это человеческое множество, сплоченное жадой получить милости от барина-начальства, способного навести порядок (патерналистский комплекс) и противостоянием врагу – реальному или придуманному (комплекс агрессии). По этим линиям строилось практически все многообразие «кандидатского» спектра в период избирательной горячки (следует подчеркнуть, что мы в данном случае имеем дело не с намерениями или заявлениями лидеров, а только с показателями общественного мнения в соответствующих электоратах). Причем легко обнаруживались некоторые универсалии – стереотипы, которые в разной мере, но

присущи самым различным электоратам. Например, лозунг «Нужен сильный лидер» получает поддержку 80% населения против 10 при 10% воздержавшихся. Самая сильная поддержка этого лозунга – в электорате «Державы» (98:2), самая слабая – относительно – у сторонников ДВР (66:27). Лозунг «Сильная держава, империя, слава России» готовы поддержать 65% опрошенных в целом против 17; в электорате ЛДПР (максимум поддержки) 79:6, «Яблока» – 61:28; «Женщин России» – 56:18.

Один из рационализирующих образцов структурирования общественного мнения можно охарактеризовать как *вынужденный*. Независимо от своего желания и понимания, человек, живя в любом обществе, вынужден принимать его нормы, логику, правила «игры». Подобным образом приходится принимать правила социальной игры социальным субъектам в политике, экономике, межгрупповых и межличностных отношениях. В конечном счете, именно этот способ распространения рациональных стереотипов поведения и восприятия может оказаться решающим.

Традиционализм: соблазн простоты и привычности

Апелляции к корням, традициям, привычным образцам восприятия и действия – характерные примеры стереотипов традиционализирующего типа. Они сегодня представляются универсальной и «естественной» реакцией на катаклизмы модернизации во всех ее старых и новых формах. Они кажутся простыми именно потому, что привычны (и наоборот – нередко представляются привычными, поскольку представляются простыми). Дело в том, какими функциями наделяются образцы, относимые к традиционным.

Прежде всего следует отметить, что распространенные в сегодняшнем переходном обществе традиционные по происхождению и структуре стереотипы используются вне традиционного социокультурного контекста; более того, даже са-

мые активные «пользователи» не часто рассчитывают всерьез на реставрацию этого контекста. Поэтому традиционные структуры оказываются чем-то наподобие инородных вкраплений, которые служат то ли средствами критики современных процессов, то ли прикрытием чисто психологических комплексов, апелляция к которым содействует облегчению фрустрации и снятию стрессовых состояний.

Далее, отечественный традиционализм во всех скольконибудь распространенных его видах – даже наиболее экстремистских – принципиально отличается от фундаментализма, угрожающего сегодня миру исламской культуры (а возможно, и не только ему). В отличие от какого бы то ни было ретроградства фундаментализм апеллирует не к «доброму» историческому прошлому, а к «священному» (мифологизированному) позапрошлому, к сакральной чистоте «истоков»¹. Если обратиться к нашим политическим реалиям, то к фундаменталистам следовало бы относить не воинственно-площадную «Трудовую Россию», а, скажем, какую-нибудь руссифицированную версию «красных кхмеров», – пока в массовых опросах не обнаруживаемую.

Основные сферы наиболее активного распространения традиционных стереотипов – массовая религиозность, этническое и державное самосознание и, конечно, наиболее очевидная в последние месяцы тенденция компартийного «реванша». Показательно, что во всех этих сферах практически отсутствуют течения, которые заявляли бы себя обновленческими, то есть демонстрировали бы претензии на активное приспособление к современным условиям, на рационализированный традиционализм. Зато становится более явной тенденция поисков некоего общего знаменателя для всех каналов традиционалистского влияния – причем в качестве тако-

¹ Как полагал известный исследователь Э. Геллнер, современный фундаментализм распространяет на все общество нормы обособленных ранее городских сакральных общин. См.: *Gellner E. Conditions of liberty. Civil society and its rivals. L., 1994. P. 22.*

вого выступает преимущественно нынешний компартийный идеологический набор (сочетание «русской идеи» с соборностью, державностью и советским наследием). Претендовавшая на предельную рациональность и модернизм идеология теперь пытается обрести новое дыхание при помощи традиционных стереотипов; более того, на политической сцене она стремится – и не без успеха – быть единственным наследником всех течений традиционного типа.

Заслуживает особого внимания полная несостоятельность многочисленных (на деле – чисто декларативных) попыток реформировать социалистическую идею под флагом социал-демократии. На прошедших выборах все группы и течения, именовавшие себя социал-демократическими, получили в сумме едва 1–2% голосов. Длительный опыт партийно-государственного «реального социализма», видимо, лишает саму эту идею привлекательности в глазах общества. В нем отсутствуют те передпосылки формирования социал-реформизма, которые действовали в Западной Европе второй половины XIX века – нарождавшееся организованное рабочее движение и социальный утопизм.

Компартия (КПРФ) остается сегодня фактически единственной крупной силой, сторонники которой выступают за возвращение к социалистическим порядкам.

Таблица 5

Отношение к лозунгу «Возрождение социализма»

*(в % от числа опрошенных)**

Партии	Поддерживают	Не поддерживают	Нет ответа
<i>Всего</i>	32	44	24
«Женщины России»	32	48	20
НДР	14	65	21
«Яблоко»	24	49	27
ДВР	10	66	24
ЛДПР	34	44	22

Партии	Поддерживают	Не поддерживают	Нет ответа
КПРФ	58	22	21
АПР	49	30	21

** Исследование типа «Экспресс», декабрь 1995 (N = 1600 человек).*

Только в электоратах КПРФ и АПР сторонники «возрождения» социализма преобладают, хотя и здесь они имеют немало противников.

По всем опросным и иным данным демонстративное, повсеместно наблюдаемое возрождение официально церковного ритуализма не сопровождается религиозным возрождением общества. Неизменно отдавая дань уважения церкви (как наиболее заслуживающему доверия институту), общественное мнение не обнаруживает никакого намерения ориентироваться на религиозные ценности в личной или общественной жизни. Воспроизводство публичного ритуализма не означает реставрации сакральной ценностной системы.

Показательно, что на парламентских выборах потерпели полную неудачу политические движения под религиозными флагами: объединение «ХДС – христиане России» собрало всего 0,28% голосов, почти вдвое меньше мусульманского «НУР» (0,52%). В этом нет ничего удивительного – политический клерикализм, завезенный в Россию после 1905 года, остался чуждым официально-церковной и массовой религиозности и девяносто лет спустя.

Менее очевидны истоки электоральных неудач всех крупных и мелких воинственно-патриотических партий. (Если, конечно, не относить к таковым ЛДПР. Но еще выборы 1993 года показали, что В. Жириновский может привлечь людей скорее агрессивным популизмом и политическим критиканством, чем наигранной патриотической агрессивностью).

стью.) Возможно, продвижению политического патриотизма в массы помешало поражение «чеченской» политики властей и неудачные попытки компенсировать его дипломатической риторикой относительно Крыма, Боснии, НАТО и так далее. Другая же причина, несомненно, в том, что весь комплекс национальной неполноценности, определяющий в последнее время ориентации отечественного патриотизма, находит отражение в идеологии и политике самой привычной и организованной из державных сил, то есть той же компартии; «ниша» оказывается прочно занятой, и этим явно ослабляется патриотизм «некоммунистический» или неявно коммунистический.

Прежде всего это относится к патриотизму агрессивному, ориентированному на воинственную ксенофобию в отношении «чуждых» сил, стран и этнических групп. Иначе выглядит положение «рассеянного» национал-патриотизма, выполняющего, в основном, защитные психологические функции в рамках распространенного комплекса национальной неполноценности. Вот только один пример. Готовность поддержать лозунг «Россия для русских» выразили в декабре 1995 года 38% опрошенных против 45%. Абсолютное большинство поддерживает такой лозунг только в электоратах ЛДПР (69:25) и «Державы» (57:42), но относительное большинство – среди сторонников КРО (40:37), жителей малых городов (42:40) и, как ни странно, москвичей (47:41). При этом более двух третей (69%) из тех, кто одобряет идею «Россия для русских», в то же время готовы поддержать и прямо противоположный лозунг «Россия для всех, кто в ней живет». Можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с национал-патриотическими (точнее, шовинистическими) настроениями пассивного, оборонительного типа. Их выразители стремятся – по крайней мере, пока – скорее зафиксировать определенные установки, чем превратить их в какие-то действия. Отсюда и готовность согласиться с противоположной идеей.

Давление реальной обстановки, а также собственного электората и членского состава (последнее, разумеется, остается за рамками рассмотрения) вынуждает крупнейшую политическую силу страны оставаться монопольным носителем идеалов прошлого при отсутствии возможностей для их осуществления или обновления.

«Реактивные» стереотипы на политической сцене

Вернемся к приведенным в начале очерка данным о времени принятия респондентами электоральных решений. От четверти до трети избирателей делали это в последние дни, руководствуясь в значительной мере эмоциональной реакцией, вызванной такими факторами, как непосредственное воздействие личности кандидата, эффекты пропаганды и масс-медиа.

По данным исследования, проведенного сразу после выборов, решающее воздействие при голосовании по партийным спискам оказали:

1. Выступления лидеров партии по телевидению	39
2. Предвыборные ролики партии по телевидению	13
3. Советы знакомых и близких	10
4. Комментарии известных людей, журналистов	9
5. Реклама по радио	9
6. Листовки, брошенные в почтовый ящик	7
7. Личные встречи с лидерами партии	4
8. Расклеенные предвыборные плакаты	3
9. Беседы с агитаторами партии	2
10. Рекламные щиты	2
11. Реклама на транспорте	1
12. Другое	1
Ничего из этого	—
Я сам принял это решение	24
Затруднились ответить	13

Как видим, заявленная самостоятельность решений ограничена четвертью общего электората.

Представляет интерес динамика показателей, относящихся к предвыборным выступлениям политических лидеров. Главным героем здесь стал В. Жириновский – его выступления, особенно в последние недели перед выборами, пользовались гораздо большим вниманием населения, чем выступления любого другого кандидата. К 5 декабря это отметили 16% опрошенных (ближайший «конкурент» Жириновского, Г. Зюганов, получил внимание 8% опрошенных), к 12 декабря – 22, к 26 декабря – 25%. Здесь виден «секрет» возрастания доли избирателей, собиравшихся голосовать за ЛДПР в самые последние дни перед выборами. Это, пожалуй, наиболее наглядный пример «реактивного» электорального поведения.

Уместны, впрочем, некоторые существенные оговорки. Никакое внешнее воздействие – личное или телевизионное не падает на *tabula rasa*; оно может лишь активизировать определенный, уже зафиксированный в структуре личности и культуры стереотип действия. (Кстати, своей активной предвыборной кампанией В. Жириновский смог вернуть в ряды своих сторонников часть «своего» старого электората, который он ранее потерял.)

Но интересно, что на российской политической сцене, как она оформилась за последние годы, постоянно находится ниша для такого персонажа как Жириновский, а значит и высокая вероятность того, что немалая часть электората, принимающего решения под воздействием эмоциональных «факторов последнего дня», окажется именно там.

«Мониторинг...» 1996. № 1

СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА: ЦЕНТР И РЕГИОНЫ

Актуальные и принципиальные аспекты «регионализации» России

Развитие социально-политической ситуации в период избирательных кампаний 1995–1996 годов придает ситуативную остроту «извечной» и чрезвычайно глубокой проблеме специфической социально-пространственной структуры страны. Как это обычно бывает в условиях кризисных разломов, латентные структуры выступают на поверхность, скрытые – приобретают очевидность (которая, впрочем, бывает обманчивой).

Современная «регионализация» предстает прежде всего продуктом распада централизованной экономики и государственно-политических структур, назревавшего практически непрерывно с начала 90-х годов. Этот процесс, естественно, стимулировал тенденции локальной самоорганизации различных социальных, экономических, коммуникативных и властных структур. Кроме того, постоянные попытки союзного, а потом российского политического руководства сохранить влияние на административные регионы в этих условиях постоянно приводили к усилению локальных элит и привилегий (конституированных, в частности, в верхней палате нынешнего парламента).

Данные многочисленных исследований ВЦИОМ позволяют оценить некоторые направления современной регионализации российской общественной жизни, поскольку они действуют и могут фиксироваться на массовом уровне. Местным властям доверяют больше, чем центральным, местные телепрограммы смотрят, а местные газеты читают чаще, чем московские. Для значительной части населения реальности «местной» жизни, отношения с местной администрацией, со-

держание местных СМИ и так далее заметно более важны, чем отношения с отдаленным (точнее, принадлежащем иному социополитическому и социокультурному измерению) центром. Опросы показывают, что растет и локальная идентификация населения: люди чаще связывают себя с «малой родиной», то есть с местом, где они родились и выросли.

В этом можно видеть неизбежный результат крушения принудительного жестко централизованного единообразия жизни и интересов, навязанного обществу. Но также и то, что эта внешне жесткая стандартизация нормативных образцов никогда не была на деле всеобъемлющей и всемогущей: под покровами – или даже под прикрытием – заданных «центром» шаблонов поведения и сознания во все времена действовали иные, повседневные, в большой мере укорененные в обыденном поведении образцы и ориентации. При этом дело не в тех или иных собственно «местных» особенностях быта, культуры, этничности и прочего, а в различии нормативно-ценностных образцов, принадлежащих разным социокультурным слоям или типам. В России – включая советский период – эта разнослойность всегда имела свое *пространственное*, «геосоциальное» измерение.

Самое очевидное проявление регионализации в середине 90-х годов – «покраснение» российского политического пейзажа, притом преимущественно *периферийного*.

Таблица 1

**Соотношение голосов основных политических течений
на выборах по партийным спискам в
Государственную Думу 17 декабря 1995 года
(в % от числа участвовавших в голосовании)***

Регионы	«Реформисты»**	«Консерваторы»***
<i>Север и Северо-Запад</i>		
области	57	49
республики	54	46
центральный	43	57

Продолжение табл. 1

Регионы	«Реформисты»**	«Консерваторы»***
<i>Волго-Вятский</i>		
области	44	56
республики	34	66
<i>Центрально-Черноземный</i>		
	29	71
<i>Поволжье</i>		
области	37	64
республики	60	41
<i>Северный Кавказ</i>		
края, области	35	66
республики	43	57
<i>Урал</i>		
области	53	47
республики	41	59
<i>Западная Сибирь</i>		
края, области	36	64
республики	60	40
<i>Восточная Сибирь</i>		
края, области	43	57
республики	40	59
<i>Дальний Восток</i>		
края, области	41	59
республики	50	51
<i>Санкт-Петербург</i>		
	68	33
<i>Москва</i>		
	69	31

* По данным Центризбиркома.

** Центристы и демократы.

*** Коммунисты и национал-патриоты.

Получается, что сторонники реформистских сил находятся в большинстве в столичных городах, на Северо-Западе, в республиках Поволжья и Дальнего Востока; на территориях остальных субъектов федерации преобладают антиреформи-

стские ориентации. За 1993–1995 годы доля голосов, поданных за КПРФ, почти повсеместно увеличилась в полтора-два раза, единственным исключением является Москва, где электорат коммунистов не вырос (20,6% в 1993 году и 21,1% в 1995-м – от числа голосовавших). Создается картина сжимающегося «красно-консервативного» кольца вокруг Москвы, Петербурга и еще немногих «демократизированных» очагов в стране, охваченной ретроградными настроениями, некоей электоральной «всероссийской Вандеей». Отображения этой картины составляют фон президентской избирательной кампании 1996 года.

Сопоставим сводные результаты мониторинговых исследований 1994–1995 годов по двум позициям – по оценке респондентами сложившейся жизненной ситуации и их отношения к продолжению экономических реформ.

Таблица 2

Оценки ситуации и отношение к реформам
(в % от числа опрошенных)*

Регионы	Оценка ситуаций			Отношение к реформам	
	«можно жить»	«можно терпеть»	«терпеть невозможно»	продолжать	прекратить
Всего	10	52	25	46	18
Москва	17	52	25	46	18
Петербург	18	45	27	39	16
Север и Северо-Запад	11	45	34	35	22
Центральный	10	50	31	29	29
Волго-Вятский	9	49	34	30	29
Центрально-Черноземный	6	50	40	18	36
Северный Кавказ	11	50	34	34	29
Поволжье	11	52	32	31	28

Регионы	Оценка ситуаций			Отношение к реформам	
	«можно жить»	«можно терпеть»	«терпеть невозможно»	продолжать	прекратить
Урал	9	50	34	29	24
Западная Сибирь	8	46	42	27	34
Восточная Сибирь	10	48	36	26	33
Дальний Восток	8	45	39	31	31

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 27 000 человек). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Отметим некоторые особенности распределения показателей в табл. 2. (Данные сводного мониторинга не являются строго репрезентативными в рамках указанных регионов, но лишь позволяют представить характерные тенденции.) Наибольшее число опрошенных во всех регионах выбирает вариант ответа «жить трудно, но можно терпеть», причем различие по этому показателю между регионами минимальное. Сильнее различия в крайних оценках, которые в значительной мере коррелируют с отношением к экономическим реформам.

В свою очередь, это отношение может быть соотнесено с наличием или отсутствием у соответствующей группы возможностей для активной адаптации к реалиям современной жизни.

Таблица 3

**«Сможете ли Вы найти свое место в новой
экономической системе?»**
(в % от числа опрошенных)*

Регионы	Варианты ответа		
	да**	нет***	затруднились ответить
<i>Всего</i>	25	47	28
Север	20	43	37
Северо-Запад	33	42	25
Центральный	25	45	30
Волго-Вятский	15	56	29
Центрально-Чероноземный	27	56	17
Поволжье	24	59	17
Северный Кавказ	30	43	26
Урал	25	35	39
Западная Сибирь	21	50	28
Восточная Сибирь	32	43	25
Дальний Восток	22	48	30
Москва и Санкт-Петербург	36	42	22
Большие города	25	46	29
Малые города	24	46	30
Села	20	51	29

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1995 (N = 2600 человек).

** Сумма ответов «да» и «скорее да».

*** Сумма ответов «скорее нет» и «нет».

Как можно полагать, детерминирующим фактором оптимистической оценки респондентами собственных перспектив в данной ситуации служит наличие возможностей, которые характерны скорее для развитых регионов и крупных городов.

Фактор урбанизации

Официальные данные Избиркома не позволяют учесть особенности голосования городских и сельских жителей. В значительной мере влияние реформаторских ориентаций в России, несомненно, связано с урбанизационными факторами.

Таблица 4

Степень урбанизации региона и оценки ситуации
(в % от числа опрошенных)*

Оценки респондентов	Всего	Москва и Санкт-Петербург	Большие города	Малые города	Села
«Можно жить»	10	17	11	9	7
«Можно терпеть»	49	50	47	50	50
«Терпеть... невозможно»	34	26	35	34	36
Затруднились ответить	7	7	7	7	7
Реформы продолжать	30	42	34	29	23
Реформы прекратить	29	18	27	29	34
Затруднились ответить	41	38	40	42	43

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 27 000 человек).

Население крупных городов и агломераций значительно более демократически развито и ориентировано, чем «традиционно-советские» сельские регионы и поселки, это постоянно подтверждают и опросы общественного мнения. Но данное положение справедливо прежде всего по отношению к урбанизационным процессам интенсивного, «европейски»-цивилизованного типа, которые формируют развитую социо-

культурную урбанизованную среду¹.

Иные ситуации возникают как следствие чисто экстенсивной урбанизации, характерной для одностороннего индустриального – собственно, военно-промышленного или топливно-сырьевого – роста, приводившего к возникновению поселений типа гигантских рабочих поселков без диверсификации типов занятости, без развитой коммуникативной и культурной инфраструктуры и так далее. Наиболее острые напряжения сейчас возникли именно в таких «гиперурбанизированных» (на деле – примитивно, формально урбанизированных) регионах Дальнего Востока и Сибири.

Следует учесть, что различные уровни и типы урбанизационных процессов не составляют особых, тем более организованных и юридически оформленных субъектов государственно-политической системы; такими оказываются региональные субъекты федерации.

Потенциал протеста в пространственном измерении

Оценка населением возможностей массовых протестов против экономической политики властей обнаруживает некоторые «географические» особенности. Обратимся к данным объединенного мониторинга.

¹ См.: Долгий В.М., Левада Ю.А., Левинсон А.Г. Урбанизация как социокультурный процесс. Урбанизация мира // Вопросы географии. Т. 96. М., 1974.

Таблица 5

**«Насколько возможны массовые выступления
протеста...?»**

*(в % от числа опрошенных)**

Регионы	Массовые выступления в регионе		Ваше участие в них?	
	воз-можны	малове-роятны	возмож-но**	малове-роятно***
Всего	28	55	24	60
Москва	38	49	10	80
Санкт-Петербург	34	53	11	78
Север и Северо-Запад	23	57	23	58
Центральный	25	59	24	60
Волго-Вятский	24	58	23	60
Центрально-Черноземный	25	56	22	61
Северный Кавказ	28	57	25	62
Поволжье	25	56	20	62
Урал	30	53	29	52
Западная Сибирь	28	58	22	65
Восточная Сибирь	30	53	29	52
Дальний Восток	36	50	37	48

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 27 000 человек). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

** Сумма ответов «да» и «скорее да».

*** Сумма ответов «скорее нет» и «нет».

В основном региональные показатели довольно близки друг к другу. Несколько выделяются заявленной готовностью участвовать в протестах регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока – регионы однобокой военно-промышленной урбанизации с преобладанием антиреформистских настроений. Причем только на Дальнем Востоке показатель

готовности участвовать в выступлениях столь же высок, как показатель *возможности* таких выступлений. В то же время недовольные реформой Черноземье или Северный Кавказ не выказывают «вышесредней» готовности к протестам. В Москве и Петербурге ожидание протестов выражено сильнее, но готовность принимать в них участие – гораздо слабее, чем в других регионах. Видимо, дело в разной природе этих показателей: в столицах тревожные ожидания связаны скорее с политизированной атмосферой, чем с социально-экономическим положением предприятий и работников. Это восприимчивость «идеологическая», а не социальная.

«Центр» и «периферия» в социально-пространственной структуре

Несколько замечаний общетеоретического порядка. Функциональное обособление центральных и периферийных структур в том или ином виде присуще различным обществам². Принципиальная схема отношений – конечно, в предельном упрощении – выглядит примерно так: «центр» задает нормативно-ценностные образцы, цели и рамки жизнедеятельности, «периферия» исполняет адаптивные функции. В качестве «центральных» структур могут выступать правящие и культурные элиты, социальные институты. Пространственная локализация центра в подобных моделях не обязательно значима (скорее, как это обычно бывает в функционалистских социальных концепциях, работают аналоговые модели физиологического или нейрофизиологического происхождения: центральная и периферическая нервная система). В развитых обществах функции центра и периферии вообще могут не быть локализованы географически, во многих старых и новых государствах политико-административные, эко-

² См.: Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская социология. М.: Прогресс, 1972. С. 341-360.

номические, культурные центры различны. В России же на протяжении последних столетий происходит разворачивание, раскладывание социальных структур в географическом пространстве. Это связано не только с протяженностью и соответствующим временем коммуникаций, но также с запоздалой и государственно-централизованной модернизацией. Отсюда, в частности, совмещение и жесткая «столичная» локализация экономического, административного и культурного центра в обществе. Но отсюда и характерный феномен всех глубоких институциональных кризисов российского общества – обнажение и трансформация социально-пространственных связей, прежде всего их осевой центр-периферийной структуры.

Последний по времени такой кризис развивается с начала 90-х годов, то есть после того, как был исчерпан потенциал централизованной «горбачевской» перестройки, осуществлявшейся по канонам государственной модернизации. Этим канонам соответствовали характер самого процесса директивной трансформации (сверху вниз, от центра к периферии), концентрация сил властвующей элиты и ее символического подкрепления (демонстративная элита, масскоммуникативная «перестроечная» интеллигенция), наконец, довольно широкий фон безальтернативной эмоциональной поддержки. Демонстративное низложение партийной номенклатуры во многих регионах в период выборов 1989–1990 годов – наиболее заметный, на деле последний шаг в этой фазе трансформации общества. В данном случае нет нужды обсуждать истоки ограниченности действовавшего централизованного трансформационного механизма («революции сверху»), отметим лишь, что все разнонаправленные инициативы последующего периода пытались опереться на региональные и центробежные силы («против верха»). Таким можно считать и «парад суверенитетов» (за лидерство в котором боролись тогда Б. Ельцин и КПРФ), и дополнявший его «новоогаревский процесс» 1991 года, приведшие суммарно к распаду

Союза ССР. Экономическая реформа Е. Гайдара, сломав систему централизованного планово-распределительного хозяйства, неизбежно открыла шлюзы для «низовой» самоорганизации экономики и региональной жизни. (Нынешняя сверхконцентрация капиталов и банков в Москве не означает их централизации, столица выступает не в качестве «верха», а скорее как наиболее готовая стартовая площадка – и субъект – все той же регионализации.) Преследовавшие как будто центростремительные цели акции властей – от авторитарного конституционного законодательства до авторитарнейших средств «восстановления конституционного строя» в Чечне – своим результатом имеют реальное ослабление центра и усиление центробежных тенденций. И, наконец, «восстание» консервативных по своим политическим симпатиям регионов против «реформаторского центра» («Вандея») – по типу это тоже процесс регионализирующий. Вопрос в том, куда направлен и к чему может привести этот процесс.

Кстати, в слабо дифференцированной и центростремительной структуре советско-российского общества элитарная мобильность во всех сферах деятельности означала приближение к универсальному центру – принятие, одобрение и пр., реализуемые через параллельные каналы партийного «лифта». Притом сама эта однонаправленная вертикаль становилась самоценной, более того, предельной ценностью. В заданных этим условиях происходило постоянное откачивание человеческих ресурсов в центр, ориентированный на выживание, а потому неспособный к самовоспроизводству. Концентрируясь в «черной дыре» центра, элитарные группы обрекали себя на взаимоуничтожение, бесплодие, – и ввиду этого постоянно нуждались в притоке новых сил. Эта закономерность выдвижения и вырождения сохраняла свое значение в советский и постсоветский периоды. Сейчас можно видеть, что судьбу «застойно»-советских элитарных групп разделила и первая («перестроечная») волна постсоветской элиты.

Пространственная структура и субстрат

Развернутая в пространстве структура общества неизбежно обнажает не только его текущие связи, но и его «корневую систему» – прежде всего типы сочетания официальных структур с повседневными, современных – с предшествующими. Так, на советских социальных просторах можно было наглядно представить особенности «советско-российского», «советско-азиатского» и «советско-западного» типов общества и общественного человека, отличавшихся именно характером *субстрата*, на который накладывался общий шаблон. В регионах исламской или клановой, тейповой и тому подобных культур такой субстрат составляли системы традиционных локальных, межличностных и межгрупповых отношений. Советский «Запад» (в основном, регионы индивидуалистической протестантской культуры и с несколько более коротким – разница в одно поколение – периодом советизации). В собственно же российских или руссифицированных регионах, составлявших основу всей советской социальной структуры, в качестве субстрата можно было рассматривать только структуры межличностной повседневности и закрепленные в них нормативно-ценностные рамки. Именно здесь в результате многочисленных итераций «советские» авторитарно-патерналистские и – на последних стадиях – умеренно-толерантные рамки жизни оказались наиболее приближенными к ограниченности запросов, а потому и наиболее жизнеспособными. И именно они составили тот социальный и человеческий субстрат, который воспринимает или отторгает веяния, исходящие из «центра».

Сегодня этот «советский» субстрат в значительной мере определяет пределы демократии, возможной в постсоветском российском обществе. Видимый успех эмоциональной демократической волны конца 80-х годов объясняется скорее слабостью и дискредитацией официального слоя общества (то же вырождение элиты), чем готовностью «субстрата» к вос-

приятую радикальной модернизации. Не создав сколько-нибудь устойчивой институциональной структуры, отечественная демократия – как тенденция, а не как движение или организация – оказалась зависимой от состояния «всероссийской массы» настроений и голосов. Нескончаемые издержки реформ и просчетов властей не создают, но усиливают эту зависимость.

Конечно, никакая теоретическая функциональная схема не исчерпывает и не определяет реальные варианты социально-политического развития в конкретный период; можно лишь с известным приближением судить о более или менее вероятных рамках таких вариантов. Принципиальный предмет общенационального, не зависящего от намерений и настроений лидеров и электоратов выбора состоит сейчас в том, в какой мере и в какой форме могут быть восприняты в российском социально-политическом пространстве результаты перемен последнего десятилетия. На этом поле решается вопрос о выигрыше, проигрыше, разгроме, «реванше» различных сил.

Таблица 6

Отношение к восстановлению коммунистической системы

*(в % от числа опрошенных)**

Регионы	Варианты	
	согласны	не согласны
<i>Всего</i>	38	60
Москва и Санкт-Петербург	20	79
Север	38	59
Юг	47	52
Предуралье и Урал	29	66
Сибирь и Дальний Восток	43	54
Большие города	28	69

Продолжение табл. 6

Регионы	Варианты	
	согласны	не согласны
Малые города	39	58
Села	48	50

* Исследование типа «Мониторинг», январь 1996 (N = 2400 человек). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Имеющийся в распоряжении исследователей общественного мнения эмпирический материал позволяет судить о том, что в стране доминируют настроения политического протеста, но не готовность к восстановлению партийно-советского режима. Кем и как будут использованы такие настроения – вопрос для электората и политических сил.

«Мониторинг...» 1996. № 2

РОССИЙСКОЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Электоральные ситуации представляют исследователям редкие возможности для анализа природы и деятельности социально-политических институтов, в том числе, разумеется, и общественного мнения. В условиях повышенной общественной напряженности отдельные структуры и связи предстают более рельефными, обнажаются обычно скрытые внутренние механизмы социальных подсистем. Кроме того, результаты всеобщих выборов могут служить средством проверки не только исследовательских данных, но также моделей и гипотез относительно ряда параметров социальной и политической реальности.

В российской общественной жизни (включая периферийную) высоко нестабильные 1993–1996 годы оказались наиболее нагруженными избирательными кампаниями, а с осени 1995 года до середины лета 1996-го практически непрерывная электоральная ситуация определила не только фон и меру, но в значительной мере и само содержание социально-политической жизни, характер политических решений и требований. В острейшей конкуренции за передел власти выявились и закрепились основные компоненты структуры властных отношений в обществе, в том числе политический набор, реальные конкурентные механизмы, типология субъектов и символов политического действия. Одновременно определились и основные параметры (структура, дифференциация, устойчивость, возможности влияния) общественного мнения на современном этапе его формирования. В то же время интенсивные избирательные кампании 1989–1991 годов дали богатейшие возможности для испытания исследовательского инструментария и разработки концептуальных моделей.

Ведь не «угадывание» или «предсказывание» результатов выборов или иных общественных событий составляет основ-

ное содержание исследования общественного мнения. В массовой прессе по отношению к показателям состояния общественного мнения сейчас доминируют – и вполне естественно – сугубо *прикладные*, диктуемые рыночными условиями, интересы. Как только в обществе стал реальностью политический и коммерческий выбор, появился реальный спрос на его изучение, стало расти и предложение на информацию такого рода. Но значительная часть трудностей, с которыми сталкивается в настоящее время изучение общественного мнения в постсоветской России, связана, как представляется, с неразвитостью теоретико-методологической базы, с упрощенными трактовками самого предмета исследования. Распространенный образ сводки показателей опросов как некоего «социального барометра» явно искажает восприятие этой проблемы: создается впечатление, что общественное мнение как бы одномерно, измеримо с помощью одного числового ряда. Между тем парадоксы, которые постоянно предстают перед исследователями при работе с принципиально противоречивыми сериями данных вынуждают искать более сложные модели изучаемого предмета.

Было бы непростительным упущением не воспользоваться исключительной ситуацией электоральной интенсификации социальных процессов и самих исследований для анализа и разработки концептуальных рамок изучения общественного мнения, – и не попытаться тем самым подойти к пониманию современного отечественного «человека политического» (*Homo Politicus*).

Материалом для данного очерка послужили данные предвыборных опросов, проводившихся ВЦИОМ в последние месяцы, в частности, сопоставление показателей общественной ситуации в двух мониторинговых исследованиях, первое из которых было проведено за три месяца до последних *парламентских* выборов (сентябрь 1995), а второе – за три месяца до *президентских* выборов (март 1996).

Параметры обстановки

Значимые показатели в момент развертывания (или официального начала) предвыборных кампаний по многим позициям весьма близки.

Таблица 1

Общественные настроения за три месяца до выборов (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Сентябрь 1995	Март 1996
<i>Ваше настроение в последние дни?</i>		
Прекрасное	3	3
Нормальное, ровное	35	31
Напряжение, раздражение	40	45
Страх, тоска	13	10
Затруднились ответить	9	9
<i>С каким суждением Вы скорее согласны?</i>		
«...можно жить»	10	9
«...можно терпеть»	49	47
«Терпеть...уже невозможно»	34	38
Затруднились ответить	7	6
<i>Отношение к рыночным реформам</i>		
Продолжать	27	31
Прекратить	29	26
Затруднились ответить	44	43
<i>Оценка политической обстановки в России</i>		
Благополучная	0	0
Спокойная	3	3
Напряженная	60	60
<i>Выступления против падения уровня жизни...</i>		
Вполне возможны	27	25
Маловероятны	57	57

Варианты ответа	Сентябрь 1995	Март 1996
<i>Ваше участие в них</i>		
Скорее да	23	23
Скорее нет	61	63

* Исследования типа «Мониторинг», сентябрь 1995, март 1996 (N = 2400 человек).

Таким образом, массовые оценки «объективной» обстановки за полгода не претерпели сколько-нибудь заметных изменений, несмотря на все волны политической напряженности вокруг парламентских выборов 1995 года, оценки их результатов, развертывания президентской избирательной кампании. Это, видимо, подтверждает обсуждавшееся ранее предположение о том, что наблюдаемая стабильность распределения оценок различных параметров социально-политической жизни «куплена» ценой отторжения индивидуальной повседневности от официальной, общественно-значимой. Но параллельно отмечается весьма заметная разница в переживании собственно электоральных установок: готовности участвовать в голосовании и приверженности к различным политическим силам (или субъектам политического действия).

Таблица 2

Намерения участвовать в выборах
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Сентябрь 1995	Март 1996
Уверен, что не буду голосовать	14	9
Сомневаюсь, что буду голосовать	14	9
Не знаю, буду голосовать или нет	15	16

Варианты ответа	Сентябрь 1995	Март 1996
Наверно, буду голосовать	16	25
Совершенно точно буду голосовать	11	8
Затруднились ответить	11	8

* Исследования типа «Мониторинг», сентябрь 1995, март 1996 (N = 2400 человек).

Если в сентябре 1995 года готовность участвовать в выборах выражали 42% населения, то в марте 1996 – 58%, то есть почти в полтора раза больше.

Готовность принять участие в голосовании можно считать относительно самостоятельным показателем электоральной *мобилизации*. После выборов декабря 1995 года в обществе некоторое время сохранялся тот же уровень электоральной мобилизации, в феврале–марте он несколько снизился в селах, но в апреле, по мере развертывания президентской избирательной кампании, стал расти сначала в крупных городах, а позже в селах и малых городах. К концу апреля, по данным исследований типа «Экспресс», средний показатель электоральной готовности достиг 70%, у некоторых категорий населения (жителей крупных городов, партийно ангажированных) достигал 80%.

Степень мобилизации показывает уровень *напряженности* избирательного «поля».

Другой существенный показатель электоральной ситуации – *структура* этого поля, то есть распределение выраженных интересов и потенциальных действий (намерений поддержать определенную партию, личность). В условиях низкой партийной организованности в межвыборный период такая структура заметна довольно слабо.

Структура избирательного поля определяется двумя измерениями – *поляризацией* (размежеванием позиций, склон-

ностей) и *персонализацией* (ориентацией избирателей на личности политических лидеров).

Как показывает опыт, эти три измерения (мобилизованность, поляризация, персонализация), в общем, достаточны для представления «электорального пространства». Добавление к ним какого-либо еще, например, степени рационализации мало что прибавляет и потому вряд ли целесообразно.

Таблица 3

Деятели, вызывающие наибольшее доверие
(в % от числа опрошенных)*

Политические деятели	Сентябрь 1995	Март 1996
Г. Зюганов	11	20
Г. Явлинский	12	17
А. Лебедь	13	17
С. Федоров	10	11
В. Черномырдин	14	11
Б. Ельцин	5	9
В. Жириновский	5	9
Е. Гайдар	8	7
Б. Немцов	3	7
А. Руцкой	7	5
А. Тулеев	2	4
Такого нет	25	18
Затруднились ответить	25	23

* Исследования типа «Мониторинг», сентябрь 1995, март 1996 (N = 2400 человек).

Итак, электоральным пространством будем считать такую абстрактную модель системы социальных действий, намерений и оценок, которая может быть описана через названные три измерения. Состояние этого пространства характеризует как общество, так и человека, поскольку последний выступает субъектом электоральной активности.

Часто выясняемый в опросах «уровень доверия» к политическим деятелям, если сравнить показатели двух упомянутых исследований, оказывается прежде всего индикатором политического *внимания*. Так, список деятелей, вызывавших наибольшее доверие, в сентябре 1995 года и в марте 1996-го состоял из одних и тех же хорошо знакомых лиц – но с разными показателями (см. *табл. 3*).

Факторы электоральной мобилизации

Уровень электоральной мобилизации, как уже отмечено выше, накануне президентских выборов остается весьма высоким и можно предполагать, что ко дню голосования, по крайней мере, в первом туре 16 июня 1996 года, все «рекорды» участия последних лет будут превышены. Чем это можно объяснить?

В определенной мере – тем, что электоральная активность остается в постсоветском обществе единственным средством прямого участия населения в политической жизни. Незрелость политической организованности общества, «зрительский» характер политического участия придают выборам характер экстраординарного массового действия.

Другой серьезный фактор электоральной мобилизации – обеспокоенность за собственное положение и ситуацию в обществе. Примерно в равной мере эта обеспокоенность находит свое выражение в стремлении сохранить хотя бы существующую меру общественного порядка (в потенциальном электорате президента такое пожелание разделяют около 40%) или добиться радикального его изменения (электорат Зюганова и других представителей оппозиции).

При этом для первого тура президентских выборов мотивация «голосования против» (то есть чтобы помешать оппонентам) играет сравнительно небольшую роль. Так, по данным конца апреля 1996 года только 2% опрошенных мотивируют свой выбор желанием не допустить сохранения прези-

дентской власти за Б. Ельциным и только 4% – стремлением не допустить к власти представителя коммунистов. Довольно четкое размежевание политических ориентаций между социальными группами, отличающимися возрастом, степенью урбанизации, образованием, приводит к тому, что небольшая разница в электоральной мобилизованности между ними может иметь серьезные последствия для результатов голосования, особенно во втором туре.

Структура и поляризация электорального пространства

Однополюсная структура социального пространства, характерная для мобилизационного общества советского и первого постсоветского периода, формально кончила свое существование с крушением советской социально-политической системы. Многопартийные выборы 1993 и 1995 годов создали определенную видимость – и определенные элементы – политического плюрализма.

Однако, как показывает отечественный электоральный и парламентский опыт, почва для реальной плюралистической политической системы – то ли в качестве «спектра» западноевропейского типа, то ли в качестве системы взаимных сдержек и противовесов, характерных для двухпартийных систем англо-саксонского типа, – в российском постсоветском обществе практически отсутствует. Для описания нынешней политической модели равно малопригодны и европейская картина одновременного «спектрального» плюрализма (правые–центр–левые в различных вариантах) и американская модель последовательного, двухтактного политического механизма.

Осю политической организованности общества остается властная вертикаль, которая отличается от тоталитарной большей неорганизованностью и (отчасти поэтому) – большей терпимостью. Политическое господство организовано по старому моноиерархическому образцу, лишенному, прав-

да, своих идеологических и силовых опор. Парламентская оппозиция при всей – как кажется иногда – радикальности своих устремлений способна ограничивать некоторые акции правящей иерархии, но не может ни предлагать, ни реализовать какой-либо альтернативы.

Тем более, что ядром оппозиции после выборов 1995 года стала компартия, которая с момента ее прихода к власти была не политической партией, а монопольной государственной структурой, опиравшейся на аппарат принуждения, в том числе идеологического. Практически сложилась оппозиция двух государственных властных структур – действующей и прошлой (точнее, отчасти ушедшей в прошлое) «партий власти». Конституционно декларированный политический плюрализм трансформировался в бинарную дихотомическую структуру, не оставляющую места для «третьей» или «четвертой» и так далее силы. Кульминацией такого типа противостояния стала президентская избирательная кампания 1996 года. Эмпирические референты этой принципиальной ситуации хорошо известны, в частности, по данным опросов общественного мнения. Наиболее важен здесь почти несомненный (на конец апреля) выход в решающий тур выборов только представителей нынешней и прошлой властных структур.

Два важных момента предвыборной гонки могут быть с большой степенью уверенности «выведены» из отмеченных выше особенностей российского политического пространства: отсутствие на электоральной сцене влиятельной демократической структуры и неудача создания промежуточной «третьей силы».

Существующий в постсоветской России уровень демократичности (точнее, либеральной толерантности, допускающей существование определенных демократических ценностей и институтов), как уже отмечалось, явился скорее вынужденным и побочным продуктом разложения тоталитарной партийно-государственной системы, чем результатом какого-то особого демократического движения. Поэтому в

стране не сформировались какие-либо влиятельные и самостоятельные собственно демократические силы или партии – ни массовые, ни элитарные. В борьбе с имперской державностью союзного «центра» российский авторитаризм вынужден был допустить и использовать демократические лозунги. И точно так же демократически и реформистски ориентированные силы страны вынуждены были искать опоры и прикрытия в этом новом авторитаризме; только в таких условиях оказался возможным развал советского тоталитаризма и реальная трансформация экономики и общества – при всей ее ограниченности и болезненности. Можно, вероятно, считать печальной, трагической неизбежностью этот блок, в значительной мере превращающий мечтательную, эмоциональную по происхождению российскую демократию в заложника авторитаризма и его политики. Но в то же время он ставит власть в определенную зависимость от вынужденной поддержки со стороны демократических реформаторов и создает некоторое пространство для изменений в обществе. За этот компромисс прагматической демократии приходится платить бесчисленными внутренними расколами и утратой поддержки, как массовой, так и элитарной. Такой представляется, в частности, принципиальная, не определяемая отдельными акциями или лицами, «линия судьбы» «Выбора России» (потом ДВР).

Другая сторона той же медали, продукт тех же принципиальных обстоятельств – многочисленные и, в конечном счете, неудачные попытки создания «альтернативной» демократии. Наиболее глубокая причина их неуспеха кроется не в организационных или программных способностях/неспособностях, личностных амбициях лидеров, а в том, что в нашем политическом пространстве просто не находится места («ниши») для такого направления. Поэтому повисают в воздухе туманные обещания лидеров «яблочной» демократии, столь привлекательной для значительной части населения и столь беспомощной политически. В этом не вина ее лидеров,

а скорее беда всего демократического направления или устремления в нашем политическом водовороте.

В значительной мере аналогичная аргументация применима и к различным вариантам организации политической «третьей силы» как некоего среднего фактора между властью нынешней и прошлой, а отчасти и между властью и демократией. Полную неудачу потерпели в последние годы все попытки искусственного создания политического «центра», как под либерально-реформаторскими так и под социал-демократическими (бесчисленные вариации «социалистических» движений и партий, не имевших ни организации, ни поддержки избирателей) лозунгами. Дело здесь опять-таки не в отсутствии энергичных лидеров или эффективных лозунгов – это скорее следствие, чем причина – а в отсутствии места для подобных конструкций в политическом пространстве современной России. В дуалистическом российском политическом пространстве, фигурально выражаясь, всякий третий с неизбежностью оказывается «лишним». Нельзя быть «серединной» там, где для середины нет места, как нельзя быть «промежуточным» в конструкции, где не существует самой возможности для промежутков.

Отметим еще одну особенность осевой дихотомии нашей социально-политической системы. Положение «крайних», между которыми нет промежутка, вынуждает обе стороны занимать – или хотя бы демонстрировать – противоположные углы в политическом пространстве, акцентировать непримиримость позиций при значительной однотипности «номенклатурного» прошлого многих лидеров. С этим связаны и вынужденный, часто поверхностный и неэффективный, антикоммунизм «партии власти», и неоправданно жесткие, тоже часто антиэффективные, демарши «партии прошлой власти»: положение обязывает. В то же время именно положение прямого, ничем и никем не опосредуемого контакта вынуждает обе стороны обмениваться не только ударами, но и оружием, пытаться проникнуть на поле оппонента и ис-

пользовать его собственные средства влияния на избирателей. В результате коммунистический кандидат вынужден уважительно говорить не только о демократических свободах, но также о приватизации и партнерстве с западными державами, а его противник – отстаивать права трудящихся и так далее. Идеи державности и церковно-православных корней используются одинаково интенсивно обеими сторонами. Конечно, этим создается нежелательный для них побочный эффект утраты ориентиров и факторов столь традиционного размежевания политических позиций на «своих» и «чужих». Получается, что структуризация политического пространства сводится к поляризации, притом бинарной, а бинарная поляризация, в свою очередь, стирается в зеркальном уподоблении крайностей.

Персонализация ориентиров

Общеизвестно, что при неразвитости политических институтов политическое пространство оказывается личностно размеченным – организации, партии, движения воспринимаются по именам реальных или, скорее, «должностных» лидеров. В конечном счете, при всей противоречивости и запоздалости процессов социально-экономической и социально-политической трансформации советского, потом постсоветского, общества, они сводятся к распаду утративших свою эффективность структур и утверждению давно известных институтов; поиски «особых» путей остаются в сфере компенсаторных деклараций. Поэтому, в частности, не возникает реального социального спроса на лидеров харизматического типа, а функции «вождей» (формируемые массовой психологической инерцией) возлагаются на высших должностных лиц. В какой-то мере в таких ситуациях может действовать вторичная, наведенная статусом харизма (ореол личного влияния, получаемый после занятия соответствующей должности и с помощью доступных средств воздействия на мас-

совое сознание). Поэтому персонализация политического, в том числе электорального, пространства означает скорее присвоение личных «меток» («Ф.И.О.») безличным структурам, чем «присвоение» этого пространства сильными, своеобразными личностями. Перелом начала 90-х годов со всей очевидностью обнаружил отсутствие таковых в «обойме» лидирующих политиков и групп символической поддержки.

Тем интереснее, в аналитическом плане, рассмотреть, какие типы лидеров (а точнее, какие их конфигурации) оказались востребованными и пригодными для разметки политического пространства, в том числе электорального. Несколько ранее я попытался представить постэлекторальную (после декабря 1995 года) партийно-политическую картину российского общества как своего рода связную функциональную структуру, вершины которой исполняют определенные необходимые «роли». Возможно, подобная аналитическая схема может быть пригодной и для рассмотрения проблемы персонализации в том ее смысле, который оговорен выше.

Весьма обширный эмпирический материал, который может быть отнесен к такому анализу, содержит опрос, проведенный в сентябре 1995 года (см. *табл. 4*).

Полученные ответы, естественно, представляют имидж соответствующих деятелей в массовом социальном воображении. Но кроме того – и это в данном случае наиболее существенно – «портрет» тех качеств, которые, по мнению населения, должны быть свойственны политикам. Как видим, уже в первом приближении желаемые качества группируются в три блока: «интеллектуальный» (Гайдар–Явлинский–Федоров), «партийно-политический» (Зюганов), «лидерский» (Жириновский–Лебедь). Легко обнаруживается расхождение между имиджем определенного лидера в системе трех зеркал – «для всех», «для своих» и «для противников».

Таблица 4

Качества, в наибольшей мере свойственные таким политикам, как...

*(в % от числа опрошенных)**

	Е. Гайдар	В. Жириновский	Г. Зюганов	А. Лебедь	С. Федоров	Г. Явлинский
Политическая линия	25	23	41	26	20	26
Профессионализм	31	9	20	22	31	30
Политический опыт	36	20	41	10	7	24
Интеллект	36	9	23	14	44	42
Свежий взгляд	13	9	13	27	27	27
Культурность	35	4	19	12	47	39
Рассудительность	25	4	26	19	35	26
Решительность	16	51	30	37	13	13
Прямота, открытость	12	21	16	38	25	17
Лидерские качества	19	53	30	33	18	19
Порядочность	19	4	25	30	40	27
Доступность	15	17	20	22	28	21
Готовность любыми средствами достичь цели	17	81	23	19	8	9

** Исследование типа «Экспресс», сентябрь 1995 (N = 1600 человек). Перечень предложенных респондентам опций несколько сокращен.*

Поскольку вопрос ставился в предвыборной ситуации 1995 года, в нем отсутствует характеристика Б. Ельцина. По-заимствуем ее из более позднего исследования (март 1996).

Таблица 5

Отношение респондентов к президенту Б. Ельцину
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Доля опрошенных
<i>Положительные аспекты деятельности</i>	
Продолжает демократические реформы	21
Гарантирует хоть какой-то порядок	14
Когда нужно, действует решительно	13
Нет положительных сторон	30
Затруднились ответить	22
<i>Претензии к Б. Ельцину</i>	
Кризис в экономике	31
Ошибки последних лет	27
Ответственность за войну в Чечне	24
Нет программы выхода из кризиса	20
Не заботится о социальной защите населения	19
Далек от народа	12
Нет претензий	5
Затрудняюсь ответить	8

* Исследование типа «Экспресс», март 1996 (N = 1600 человек). Приведены позиции, набравшие не менее 10% опрошенных.

Эти ряды показателей интересны отнюдь не «критической массой» оценок действующего президента России, – они легко объяснимы. Важнее и труднее объяснить, почему при всех этих оценках Б. Ельцин еще имеет определенный политический потенциал и – как показывает развитие электоральной ситуации 1996 года – возможность сохранения своего поста в рамках нормальной избирательной процедуры. Такое объяснение, по-видимому, должно учитывать своеобразный статус этого деятеля как постхаризматического лидера, наследующего «советский» (то есть партийно-номенклатурный) тип легитимности властной позиции в

постсоветский период. Давно утраченный отблеск личной харизмы 1987–1991 годов (образ праведника-мученика-героя) не может нейтрализовать, а скорее умножает и усиливает – как всякий синдром разочарования в былом кумире – критические установки самых разных групп населения по отношению к нему.

Но, в соответствии с отмеченной выше особенностью персонализации социальных феноменов, эти установки носят безличностный характер, сам Ельцин выступает в них как метка определенных реальных или воображаемых событий. Даже распространенное представление о неспособности президента управлять обстановкой, силовыми структурами и собственным окружением – может превращаться в апологию «меньшего зла».

Особого рассмотрения заслуживал бы, конечно, недавно – фактически, уже в рамках избирательной кампании – принятый Б. Ельциным образ патерналистского лидера. Но это требует нового материала.

Если же вернуться к упомянутой выше функционалистской по своим принципам модели персонализации российского электорально-политического пространства, то можно отметить такую ее особенность как обязательная дублируемость основных ролевых позиций. Патерналистскую роль Ельцина никто не может воспроизвести, но ее почти зеркально дублирует главный политический оппонент – Зюганов, а кроме того – пародийно – «всеобщий оппонент» Жириновский. Государственный по роли (и наиболее антигосударственный по убеждению) реформатор Гайдар дублируется своим основным оппонентом – «неофициальным» реформатором Явлинским. В образе «решительной откровенности» дублируют друг друга Лебедь и тот же Жириновский. Типологически новых функциональных позиций нет, потому что политическое пространство замкнуто и не допускает новообразований. Поэтому, между прочим, каждый из новых для

электорального поля кандидат в президенты дублирует какую-то из уже принятых ролей.

Электоральное пространство 1996 года – важнейший пробный камень той вынужденной, неоформленной, пассивной «зрительской» демократии, которая только и могла стать реальной в постсоветской России. И в то же время – поле для исследовательской работы, которое должно быть плодотворным.

«Мониторинг...» 1996. № 3

ЧЕЛОВЕК ПОЛИТИЧЕСКИЙ: СЦЕНА И РОЛИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Одна из наиболее показательных и противоречивых сторон наших социокультурных трансформаций связана с появлением в общественной жизни такого принципиально нового массового феномена, как *человек политический*. Очевидно, что сама возможность его выхода на отечественную сцену обусловлена формированием обособленного пространства политического действия со своей структурой и парадигматикой (правилами поведения, игры). Столь же очевидно, что «человеческий материал» политики испытывает на себе все ограничения и особенности этой дифференциации и вносит в них свой вклад.

В рамках советской системы ни политики как особой сферы общественного действия, ни человека политического как ее субъекта (со всеми вариациями его ролей) не существовало. Политического человека подменял человек «мобилизованный и призванный» для служения властным структурам. Распад этой системы привел или приводит к обособлению повседневности от официальной жизни, экономической сферы от политической, ценностных императивов от инструментальных и так далее – в русле этих процессов только и может происходить формирование интересующего нас феномена. С помощью инструментов исследования общественного мнения, разумеется, может быть изучена *массовая* его сторона – политические интересы и оценки, отношение к институтам и деятелям, образы политических фигур в массовом сознании, характер стереотипов этого сознания, значение массового участия в различных видах политических акций, в том числе электоральных. Действия политических лидеров и организаций попадают в поле зрения исследователя общественного мнения в той мере, в какой они ориентированы на массовое восприятие и участие.

Избирательные кампании 1995–1996 годов придали определенную завершенность десятилетнему циклу политических трансформаций, начавшихся в середине 80-х. За эти десять лет определились характерные черты политических институтов, политической сцены и политического человека «переходного» типа. Наиболее важны в плане изучения этих явлений не столько данные о динамике и распределении показателей поддержки участников электоральных процессов, сколько социальный смысл и перспективы такой поддержки, доверия, внимания к политическим переменам.

Незавершенная трансформация мобилизационного общества

Советское общество формировалось как мобилизационное, сохраняющее за политическим центром монополию власти, инициативы и критериев оценки. В такой системе политическая деятельность сводилась к централизованному манипулированию («управлению») массовым поведением и сознанием. Политическая роль массового человека сводилась в ней с ролью даже не зрителя, а *клакера*, исполнявшего обязанность ритуального одобрения (в том числе, через электоральные процедуры) таких акций. Первые годы «перестройки» этого общества не изменили принципов его организации, но превратили наиболее ангажированную часть общества в заинтересованных *зрителей*, поскольку на публичную сцену оказалась вынесенной определенная доля плюрализма политических позиций (ролевой структуры). Распад механизма централизованной мобилизации пока не привел ни к реальному плюрализму социально-политического действия, ни к формированию каналов массового *участия* в политической жизни. Более того, обстановка противостояния властей в 1992–1993 годах, а затем конфронтации президентской власти с парламентской оппозицией содействовала закреплению дихотомической модели политического про-

странства – в частности, электорального.

Президентские выборы 1996 года также подтвердили устойчивость этой вполне традиционной для отечественной истории примитивной модели, построенной на предельной оппозиции «своих» и «чужих». В таких условиях политическая и, в частности, избирательная конкуренция неизбежно оказывается соревнованием мобилизационных возможностей противостоящих сторон по отношению к собственным сторонникам. Так, в ходе избирательной кампании Б. Ельцин был вынужден энергично бороться не столько с политическими оппонентами, сколько с апатией, недоверием и разочарованием в рядах собственного потенциального электората. А его оппоненты, в свою очередь, стремились сохранить свою старую электоральную базу. Поэтому главным аргументом с обеих сторон оказалось не столько привлечение внимания к определенным программам и перспективам развития общества, сколько всемерное нагнетание массового страха по отношению к оппоненту.

В этих условиях не только не оставалось места для «полутонов» и «средних» позиций политического спектра, но – что более существенно – отсутствовали возможности для предъявления обществу программ, то есть вариантов «будущего времени». (К тому же в предвыборные месяцы программы кандидатов мало отличались друг от друга и не привлекали особого внимания избирателей.) Социально значимыми оказывались лишь два времени – мифологизированное прошлое и противоречивое настоящее. Символом первого выступила, естественно, народно-патриотическая (коммунистическая) оппозиция, символом второго – президентская власть, Б. Ельцин.

В результате каждый достигнутый в ходе выборов «шаг вперед» в закреплении результатов трансформаций оказывался обусловленным «двумя шагами назад» – реставрацией механизмов мобилизационного типа, то есть архаизацией структуры социально-политических ролей и процессов. По-

нятно, что эта ситуация не допускала рационального подхода и критического анализа собственных ошибок ни с какой стороны. Последствия этой архаизации стиля общественной жизни будут сказываться долго.

Политическая парадигматика в общественном мнении

Названное десятилетие перемен трансформировало, но не преодолело основные принципы (парадигмы) реализации и восприятия массами социальных изменений.

Во-первых, сохранилось противопоставление прошлого настоящему как линия отсчета времени. Не идеологемы типа «социализм–капитализм» или «диктатура–демократия», а именно интегральное, неразделенное на компоненты восприятие двух периодов – или двух «поколений» – реально работает в нынешнем массовом сознании, определяя главный водораздел восприятия перемен, тоже проходящий через рубеж поколений. Притом, основным критерием противопоставления двух времен выступает «уверенность в будущем», приписываемая прошлому, но подмененная сегодняшней неуверенностью.

Во-вторых, действуют два взаимосвязанных уровня мифологической интерпретации происходящего – идеологизированный (пропагандистские стереотипы) и архаичный (стереотипы массового сознания). Официально принятая еще в советской революционной мифологии картина: перемены и потрясения изображаются результатом направленного действия инициативной элитарной группы, которая преодолевает сопротивление ретроградов, злоумышленников, внешних врагов и так далее. При некоторой смене символики и словаря эта трактовка остается в силе. Псевдогероика массовых архетипов рисует образы «богатыря–свиты (или охраны)–аппарата», которые мобилизуют поддержку «послушного им народа» и противостоят злокозности противников/отступников. Знаки оценок персонажей могут меняться (главный

герой может превратиться в главного же злодея), но сам ролевой набор остается неизменным.

Правила аппаратной игры превращают стремление к стабилизации властных структур в гарант стабильности общества. И те же правила делают единственно возможным фактором сдвигов внутригрупповую интригу, которая – в зависимости от исхода – именуется то коварным заговором, то проявлением смелой решимости. При этом по меньшей мере два обстоятельства стимулируют неумолимое проникновение элементов фарса в некогда героические интерпретации: исчерпание ресурсов харизматической поддержки и разрушение мобилизационных механизмов. Этим определяется и изменение характера массового участия в политическом действии.

Советской и постсоветской истории известны лишь примеры «вторичной» харизмы – опирающейся на личные способности и влияние лидера, уже пришедшего к власти и утвердившего свой авторитет в соответствующей группе правящей элиты. Конечно, харизматическая поддержка в таких условиях насаждалась или изображалась при помощи аппарата властного принуждения и убеждения. Несколько иной оттенок носили элементы неофициального «бунтарского» обаяния, которыми наделялись – в основном, через призмы «интеллигентской» иллюзии и надежды – носители реформаторского ореола (Н. Хрущев, М. Горбачев, «ранний» Б. Ельцин). На определенном этапе своей карьеры все они лишались харизматических признаков – по воле разочарованных поклонников. Утвердившись у власти и получив силовые структуры в качестве своей главной институциональной опоры, Б. Ельцин безвозвратно утратил признаки популистского по духу возмутителя спокойствия в правящей элите, и дальнейшие его непростые отношения с политическими силами и группами влияния различной ориентации складывались в рамках сугубо прагматических расчетов. Судя по данным предвыборных исследований, рост показателей электораль-

ной поддержки и доверия населения по отношению к Ельцину менее всего можно было бы связывать с реанимацией его харизматического ореола – здесь на первом плане оказались вполне рациональные расчеты на поддержание стабильности, продолжение реформ и недопущение к власти сил прошлого.

Таблица 1

Динамика показателей «наибольшего доверия»
(в % от числа опрошенных)*

Политики	1995		1996				
	август	ноябрь	январь	апрель	12 июня	24 июня	28 июня
Б. Ельцин	4	4	5	12	27	29	23
А. Лебедь	10	13	14	15	22	29	29
Г. Зюганов	6	11	17	19	21	21	18
Г. Явлинский	9	15	15	15	19	17	20
С. Федоров	7	8	9	7	10	8	6
В. Жириновский	7	7	9	7	11	8	6

* Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек).

Как видно из табл. 1, показатели «наибольшего доверия» зависят от степени внимания к данным деятелям, что связано в большой мере с фазами предвыборной кампании.

Президентская избирательная кампания 1996 года оказалась тяжелым испытанием для сохранившихся механизмов мобилизации массовой поддержки. При полнейшем отсутствии «исконных» опор мобилизации масс советского образца – массовых иллюзий и еще более массового страха перед «своей» властью – необходимая степень политического возбуждения могла быть достигнута только с помощью нагнетания страха перед политическим противником. Эта цель была достигнута: почти половина поддержавших Ельцина при повторном голосовании руководствовались прежде всего нежеланием допустить к президентской власти представите-

ля коммунистов. (Другие варианты предвыборных акций – сближение программных установок, политические сделки с влиятельным конкурентами и прочее – в данном случае остаются вне поля зрения.) Действенным средством оказалось искусственное взвинчивание политической напряженности, придание ей надполитического, чуть ли не сакрального смысла (что, кстати, довольно охотно дублировалось противоположной стороной, которая так же нуждалась в мобилизации массовой поддержки и так же не располагала для этого цивилизованно-политическими средствами). По сути дела, обе стороны политического противостояния, добиваясь максимально возможной массовой поддержки, вынуждены были вернуться к архетипу «вражьей силы», который безуспешно пытались преодолеть в первые «перестроечные» годы. Такая гипертрофия политической конфронтации имеет свою опасную логику, выводящую соперничество за конституционные и вообще за правовые рамки. При любом развитии положения после выборов за «сатанизацию» противника обеим сторонам придется платить дорогой ценой – затруднением пути к консолидации общества, стимулированием наиболее экстремистских сил, наконец, деморализацией среди собственных сторонников. Кроме того, сценарий обостренной конфронтации вынудил обе стороны апеллировать к ошибкам и преступлениям *чужого прошлого*, умалчивая о своих грехах и – что особенно важно – о конкретных перспективах *общего будущего*. На электоральном поле, где столкнулись не преодоленное прошлое с неопределенным настоящим просто не было места для будущего времени. Это тоже следствие архаизации механизмов политической борьбы.

Ролевые функции и «зрительская» игра на политической сцене

Некоторые замечания о распределении ролей в электоральном пространстве были предложены читателям ранее.

Представить политическое пространство в качестве упорядоченного образования труднее, поскольку отсутствуют писанные (правовые) рамки, но тоже допустимо, так как здесь действует параллельно и плотно множество механизмов неписаного, стихийного регулирования.

Если наше электоральное пространство непременно сводится к упрощенно-дихотомичному, то политическое – кажется многоплоскостным, иерархичным, в нем действует множество сил и субъектов, от властвующих институтов разного уровня до структур влияния и давления. За последнее десятилетие оно не стало плюралистическим в западно-цивилизационном смысле, но разнообразие действующих субъектов возросло и, так сказать, легитимизировалось, поскольку получили признание локальные элиты, бизнес-элиты и прочее. Если в позднесоветские годы принято было говорить, что в стране действует не многопартийная, а «многоподъездная» система власти, то сейчас уместно называть эту систему «многокоридорной», «многокабинетной», «многоэтажной», «многостоличной» и так далее. Размытыми, как бы размазанными по всем уровням этого пространства оказываются и противостояния власти и оппозиции, исполнительных и законодательных структур.

В конечном счете, именно это завязанное тугим узлом и трудно изменяемое взаимодействие огромного числа властных и влиятельных центров власти составляет практическую основу определенной стабильности сложившегося расклада сил в обществе. Никакие электоральные успехи или неудачи не способны в обозримом будущем разрушить ее или заменить жестко централизованной системой. И в то же время стабильным остается наиболее значимое для массы, для общественного мнения размежевание функций политической сцены, «кулис» и зрителей, «публики». В определенном обобщенном смысле понятие политической сцены охватывает все перечисленные варианты размещения действующих в обществе субъектов. Не только закулисные кукловоды – ре-

альные или воображаемые, – но и массы, зрители являются соучастниками происходящего действия. Если в классические советские времена «публика» могла играть только роль клакеров, которые изображали «одобрение и поддержку» любой акции властвующей элиты (причем изображение никогда не означало реальной поддержки, которая и не требовалась), то в годы «перестроечного» распада системы содержание зрительской игры претерпело изменения. На политической сцене стали различимы (или, по меньшей мере, приобрели видимость различных) отдельные лица, характеры. Появилась возможность сопереживать отдельным деятелям, оценивать их поступки, вообще как-то к ним относиться. Притом публичного внимания удостоились как проводники «перестройки», так и ее противники, сомневающиеся и так далее. Однако при более детальном рассмотрении, после опыта нескольких лет оказалось, что сама открытая политическая сцена (и в протопарламенте и в прессе) служит преимущественно прикрытием – если не инструментом – внутренней, закулисной аппаратной игры. Само появление такой сцены, очевидно, явилось побочным результатом борьбы за власть в верхах партруководства, правда, имевшим далекие последствия.

Постперестроечные годы вновь изменили характер политической сцены и происходящего на ней действия. Режим приобрел черты авторитарности – и неуправляемости, – аппаратные интриги и закулисные передвижки не нуждались в «гласных» прикрытиях. Открытая часть политического поля (в том числе, масс-коммуникативного) сохранилась благодаря почтительному расстоянию ее от центров принятия решений. Зрительская игра «в политику» утратила свой интерес для обычной публики; вспышки такого интереса в экстремальных ситуациях всеобщих выборов или околополитических скандалов подтверждают «неинтересность» обыденно-политической жизни для большинства населения.

Поскольку за кулисы политической сцены ушла практически вся власть, то есть все механизмы принятия властных

решений, противопоставление открытой и закулисной политики утратило смысл. Зато получили распространение мнения о том, что сама закулисная политика инспирируется сговорами, заговорами, влияниями, исходящими из еще более удаленных от публики центров «тайной» власти – сговоров, заговоров номенклатуры, мафии, финансовых монополий, иностранного капитала. Тем самым создается питательная почва для успеха деятелей популистского толка, обещающих какой-нибудь легкий способ избавления от «тайной власти». Всплеск политической напряженности между двумя турами президентских выборов 1996 года в некоторой мере вывел на поверхность скрытые течения и вновь стимулировал закрепление привычных для общественного мнения стереотипов заговорщиков–обличителей.

Таблица 2

Какие качества привлекают в политических лидерах?

(в % от числа опрошенных)*

	Б. Ельцин	Г. Зюганов	А. Лебедь	Г. Явлинский	В. Жириновский
Профессионализм	8	10	11	29	13
Политический опыт	27	10	5	6	7
Организаторские качества	11	10	16	10	6
Волевые качества	19	11	33	10	12
Уравновешенность	8	8	15	13	3
Убеждения	14	16	13	9	5
Красноречие	5	11	6	5	23
Умение увлечь людей	14	10	12	5	10
Доброта	5	3	3	3	2

	Б. Ельцин	Г. Зюганов	А. Лебедь	Г. Явлинский	В. Жириновский
Честность	4	4	13	7	2
Прямота, откровенность	7	6	17	10	2
Незапятнанная репутация	1	4	10	10	2
Представительность	11	6	5	6	3
Приятная внешность	3	3	3	8	6
Здоровье	3	4	10	5	6

** Исследование «Экспресс», июнь 1996 (N = 1600 человек).*

Таким образом, в образе Ельцина преобладают опыт, воля, лидерские качества и представительность; Зюганова – убежденность, красноречие, воля; Лебеда – воля, прямота, организаторские качества, уравновешенность; Явлинского – профессионализм; Жириновского – несравненное красноречие, воля, профессионализм.

«Третья фигура» в политическом поле

В дихотомизированном кризисном поле (избирательная ситуация в нынешних условиях – непременно кризисная), где нет места для «третьей силы», всегда находятся вакантные места для «третьих фигур». Эта проблема в определенный момент выдвинулась в центр общественного внимания, хотя существует она достаточно давно. Отметим некоторые общие характеристики этого феномена:

1. Субъект действия (реального или воображаемого), стоящий вне официальной политической сцены или хотя бы

отчасти маргинальный по отношению к ней (потенциал протеста, «возмутителя спокойствия»).

2. Опора не столько на организованные социальные структуры, сколько на личное влияние и личные связи (харизматический потенциал).

3. Апелляция к «простой», неструктурированной и неэлитарной массе, к толпе (популистский потенциал).

4. Программа исполнения массовых желаний, не скованная никакими ресурсными или институциональными рамками (потенциал ожиданий).

В 1988–1991 годах все перечисленные черты приписывались Б. Ельцину, с 1993 года – В. Жириновскому, в 1995–1996 годах – в определенной мере также лидерам несостоявшейся «третьей силы» (Г. Явлинскому, С. Федорову, А. Лебедю). После первого тура президентских выборов и вхождения Лебеда в структуры власти его фигура в общественном мнении на какое-то время практически заслонила все остальные.

Данные, полученные за время президентской кампании 1996 года, позволяют представить более рельефно некоторые особенности феномена «третьей фигуры» в массовом сознании – вне зависимости от реальной политической карьеры соответствующих прообразов.

Феномен Жириновского, получивший известность после думских выборов 1993 года, отразил наиболее агрессивные черты сознания общественных групп (прежде всего «низов» общества), обделенных переменами и не находящих места в пореформенном обществе. Ключевыми словами в его политической рекламе стали призывы к порядку и национальному величию. После выхода вновь на политическую сцену КПРФ и ее союзников, придавших тем же лозунгам традиционную солидность и получивших поддержку того же, в принципе, электората, феномен Жириновского утратил значительную часть первоначальной привлекательности. Неопределенная позиция экстравагантного лидера в период президентских

выборов, а потом и выход на первый план фигуры А. Лебеда способствовали падению интереса общества к пародийной – в контексте российской политической сцены – роли лидера ЛДПР.

Фантомы Явлинского и Федорова получили более узкое, преимущественно «интеллигентское» распространение (это относится прежде всего к имиджу Г. Явлинского; у С. Федорова группа поддержки была более усредненной и более женской по составу). Однако характер лозунгов, способ действий и значение личного влияния позволяют считать, что оба эти явления принадлежат элитарно-популистскому сознанию. (Кажущаяся противоречивость этого термина снимается исторической ссылкой – на элитарно-популистскую ментальность российского народничества.) Динамика социального имиджа Явлинского особенно интересна в плане генезиса новейших стереотипов общественного мнения, поскольку именно этот образ в наибольшей мере может считаться артефактом изучения общественного мнения – результатом направленной масс-коммуникативной «раскрутки» индикаторов высокого общественного доверия. По всей видимости, не только «разработчики» его образа, но и сам Г. Явлинский отождествили эти индикаторы с потенциалом реальной общественной поддержки на президентских выборах. С этим, возможно, связана недооценка проблемы формирования организационных предпосылок успеха, в том числе создания реального блока демократических сил. Как видно из *табл. 2*, избиратели весьма высоко ставят профессиональные и нравственные качества этого политического деятеля, но довольно низко – его способности быть организатором и лидером. Задолго до президентских выборов опросы показывали существенный разрыв между показателями доверия Явлинскому и реальной электоральной поддержкой этого деятеля. (Так, в январе 1996 года в списке деятелей, заслуживающих наибольшего доверия, его отмечали 18% опрошенных, а голосовать за него на президентских выборах намеревались

только 8%, в марте – соответственно, 17 и 3, в мае – 20 и 4%.)

Биография феномена С. Федорова короче и – в разных смыслах – проще. Он появился на политической сцене накануне парламентских выборов 1995 года и сразу привлек внимание как новый в политике человек, имеющий за плечами огромный опыт в гуманитарно-значимой сфере деятельности. Эта гуманитарная известность привлекла преимущественно женский по составу электорат. Расчет на личную известность профессионала и «народного бизнесмена» не привел к парламентскому успеху слабо организованную «Партию самоуправления трудящихся» и не дал ее основателю С. Федорову заметной поддержки во время президентских выборов. Как и Явлинский, Федоров явно проиграл также из-за неудачи с попыткой организации блока «третьей силы».

А. Лебедь же от этой неудачи явно выиграл, что способствовало в дальнейшем взлету его карьеры и развитию этого политического феномена в массовом сознании. После избавления от проектов несостоявшегося блока – как и ранее, после разрыва с КРО – Лебедь вернул поддержку «своих» избирателей (10% в январе и в середине июня, означавшие в последнем случае почти 15% от голосовавших в первом туре). Эта группа поддержки достаточно хорошо известна: преимущественно мужчины, среднего возраста (30–40 лет), жители провинциальных городов и сел. Достаточно изучен и характер поддержки этой группой ключевых лозунгов Лебедея («правда и порядок»). Новым – и даже странным для обычных темпов перемен в массовом сознании – является быстрый подъем популярности Лебедея после его перехода к союзу с Ельциным. Масштабы этих изменений видны из приведенной выше *табл. 1*.

Особая привлекательность имиджа А. Лебедея определялась тем, что именно он с наибольшей полнотой воплотил массовые (отчасти даже «интеллигентски-массовые») экспектации лидера-спасителя; набор таких ожиданий является,

по сути дела, обратным отражением характеристик, отсутствующих у правящей элиты. Черты «солдатской» прямоты и откровенности в сочетании с генеральской решимостью, видимо, настолько усиливают впечатление адекватности его имиджа характеристикам искомой «третьей фигуры», что оправдывают в общественном мнении даже самые смелые обещания, не укладывающиеся в рамки реальной компетенции и компетентности генерала. Соблазн «простых решений» вновь и вновь демонстрирует свою привлекательность для значительной части общества.

Если сам Лебедь, появившись в Кремле, прежде всего исполнил функцию возмутителя спокойствия в коридорах власти, катализировавшего подспудные процессы соперничества различных групп влияния, – то *феномен* Лебеда в массовом сознании также нарушает сложившиеся параметры доверия–недоверия, обозначает некие предельные рамки общественно-значимых оценок и устремлений. Вне зависимости от того, насколько широким и длительным окажется воздействие данного или подобных ему явлений на общественно-политические процессы, их дальнейшее разностороннее изучение может дать немало нового для понимания сегодняшних механизмов таких процессов.

«Вынужденная» демократия переходного периода

Политическое пространство российского общества на длительный исторический период – вероятно, как минимум на несколько ближайших десятилетий – будет определяться противоречивыми процессами распада различных уровней тоталитарной системы и поисками более или менее жизнеспособных форм цивилизованного развития. Сколь бы болезненно ни воспринимались отдельные события, повороты, комбинации «прогрессивности» и «архаичности», их придется воспринимать и понимать в контексте такого перехода. Это делает феномен «человека политического» во всех его

современных уровнях фигурой *переходной*, а рамки его деятельности – *вынужденными*.

Переходный период можно характеризовать тем, что субъекты социального действия и социальные институты, сформировавшиеся в одних условиях и для исполнения одних функций – старых, традиционных, привычных – исполняют иные, несвойственные и непривычные им функции. Авторитарные институты и методы, например, используются для осуществления реформ, в конечном итоге – то есть в перспективе – разрушающих основы авторитаризма. И наоборот: демократически избранные представительные органы оказываются выразителями инерции большинства и препятствием на пути перемен. Сюда же относится отмеченное выше применение архаичных средств массового воздействия во имя недопущения реставрации архаичной системы. Очевидно, что это осложняет общественную атмосферу и придает амбивалентность многим действиям.

Характерными фигурами периода оказываются деятели переходного типа, вынужденные действовать в непривычных и непонятных им условиях, приспосабливаться и испытывать муки фрустрации. Это равно относится к политическим лидерам страны, различным элитарным группам и массовому человеку. Нелепы встречающиеся в литературе «разоблачения» партноменклатурного происхождения действующей политической, экономической, культурной элиты: никакого иного генезиса этих групп просто не могло быть. Реальная проблема в том, могут ли и умеют ли они действовать в сегодняшней амбивалентной обстановке.

Выборы президента в 1996 году определили завершающий отрезок политической карьеры Б. Ельцина; кроме того – что заслуживает быть отмеченным – они же подтвердили окончание политической биографии М. Горбачева, первого деятеля переходного типа. Эти люди с прошлым и (по крайней мере, на первых порах) с кругозором секретаря обкома партии оказались во главе незавершенного, но уже далеко

зашедшего переворота. По историческому, «гамбургскому» счету их придется судить прежде всего по тому, что они и другие смогли сделать и осознать. Нравственный счет гораздо сложнее, и в значительной мере с ним представляются связанными катаклизмы современного интеллигентски-демократического сознания.

Десятилетие потрясений и перемен показало, что никакие рационально придуманные конструкции демократических институтов и организаций в нашем обществе не работают, может действовать – в определенных рамках – только «вынужденная» демократия, навязанная обстоятельствами, нередко вопреки воле и представлениям действующих субъектов. Только такая демократия оказывается реальной и способной к выживанию. Гласность и демонополизация политического руководства, права человека и экономические свободы – при всей непоследовательности их реализации – устойчивы в той мере, в какой властные структуры *вынуждены* с ними считаться ради сохранения баланса сил и сохранения собственных полномочий. Эта ситуация начала складываться в первой половине десятилетия и закрепилась в последние «радикальные» его годы.

Что же касается демократии мечтательной и эмоциональной, сыгравшей свою роль в морально-политическом возбуждении общества конца 80-х, то *такая* демократия понесла тяжелые поражения в 1993–1996 годах. Демократические настроения и устремления не сложились в организованную политическую силу, не смогли заставить власть считаться с собой. Не сумев создать единый демократический фронт, движения и группы демократической ориентации оказались разобщенными и фактически проигравшими парламентские выборы 1995 года и отсутствующими в качестве особой силы на президентских выборах 1996-го. Период самоопределения и организации демократических сил снова отодвинут в не вполне определенное будущее.

Президентские выборы показали, с каким трудом нынеш-

ний российский «политический человек» может быть мобилизован для поддержки неустойчивого курса неуверенной в себе власти. Нежелание возврата к прошлому, страх перед связанными с этим новыми потрясениями сыграли свою роль в голосованиях 16 июня и 3 июля 1996 года. Свой вклад в электоральный успех Б. Ельцина внесли слабости противников и конкурентов, не сумевших привлечь население программами нового социализма или альтернативной демократии. Запаса прочности (вынужденной поддержки) оказалось достаточно, чтобы прийти к этому успеху вопреки невыполненным социальным обещаниям, нерешенной проблеме чеченской войны, кадровой чехарде в собственной команде. В следующих избирательных циклах решать будет, видимо, прежде всего активная адаптация людей к новым условиям существования.

«Мониторинг...» 1996. № 4

ФАКТОРЫ И ФАНТОМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ

Показатель массового доверия или недоверия к политическим партиям, деятелям, социальным институтам – один из наиболее употребительных, обобщенных и как будто наиболее чутких индикаторов в опросах общественного мнения. Анализ этого показателя на протяжении серии электоральных исследований убеждает, что его содержание довольно сложно как по структуре, так и по смыслу (даже если ограничиться только доверием к личностям). Неоднозначным оказывается, при ближайшем рассмотрении, и сам социологический – или социально-психологический, в зависимости от угла зрения, – субстрат, то есть тот кажущийся элементарным «кирпичик» общественных связей, из которого строятся отношения лояльности, поддержки, приверженности и прочее.

Вот некоторые парадоксы общественного доверия, выявленные в опросах упомянутой серии:

- рост показателей доверия к Б. Ельцину на протяжении прошедшей избирательной президентской кампании при сохранении резко критических оценок его деятельности;
- значительное расхождение между рейтингами доверия и электоральной поддержкой, особенно у Г. Явлинского;
- феномен доверия к А. Лебедю, чрезвычайно выросшего уже после первого тура президентских выборов.

Принципиальный способ разрешения парадоксов, как известно, состоит в нахождении адекватного для этого уровня анализа проблемы.

Мобилизация доверия стала главной предвыборной акцией Ельцина. Показатели доверия к Б. Ельцину, бывшие в начале избирательной кампании весьма невысокими, возрастали почти параллельно показателям электоральной поддержки.

Таблица 1

**Показатели «наибольшего доверия» и поддержки
Б. Ельцина
(в % от числа опрошенных)***

	Январь	Март	Май	Июль
«Наибольшее доверие»**	5	9	18	20
Намерены голосовать «за»	6	12	27	35

* Исследования типа «Мониторинг», 1996 (N = 2400 человек).

** Ответы на открытый вопрос с просьбой назвать 5–6 политических деятелей России, которые вызывают у опрошенных наибольшее доверие.

Таким образом, рост показателей доверия к Б. Ельцину шел параллельно росту его электорального рейтинга. Это позволяет предположить, что в данной ситуации не готовность поддержать на выборах определялась уровнем доверия, а наоборот – уровень доверия зависел от готовности поддержать данную кандидатуру. (Отсюда опять-таки проблема природы самого показателя «доверия» к кандидату со стороны общественного мнения.)

Некоторую ясность в проблему, по-видимому, вносят данные об уровнях показателя доверия у различных групп населения.

Таблица 2

**Показатели «наибольшего доверия» к Б. Ельцину
(в % от числа опрошенных)***

Группы	Январь	Март	Май	Июль
<i>По возрасту</i>				
до 25 лет	5	11	18	25
25–39 лет	3	6	19	19
40–54 года	5	9	16	19
55 лет и старше	7	11	17	19

Продолжение табл. 2

Группы	Январь	Март	Май	Июль
По образованию				
высшее	4	10	23	20
среднее	5	9	18	21
ниже среднего	4	8	16	19
По месту жительства				
Москва и Санкт-Петербург	8	14	25	30
большие города	5	11	19	21
малые города	4	9	18	21
села	4	13	13	14

* Исследования типа «Мониторинг», 1996 (N = 2400 человек).

Приведенные данные подкрепляют принципиальное предположение о том, что выбор в пользу Ельцина в первую очередь был сделан наиболее образованными, молодыми, высоко урбанизованными группами избирателей – и уже это означает *рациональный*, то есть в определенной мере продуманный, взвешенный характер сделанного выбора. Заслуживает внимания, что именно в этих группах наибольшая доля голосовавших была не столько «за» (Ельцина), сколько «против» (Зюганова, коммунистов). Если из общего числа избирателей, проголосовавших за действующего президента во втором туре, 50% поступили так, потому что поддерживали его, а 45% – потому что не хотели допустить к власти Г. Зюганова, (остальные 5% затруднились ответить), то для избирателей в возрасте 25–39 лет это соотношение выглядело как 46:50, 40–54 лет – 47:49, но для лиц старше 55 лет – 57:34. Наибольшая доля голосовавших «против Зюганова» среди имеющих высшее образование (45:52), наименьшая (61:33) – среди наименее образованных. В крупных городах соотношение голосовавших «за» и «против» составило 47:48, в селах – 57:38. (Данные исследования ВЦИОМ типа «Экспресс», середина июля 1996, N = 1600 человек.) Таким обра-

зом, чем более избиратели были – в общем – готовы к политически грамотному, рациональному электоральному выбору, тем более «критичным» оказывался этот выбор. Поэтому трудно считать эффективным такие слоганы электорально-шумовой кампании, как «голосуй сердцем».

Добавочную – и решающую в конечном счете – поддержку оказали Ельцину во втором туре в основном (на две трети) избиратели, проголосовавшие «против Зюганова». Это относится, в частности, к тем, кто в первом туре голосовал за Лебеда или Явлинского.

Доверие «своих» и «чужих»

Примечательная особенность кампании мобилизации доверия, предпринятой командой Ельцина, состоит в том, что она практически адресовалась не враждебной или безразлично-«болотной» среде, а бывшим сторонникам действующего президента.

Так, на старте избирательной кампании 1996 года готовы были поддержать Ельцина (в случае выбора между ним и Зюгановым) лишь 34% из голосовавших за него на президентских выборах 1991 года, 41% из поддержавших его позиции на референдуме в апреле 1993-го, 35% из одоббивших Конституцию РФ в ходе декабрьского референдума того же года. (Распределение голосов в этом случае составило бы 26:39 в пользу Зюганова. Данные опроса ВЦИОМ типа «Экспресс», конец февраля 1996, N = 1600 человек.) Основная (фактическая, не пропагандистская) проблема кампании в пользу президента, таким образом, состояла в том, чтобы вернуть Ельцину необходимый уровень доверия и поддержки со стороны «ельцинистов» 1991–1993 годов.

«Мобилизационный» характер формирования необходимого для избрания Ельцина президентом уровня электорального доверия, по сути дела, определил рамки и значение са-

мого показателя доверия, который выявлялся в предвыборных опросах.

Факторы выбора в «безальтернативной» ситуации

Избирательная ситуация не только предельно упростила политические размежевания в обществе, но и обнаружила непреодолимую тягу к примитивизации структуры всей политической сцены. Притом действующую как «сверху», со стороны правящих элит, так и «снизу», со стороны общественного мнения, а в конечном счете – со стороны российского «человека политического».

Эта тенденция к примитивизации политического выбора свела декларативный плюрализм («первого тура») к жесткой дихотомии («решающего тура»). Но поскольку и сама дихотомия – выбор между вчерашними и нынешними политическими элитами – приобрела в электоральной пропаганде обеих сторон (в значительной мере и в массовом сознании) как бы предельное, апокалиптическое значение, то выбор между «лучшим» и «худшим» вариантами, превратился, по существу, в ситуацию отстаивания «единственно возможного» варианта существования государства и власти. Тем самым выборы приобрели характер плебисцита – апелляции существующей президентской власти к массовой поддержке. По опросным данным (исследование ВЦИОМ типа «Экспресс», конец июня 1996, N = 1600 человек), наиболее часто указываемый сторонниками обоих кандидатов мотив голосования – «у России нет другого выбора».

Из голосовавших за Ельцина во втором туре 19% респондентов вполне одобряли его взгляды, 31 – по большей части; 26 поддержали его, потому что им не нравился другой кандидат, а 20% – потому что опасались победы этого другого (то есть Зюганова).

«Наименьшее зло»?

Данные исследований и анализа заставляют сомневаться в применимости этой моралистической формулы (или родственной ей формулы «привычного зла») к объяснению электорального выбора. Если некоторая часть голосовавших за Ельцина, а также тех, кто предпочел вариант «против всех» или уклонился от голосования, и трактовала собственное поведение с помощью ссылки на меньшее из двух зол, то к реальным факторам массового выбора такую интерпретацию отнести нельзя¹. Даже применительно к отдельному субъекту моралистический абсолютизм практически возможен только в лабораторных условиях, то есть в искусственных моделях поведения выбора. В ситуации же массового выбора нормативные критерии неотделимы от практических – относительной эффективности, риска, когнитивных и поведенческих стереотипов.

Проще говоря, десятки миллионов избирателей, решивших в 96-м году голосовать за действующего президента, руководствовались не столько нравственной оценкой его действий или его личности, сколько практическими расчетами – на сохранение определенной стабильности в обществе, на продолжение позитивных перемен, на недопущение возврата к прежним порядкам и так далее. Работали *рациональные* критерии выбора, которые и определили меру ограниченного, условного – но достаточного для электоральной ситуации – доверия к кандидатуре Ельцина. (Критерии доверия к его главному сопернику требуют отдельного анализа и в данном случае не рассматриваются.)

¹ «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться» (*Шекспир В.* Гамлет. III. 1).

Пределы доверия: внешние и внутренние

Как известно из официальных источников, Б. Ельцин получил на решающем этапе выборов поддержку со стороны 37% населения, то есть несколько более чем одной трети избирателей. Это соответствовало мобилизации «наибольшего доверия» примерно 30% взрослого населения страны. При этом «вполне» доверяли Ельцину в июле, после избирательного успеха, 23%, а среди «своих» – 46%. Из отметивших «наибольшее доверие» к Ельцину в июле полностью поддерживали его действия только 38%.

Правда, в соответствии с отмеченной выше особенностью массовой установки на доверие к Ельцину, рост электоральной поддержки в ходе избирательной кампании и сами результаты выборов привели к определенному возрастанию уровня доверия. Так, в январе 1996 года индекс доверия президенту (по семибалльной шкале) составлял 2,39, в августе – 3,34. В январе 72%, а в августе 68% населения (56% голосовавших за Ельцина) считали его ответственным за тяжелое положение в экономике (опрос типа «Экспресс», август 1996, N = 1600 человек). В предвыборные месяцы большинство избирателей, собиравшихся голосовать за нынешнего президента, не питало иллюзий в отношении его возможностей исполнить предвыборные обещания – и в отношении задолженности по зарплате и пенсиям, и в отношении прекращения чеченской войны.

Может показаться, что доверие избирателей к Ельцину сохранилось и даже возросло в ходе кампании не благодаря исполнению предвыборных обещаний, а как бы *вопреки* их неисполнению. Обусловлена эта кажущаяся странность довольно простым обстоятельством – снижением уровня притязаний, качества или высоты той «планки», которую нужно было преодолеть для достижения искомого электорального результата. Рациональный расчет массового «ельцинского»

избирателя был предельно упрощенным, поэтому он и оказался осуществимым.

Таким образом, специфическое содержание того доверия, которого искал и добился у своих избирателей Б. Ельцин – результат предельно упрощенного рационального расчета. Это нечто вроде *доверенности* («мандата») на продление властных полномочий *без веры* в личные способности лидера и, тем более, *без уверенности* в том, что он способен справиться с проблемами страны.

Этот «мандат» был получен, во-первых, благодаря мобилизации «старых» сторонников, а во-вторых, из-за упомянутой выше безальтернативности ситуации: соперники Ельцина в электоральной гонке за доверием избирателей фактически не смогли составить ему *реальной* конкуренции, поскольку каждый боролся только за свой электорат, почти не касаясь потенциала других кандидатов. А поскольку, как уже говорилось, сам показатель «доверия» получал свой смысл применительно к разным кандидатам (имеются в виду основные, характерные), – акции различных кандидатов развертывались просто в разных плоскостях.

Г. Явлинский: доверие без поддержки

Этот феномен неоднократно привлекал к себе внимание исследователей. На протяжении последних двух-трех лет Г. Явлинский стабильно получал наивысшие или одни из высших показателей доверия населения. Однако рейтинг доверия столь же стабильно отличался от рейтинга электоральной поддержки.

Таблица 3

**Динамика показателей «наибольшего доверия»
и электоральной поддержки Г. Явлинского
(в % от числа опрошенных)***

	Январь	Март	Май	Июль
Наибольшее доверие	18	17	21	20
Намерение голосовать «за»	8	5	4	5**

* Исследования типа «Мониторинг», 1996 (N = 2400 человек).

** Голосовали 16 июня.

Таблица 4

**Показатели «наибольшего доверия» Г. Явлинскому
в течение 1996года
(в % от числа опрошенных, по группам населения)***

Группы	Январь	Март	Май	Июль
<i>По возрасту</i>				
до 25 лет	16	22	27	27
25–39 лет	18	24	20	20
40–54 года	23	19	21	21
55 лет и старше	16	18	14	14
<i>По образованию</i>				
высшее	34	36	28	28
среднее	20	22	22	22
ниже среднего	11	14	13	13
<i>По месту жительства</i>				
Москва и Санкт-Петербург	36	34	29	21
большие города	19	19	24	25
малые города	18	15	21	18
села	12	14	14	17

* Исследования типа «Мониторинг», 1996 (N = 2400 человек).

Вряд ли можно целиком объяснить отмеченное расхождение уровней доверия и поддержки такими факторами, как

слабая организационная или пропагандистская работа сторонников Явлинского, отсутствие реальной альтернативной программы и тому подобное. Скорее всего, перед нами просто иной тип общественного доверия, в первую очередь связанный с уважением, высокой оценкой профессионального, интеллектуального, нравственного уровня этого деятеля в общественном мнении, но не с перспективой наделяния его высшими властными полномочиями и не с расчетом на решение конкретных общественных проблем. Подобно тому как на протяжении ряда лет оставался привлекательным и неподвижным образ «альтернативной демократии», сохранял привлекательность и образ Явлинского. Уже отмечалось, что сторонники этого лидера из числа социологов и журналистов, а потом, вероятно, и сам лидер допустили ошибку, приняв рейтинги *такого* доверия за реальный шанс на президентских выборах.

Возможность иного типа массового доверия к Г. Явлинскому зависит, естественно, от того, в каких ролях и с каким успехом он сможет выступить в дальнейшем в новой политической ситуации.

Феномен генерала Лебеда

Появление на политической сцене А. Лебеда – самое яркое и странное событие в реальной политике и в общественном мнении России в 1996 году. (В данном случае предметом рассмотрения является, конечно, только вторая проблема, главная часть которой – феноменальный рост общественного доверия к А. Лебедю.)

После перехода отставного генерала к политической деятельности можно выделить три фазы его восприятия в массовом сознании:

- с середины 1995 года до перехода на должность советника президента Лебедь – один из лидеров КРО, а затем кандидат в президенты,

- с 17 июня до середины августа 1996 года Лебедь в новой должности, но еще без конкретных полномочий и результатов деятельности,
- с середины августа Лебедь выступает прежде всего как инициатор чрезвычайно смелых и рискованных попыток урегулирования положения в Чечне.

Имеющиеся данные позволяют судить только о двух первых фазах.

Таблица 5

**Динамика показателей «наибольшего доверия»
и электоральной поддержки А. Лебеда
(в % от числа опрошенных)***

	Январь	Март	Май	Июль
Наибольшее доверие	14	17	18	38
Намерение голосовать «за»	7	6	4	10**

* Исследования типа «Мониторинг», 1996 (N = 2400 человек).

** Голосовали 16 июня.

Как видим, стремительный подъем уровня доверия к Лебедю начался после первого тура президентских выборов и его превращения из независимого оппозиционера в советника президента. До этого момента показатели доверия держались примерно на одном уровне (см. табл. 6).

Из табл. 6 видно, что структура доверяющих Лебедю существенно изменилась с переходом ко второй фазе президентских выборов. Если «старый» Лебедь выступал преимущественно героем «среднего» избирателя – среднеобразованного, жителя нестоличных городов, среднего рабочего возраста, – то «новый» Лебедь стал прежде всего кумиром высокообразованных, столичных, молодых групп населения. Притом его популярность выросла именно по показателю общественного доверия, поскольку судить об электоральных шансах кого бы то ни было – преждевременно. Наиболее ин-

тересен в этой трансформации образа поворот к Лебедю симпатий наиболее образованной части населения.

Таблица 6

**Показатели «наибольшего доверия» А. Лебедю
в течение 1996 года
(в % от числа опрошенных по группам населения)***

Группы	Январь	Март	Май	Июль
По возрасту				
до 25 лет	9	8	13	38
25–39 лет	13	13	18	35
40–54 года	16	26	21	44
По образованию				
высшее	12	19	22	39
среднее	16	17	21	42
ниже среднего	12	23	13	32
По месту жительства				
Москва и Санкт-Петербург	13	8	11	44
большие города	13	16	17	38
малые города	17	21	22	39
села	10	26	16	33

* Исследования типа «Мониторинг», 1996 (N = 2400 человек).

Стоит обратить внимание на то, что фантастический взлет общественного доверия к Лебедю – феномен краткого периода после первого тура президентских выборов – не был связан прямо ни с более или менее успешной его предвыборной кампанией, ни с позднейшими акциями генерала в новой его роли. Дело, понятно, не в аппаратном маневре, переместившем генерала на высокое и горячее место в окружении президента, а в том значении, которое эта трансформация получила в общественном мнении. И, наконец, образ Лебеда в общественном мнении в этот момент, то есть на второй фазе президентских выборов, – продукт самого общественного

мнения, его запросов и иллюзий, в определенной мере стимулированный нетривиальной манерой поведения нового лица в политической сфере.

Образ генерала Лебеда в массовом сознании на этот момент воплотил те человеческие качества политика, которых недоставало образам «привычных» персонажей общественно-политической сцены: героической мужественности, уверенности в своих силах, способности простейшим образом разрубать запутанные узлы. В этом образе сплелись радикальный критический популизм и патриотические комплексы, привлекательные для значительной части населения. Он занял в общественном мнении те ниши, на которые в разной мере и с разным успехом претендовали В. Жириновский, Г. Зюганов, Г. Явлинский.

Взлет популярности Лебеда после первого тура выборов – компенсаторная реакция на явную и скрытую неудовлетворенность ситуацией вынужденного голосования за непопулярных, непроходимых, неадекватных массовым надеждам деятелей, а также на дискредитировавшие себя политические приемы и пропагандистские обороты. (Фигурально выражаясь – реакция на политическое «безрыбье».) Недаром сразу после выборов Лебедь становится всеобщим кумиром.

Особо следует отметить значение такой компоненты образа Лебеда как демонстративное стремление предельно *упрощать* запутанные проблемы государственной жизни и способы их решения (опять-таки демонстративно-радикальные). Очередной раз в давней и недавней отечественной истории «немудрое мира» выступает средством преодоления «мудрого», то есть усложненного и запутанного с точки зрения обывденного человека, – подобно тому, как это было во все переломные моменты. Представление о всеильной «мудрости простоты» неизменно оказывалось привлекательным для массового сознания, вне зависимости от соотношения желательных и нежелательных последствий.

Таблица 7

**Сочетание показателей «наибольшего доверия»
к различным деятелям**

*(в % от числа наиболее доверяющих перечисленным лицам)**

	Б. Ельцин	Г. Зюганов	А. Лебедь	В. Черномырдин	Г. Явлинский
Б. Ельцин	100	5	69	41	27
Г. Зюганов	5	100	43	7	20
А. Лебедь	36	23	100	23	33
В. Черномырдин	67	12	72	100	29
Г. Явлинский	27	21	64	18	100
Всего**	20	20	38	12	20

* Исследование типа «Мониторинг», июль 1996 (N = 2400 человек).

** От общего числа опрошенных.

Положение «самого доверенного» лица в обществе обязывает, – особенно, если имеется расчет использовать это положение для дальнейшего утверждения своего авторитета. Такое положение, как известно, вынудило генерала Лебедея в какой-то момент блокироваться с реформаторской частью президентского окружения, а затем занять самые радикальные позиции в попытке развязать чеченский узел. Влияние этих шагов на общественное мнение, на образ и способы действия самого А. Лебедея составит особый предмет исследования.

Попытка типологии

Суммируя высказанные соображения, попытаемся представить некоторую картину типов общественного доверия по отношению к политическим деятелям (вопрос о природе доверия–недоверия социальным институтам не затрагивается).

Рассмотренные варианты отношения общественного мнения к некоторым современным персонажам политической сцены позволили выделить три базовых типа доверия:

- доверие как готовность признать и подчиниться авторитету определенного лица – скорее даже его должности («доверенность»). Пример – отношение к Б. Ельцину среди его избирателей;

- доверие как признание личностных достоинств, как уважение к таланту, интеллекту и прочим качествам («вера»). Примером может служить отношение к Г. Явлинскому его сторонников;

- доверие как «уверенность» в способности героя – именно здесь этот термин вполне уместен в многообразии его значений – к действиями, направленным на избавление от каких-то бедствий. Наиболее подходящий пример – конечно, массовое отношение к генералу А. Лебедю после получения им административных полномочий.

Заслуживают внимания и некоторые дополняющие элементы типологии. Уместно, скажем, отметить особенности *мужского* (расчетливого, рационализированного) доверия, которое нуждается в практической проверке конкретных действий адресата, – согласно известному принципу «по делам их узнаете их». В отличие от него доверие *женского* типа – нераздельное, ценностно или традиционно подкрепленное («не по хорошу мил, а по милу хорош»). Таким было, например, восприятие общественным мнением «раннего» Ельцина, наделенного популистским обаянием, позже – Явлинского, с его комплексом не востребовавшего таланта. Можно выделить, далее, *активный* и *пассивный* типы «доверитель-

ных» установок. В первом случае отношение доверия эмоционально нагружено, может приводить к мобилизации воображения и коллективным действиям. Во втором – доминирует терпеливая покорность обстоятельствам (по принципу «как бы не было хуже») и отторжение коллективных акций. Такое доверие – а именно оно оказалось доминирующим на прошедших выборах² – людей не подымает и не сплачивает («...ничем не жертвуя ни злобе, ни любви»).

Отметим, наконец, некоторые особенности соотношения доверия и *действия*. Если доминирует пассивное доверие «мужского» типа, то действие (или состояние, привычка) предшествует доверию. Активное доверие «женского» типа, напротив, инициирует действие: увлечение, иллюзия, вдохновение, как известно, способно двигать горами.

Общественное доверие до и после выборов

Предвыборная ситуация определяла мобилизацию общественного доверия (внимания, интереса к этому доверию) и ставила судьбу власти в явную зависимость от него. В обычных послевыборных условиях мобилизационная напряженность со всеми сопутствующими ей противопоставлениями «своих»–«чужих»–«лишних» и тому подобное рассасывается, необходимость в непосредственной апелляции к общественному доверию и мнению исчезает, политическая борьба приобретает внутриаппаратный – скрытый, «подковерный» – характер. Роль общественного мнения в таких условиях оказывается периферийной (кстати, еще и в том смысле, что ожидаются региональные выборы) и мобилизующей в дальнейшей – по нашим меркам – перспективе следующего избирательного цикла.

² По данным июльского мониторинга 1996 года, такую черту русского характера, как *терпение*, чаще других указывали голосовавшие за Ельцина.

Однако сложившаяся после президентских выборов 1996 года ситуация не может считаться «обычной». Неустойчивость властных структур, а также отсутствие легитимных механизмов балансировки интересов и ресурсов влияния и прочие обстоятельства вынуждают лидеров и активистов различных структур время от времени непосредственно обращаться к общественному мнению – как к средству давления на высшие уровни правящей иерархии. Примерами может служить апелляция А. Чубайса к массовой аудитории во время известной пресс-конференции 20 июня, или обращение А. Лебеда к президенту через такую же телеаудиторию. По всей видимости, внутриаппаратная или околоаппаратная борьба и впредь будет стимулировать акции такого рода. Когда нет условий для «всеобщей» мобилизации общественного мнения, но сохраняется почва для локальных, направленных его возмущений, а также, конечно, для мобилизации общественного *недоверия*, которое может сыграть важную роль именно в послевыборных условиях.

«Мониторинг...» 1996. № 5

СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА: ПОПЫТКА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задачи настоящего очерка ограничиваются обсуждением возможных путей или способов построения типологии – точнее, различных вариантов типологии – социальных характеров, действующих в рамках современного российского общества, то есть «человека советского» и продуктов его «полураспада». Проблемы классификации или иерархизации таких феноменов затронуты преимущественно на уровне отдельных примеров.

Представляется общепризнанным, что каждая социальная система в каждый значимый период ее существования формирует, выдвигает некоторый специфический набор социально-антропологических типов. Такой набор можно, вероятно, считать одним из моментов структуры данного общества или данного процесса (в последнем случае речь должна идти о динамической структуре, то есть определенном взаимодействии компонентов происходящих перемен – наподобие составляющих потока или лавины).

В условиях модернизационных процессов (индустриализация, НТР, урбанизация, образовательная революция) в число значимых признаков социально-антропологических типов, естественно, попадают такие объективные индикаторы, как род занятий, тип расселения, уровень образования и так далее. Данные такого рода пригодны для описания внешних условий деятельности различных типов человека социально, но недостаточны для представления – тем более, для понимания – самих этих типов. Для этого требуется анализ таких «субъективных» индикаторов как ценности, установки, нормативные рамки деятельности, комплексы общественного мнения.

Плодотворные подходы к построению социально-антропологической типологии могут быть связаны со стати-

стической обработкой данных исследования субъективных показателей. Это позволяет, в частности, определить устойчивые типы сочетания ценностных ориентаций, достаточно строго измерить их распространенность, нагрузку на факторы, прочность обнаруженных связей. В этом случае исследование движется от измерения индикаторов к содержанию обозначаемых ими явлений.

Возможны и другие способы построения искомых типологий, идущие от содержательных социологических характеристик изучаемого предмета к их индикаторам. Понятно, что статистической обработке материала массовых опросов всегда явно или неявно предшествует какая-то содержательная типология признаков, выраженная в самом наборе предложенных оценок или суждений, шкал и так далее.

Важно иметь в виду принципиальную неполноту количественных показателей, поскольку они фиксируют только распространенность определенных признаков, в том числе мнений, оценок; далеко не всегда – а точнее, только в особых, исключительных ситуациях (к ним относятся всеобщие голосования и их исследовательские модели в массовых опросах) – самый распространенный признак или показатель оказывается самым важным. Только в «исключительной» ситуации общество может быть представлено в виде статистической совокупности независимых переменных; более близкие к реальности модели должны учитывать иерархию организованных структур, которые распределяют информацию, власть и влияние в обществе определенного периода. Отсюда и проблема влиятельных и властвующих меньшинств, роли «властителей дум», которая становится критически важной именно в переломные моменты, в неустойчивых ситуациях. Особенно ясной становится тогда необходимость выделения *доминантных* социальных типов – наряду с доминантными идеями или группами. Такие социально-антропологические типы не только не составляют большинства, но даже могут быть «статистически незначимыми», то есть измеряться ма-

лыми процентами от населения и не иметь надежного представительства в опрошенной выборочной совокупности. Но именно они могут задавать тот самый «тон, который делает музыку», – если, разумеется, они способны увлечь за собой одних, растревожить других, навязать свои мнения третьим, выразить и кристаллизировать какие-то общественные настроения, а в итоге – изменить соотношение мнений или даже нарушить равновесие общественных сил. (Конечно, не все перечисленные выше способы воздействия «меньшинства» работают в одно и то же время). Примеры из давней и недавней истории нетрудно отыскать, например, во времена Петра I, Просвещения, разночинского радикализма и так далее – вплоть до романтизированных задним числом «комиссаров в пыльных шлемах» и трибунов первых лет перестройки.

По своему происхождению такого рода формообразующие социальные типы возникают обычно при разломах элитарных групп различного уровня: они сохраняют накопленные соответствующей группой культурные ресурсы – при разрушении традиционных рамок или ограничений пользования ими. (Всякая элитарная группа, слой могут, видимо, определяться через обладание некоторым специфическим ресурсом; это позволяет говорить и об уровнях, даже континууме, элит.)

Возникает, естественно, вопрос о том, в какой мере такие «малочисленные» социальные (социально-антропологические, если они составляют особый тип действия и характера) образования доступны надежному, верифицируемому исследованию. Распространенные способы изучения элит либо подражают массовым опросам в неадекватных, то есть немассовых ситуациях, либо опираются на маргинальные для социологического знания методы вроде экспертных оценок или рейтингов. Кроме того – и это представляется наиболее важным, – никакое рассмотрение оценок и самооценок элиты не позволяет судить о главном – о функции элиты в обществе, о ее влиянии на «массы», то есть на общество или обще-

ственную ситуацию в целом.

Между тем опыт показывает, что массовые опросы – если подходить к ним как к инструменту социологического знания, применяемому в определенных концептуальных и методологических рамках, – могут немало дать для решения некоторых проблем, например, помогают выявлять особенности оценок и имиджа различных деятелей и групп в общественном мнении, измерять показатели внимания и доверия к отдельным выступлениям, акциям и прочее. Иначе говоря, существует определенная возможность использовать инструментарий массового исследования для получения информации о предметах заведомо немассовых, в том числе и уникальных.

Переходная ситуация и переходные типы

Постановка вопроса об изменении социального типа человека в переходный период не предполагает быстрых и массовых «перестроек» внутриличностного порядка (с отдельными людьми это может происходить, но это просто другая проблема). Изменяется лишь распределение таких типов в социальном пространстве и характер взаимодействия между ними – фигурально выражаясь, состав участников и правила «игры» на различных ее уровнях. В наше время прежде всего изменились ориентации доминантных групп, задающих «тон» общественной жизни, изменились условия их влияния, карьерного продвижения, возможности социального выбора и так далее.

При характеристике нынешнего распределения социально-антропологических типов неизбежно сопоставление с положением, существовавшим в традиционно-советских условиях.

Период распада советской общественной системы нередко именуется условным, переходным термином «постсоветского», чем фиксируется неустойчивость ситуации и отсут-

ствие адекватных собственных категорий или рамок для ее описания, но никак не содержание, не структура процесса или ситуации.

Это следует иметь в виду и при характеристике того набора социально-антропологических типов, которые составляют предмет обсуждения. Если при первых опытах социологических изысканий «человека советского» исследователи вольно или невольно стремились *проводить* эту уходящую фигуру, то сейчас им приходится объяснять самим себе, почему и как продолжают действовать многообразные «продукты полураспада» того набора социальных характеров, который доминировал в советский период.

Переходная и нестабильная ситуация порождает «переходные» формы человеческой деятельности и соответствующих ее характеру субъектов: людей, которые подходят к новым реальностям с привычными или примитивными мерками (или, напротив, применяют новые обозначения для старых структур и устремлений). Возникают гибридные, химерные – то есть неспособные к длительному существованию и воспроизводству – образования, группировки, персонажи, выполняющие притом определенные весьма важные функции в условиях сложного общественного перелома. Это относится и к «вороватому» (как называет его Е. Гайдар) российскому капитализму на всех его министерских, банковских или «челночных» уровнях, и к цинично-лицемерному политическому лидерству, которое характерно сейчас едва ли не для всех политических направлений. Однако без деятельности таких переходных – противоречивых, непоследовательных, недалководидных, нерешительных – лидеров как, скажем, М. Горбачев, нельзя представить себе тот вариант социального перелома, который был начат в рамках бывшего Союза ССР. Как нельзя представить и радикальные сдвиги последующего периода без химерических комбинаций либерализма, деспотизма и национализма в государственной политике и общественном мнении.

Сама возможность появления переходных типов связана с принципиальным отсутствием типов «чистых» (как бы однородных) и простых. Даже в самые, казалось, стабильные периоды прошлого в социальном характере можно было выделить установки и нормативные ориентации официального и частного плана, предназначенные «для себя», «для своих», «для чужих», «для начальства» и тому подобное. Тем самым задавались потенциальные ресурсы для различных комбинаций и подвижек социальных типов. Без них, в свою очередь, не был бы возможен ни социальный перелом, ни адаптация людей к его последствиям.

Переходная, переломная ситуация, как известно, предоставляет исследователям возможность увидеть «глубины» скрытых в стабильных условиях структур и механизмов общества; это относится и к его социально-антропологическому материалу. Та надломленность, неустойчивость, неоднородность социальных типов, которую мы как бы воочию наблюдаем в процессах социального перелома, является ключом к пониманию аналогичной сложности, которая мало заметна в «обычных» условиях.

Исходный пункт: «человек советский» в социальном пространстве

Чтобы представить распределение социально-антропологического «материала» в советской системе, в соответствии с изложенными выше соображениями, нужно принимать во внимание как массовые, так и элитарные типы, а также правила реального взаимодействия между ними. Кроме того, иногда имеет смысл учитывать различия в соотношении человеческих типов в разные периоды жизни советской системы, например, в период ее революционного становления и в период ее «застойной» зрелости. Выделить период формирования советской системы особенно важно сейчас для сопос-

тавления адаптационных потенциалов человека в новых условиях.

В раннесоветский период на массовом уровне происходило формирование человека лояльного, напуганного (потрясениями войны, революции, анархии и первых волн массового террора) и возлагающего надежды не столько на обещания новой власти, сколько на то, что она не затронет основ его повседневного существования (ориентация на «сохранение образца», если несколько вольно использовать известные категории Т. Парсонса). В различных пропорциях эти установки были представлены в наиболее массовых группах тогдашнего сельского и городского населения страны. Отметим, что их утверждению непосредственно предшествовал не старый порядок, а далеко зашедший социальный распад и хаос 1917–1918 годов.

Определенную роль в утверждении феномена советского «массового» – или «простого» – человека сыграли настроения социального реванша, направленные против обладателей специфических социальных ресурсов (знаний, богатств, культурности) – то есть против любых элит, в пользу массового принижения уровня социальной организованности и ресурсов.

Элитарные типы этого периода разнородны. С одной стороны, это революционные фанатики и авантюристы, маньяки социального насилия, советские бюрократы и «выдвиженцы» из социальных низов (компоненты новой элиты). С другой – чиновники, специалисты, интеллигенты старого закала, вынужденные или решившиеся во исполнение долга перед народом и прогрессом служить утвердившейся власти («продукты распада» старой элиты). Власть (партийно-государственная верхушка) колебалась между более или менее эффективными попытками принудить к послушанию старые элитарные группы, прежде всего специалистов, и сугубо утопическими претензиями на создание новой культуры (классовой, «пролетарской»).

В сумме все элитарные группы в тот период оставались статистически малым меньшинством (немногие десятки и сотни тысяч на население в полтораста миллионов); в самих же элитарных группах «новая элита» составляла количественно небольшую часть. Но задействованный механизм прямого массового насилия, идеологического принуждения и распределительной экономики обеспечил такую иерархическую структуру формировавшегося общества, в которой позиции и мнения правящего меньшинства стали доминирующими. Обратить внимание на эту давнюю ситуацию стоит сейчас хотя бы для того, чтобы оценить важность понимания действующей структуры любого общества: она определяется не количественным соотношением большинства и меньшинства, а механизмами их связи, прежде всего – контроля со стороны активного и организованного меньшинства, массовой поддержки и послушания. Все сколько-нибудь успешные политические эксперименты XX века, по сути дела, строились по этому принципу.

На ранних стадиях советского общества утвердился универсальный механизм вертикальной мобильности (социальной карьеры), действующий в самых различных сферах, – подбор и назначение на посты. Назначенной «сверху вниз» была не только властвующая партийно-государственная иерархия, но также все параллельные ей вертикальные структуры управления производством, наукой, искусством – вплоть до персонально подбираемых «передовиков», «знатных людей». Избирательные процедуры – как всеобщие, так и, например, академические – по сути дела сводились к одобрению утвержденных кандидатур. Этот карьерный механизм весьма редко давал сбой – изредка они случались в академической среде, да и то только в неустойчивых ситуациях 20-х или 60-х годов – и потому оказался достаточно эффективным для обеспечения массовой и элитарной лояльности по отношению к режиму (кстати, поэтому он и не был устранен при показательном демонтаже советской политиче-

ской терминологии в конце 1993 года). Но именно этот механизм воспроизводства советского человека как *человека иерархического* оказался, в конечном счете, источником неэффективности и невоспроизводимости самой общественной системы.

После ряда проб и ошибок властвующая элита вынуждена была расстаться с утопическими и глобально-революционными претензиями, стерпеть индивидуальное «подсобное» хозяйство и частную жизнь подданных ради предельной и потому всеоправдывающей задачи – строительства индустриальной военизированной сверхдержавы.

На более поздних (собственно «сталинских») этапах существования советской системы это привело к некоторым коррекциям и в социально-антропологической структуре общества. Революционный фанатизм и утопические иллюзии были обречены на исчезновение – как, в соответствии с политическими нравами эпохи, и их носители. Доминантная властвующая группа определилась как иерархия партийно-государственных чиновников, которая держалась милостями сверху и пуще всего боялась их утратить. Общепризнанным идеалом массового человека стал послушный велениям власти массовидный «маленький человек» (не тот, что был предметом жалости в великой литературе прошлого века, а тот, что составил ресурс дешевого труда, «винтик» государственного механизма).

Особая проблема – трансформация состава и роли культурной элиты общества. Попытки инкубации особых, классовых элит были заброшены и осуждены еще в начале 30-х годов – вместе с исканиями новых форм искусства и воспитания. Представители разных поколений научной элиты, литераторов, художников, артистов и так далее получали партийно-государственную опеку и возможность просветительской деятельности классического образца при условии безоговорочной поддержки и славословия в адрес власти. Этим «общественным договором» фактически было оформлено

создание советской интеллигенции как особой и уникальной социальной группы. Она не могла считаться наследником русской интеллигенции прошлого века уже потому, что состояла в принципиально иных отношениях с властью предержащими; исторические параллели здесь можно проводить с придворными одописцами просвещенно-абсолютистского XVIII века. Сказанное, впрочем, относится к явным, официально санкционированным функциям культурной элиты советского образца. Скрытая же, латентная – чаще всего не выражавшаяся вслух или даже не осознаваемая – состояла в поддержании культурной традиции, исполнении просветительского гуманистического долга по отношению к народу (да и к властвующей элите, то есть к ее человеческому материалу). Апелляции к той или иной из этих функций служили средством самооправдания для различных групп и представителей культурной элиты – лауреатов, аутсайдеров и жертв режима.

Сейчас видно, что ни в какой из периодов своего существования структура советского общества – если рассматривать ее в интересующем нас плане соотношения человеческих типов – не была устойчивой. Как на массовых, так и на элитарных уровнях соблюдение «общественного договора» (точнее, социальной сделки) неминуемо вело к разложению его условий и самих участников.

В *позднесоветский* («застойный») период, когда были исчерпаны ресурсы дешевых природных запасов и дешевого труда, наступил кризис всей системы социальных отношений, в том числе отношений между действующими субъектами социальной сцены.

Массовый человек – относительно сытый, трудоустроенный и даже в основном расселенный по отдельным квартирам (или рассчитывающий на такую возможность) был практически лишен стимулов к интенсивной и квалифицированной работе. Социологические исследования и экономические проекты 60–70-х годов вращались вокруг неразрешимой

проблемы «человек и труд»; обсуждались предложения о том, как заинтересовать работника в эффективной работе – привлечь к управлению, участию в прибыли, превратить в «сохозяина» и прочее. Сейчас интересно припомнить, что всерьез обсуждался и вариант снижения уровня обязательного образования, которое не требуется для исполнения производственных обязанностей, но стимулирует избыточные запросы. Отметим, что требования и ожидания поступали от производства, от начальства к работнику – но не наоборот. Никаких организованных требований снизу и тем более волнений система не знала. Ее болевые точки находились на более высоких уровнях.

Правящая элита к концу эпохи в основном происходила из «непуганых» поколений пострепрессивных времен, не испытывала постоянного страха и заинтересована была в сохранении собственного положения и – едва ли не в большей мере – в укреплении своего благосостояния (дома, выезды, устройство детей и так далее). Едва перестав быть напуганной, эта элита превратилась в коррумпированную. Получив, по меньшей мере, формальное высшее образование, она потеряла догматическую уверенность. Невероятная быстрота ее последующих трансформаций показывает, насколько далеко зашел скрытый процесс внутреннего разложения этого слоя. Этим, в частности, объясняется неспособность верхов удерживать общественные и политические структуры от катастрофического обвала и возглавить их реформирование.

Такая характеристика позднесоветской верхушки нуждается в одном существенном дополнении. В ее рамках получил определенное распространение новый, невозможный ранее тип «партийного либерала» – сторонника смягчения режима, осторожных экономических и даже политических реформ в направлении социализма «с человеческим лицом». Деятели этого переходного типа – при всей ограниченности и непоследовательности его устремлений, даже независимо от них – довелось сыграть немалую роль в некотором смяг-

чении режима, в формировании идейного багажа и кадров будущей перестройки. В то же время малочисленность и неорганизованность этой группы обрекли на неудачу попытку создания какой-то новой политической реформаторской силы.

Культурная, интеллигентская элита утратила свою однородность. Произошло размежевание официальной («секретарской») литературы и целого пучка полупризнанных, но все же терпимых течений, не предусмотренных канонами «социалистического реализма», – от критического историзма до национал-патриотизма. Появился новый позднесоветский кинематограф. Общественным явлением стала неудача попыток запретить неканоническое изобразительное искусство. Обстановка полусвободы от унизительных запретов вывела на дискуссионную – «клубную», «семинарскую», по тем временам – сцену новые типы публичных полемистов и публицистов. Вместе с тем начал распространяться и новый вид активности на политическом или – скорее – на публицистическом подиуме, ориентированной на самоутверждение как самоцель.

И разумеется, новый социальный тип сформировался в разнообразных течениях демократического диссидентства. Эти течения возникли как продукт разложения культурных и политических элитарных групп – чаще всего поколенческого (что явилось одним из признаков поколенческой невоспроизводимости советских элит). Программы этих течений чаще всего ограничивались требованием прав человека в рамках несколько реформированной советской системы, численно они были небольшими и – за малыми исключениями – слабо организованными и лишь условно законспирированными. Реальное их влияние оказалось значительным, потому что впервые в советской истории на сцену выступили носители прямого политического протеста, с которым пришлось как-им-то образом считаться правящим и либеральным чиновникам, интеллигентам разных направлений и так далее. Поя-

вились и оказались неустранимыми феномены «самиздата» и «тамиздата», через которые вошли в культурную элиту и молодежную среду целые пласты литературы, в том числе политической, эмигрантской, лагерной. Расшатанность идейных и человеческих устоев закрытого авторитарного строя вела к кризису «верхов», но не сопровождалась ни массовой напряженностью, ни появлением программ, движений или лидеров обновления.

Перестройка: новая сцена и старые актеры

Объявленная М. Горбачевым всеобщая перестройка изменила политическую и публичную сцену в стране и почти сразу выявила дефицит деятелей и идей, способных эту сцену использовать. В то же время многие социальные роли изменили или утратили свой смысл.

О литературе перестроечных лет говорили в свое время, что это возможность увидеть в печатном виде те произведения, которые уже были хорошо известны в рукописях. Изменился статус произведений и авторов, но не появилось новых; накопленные в «подполье» ресурсы быстро иссякли. Это соображение можно применить и к другим общественно важным действиям или ресурсам тех лет. Скрытые и придавленные устремления вышли наружу, осторожные намеки были напечатаны и перепечатаны, критические авторы превратились в публичных трибунов. Утратили значение либералы и умеренные реформаторы, диссиденты и распространители самиздата, околонуточные и окологкультурные кружки. Но не возникло «нормальной» открытой политики, программ, партий, реальных политических деятелей. Накопленные ранее ресурсы были исчерпаны, а новые – не созданы. В этом, по видимому, одна из причин кризиса перестройки.

Правящая политическая элита (партийная верхушка), провозгласившая себя – устами М. Горбачева – инициатором обновления, на деле оказалась парализованной и все более

расколотой, шаг за шагом теряющей бразды правления. В конечном счете это привело к трагическому одиночеству этого лидера, что было лишним раз подтверждено во время президентских выборов 1996 года. Реальных попыток создания какой-то новой организованной политической силы – партии, движения, фронта демократического обновления и тому подобное – в общесоюзных масштабах предпринято не было. Декоративные реформы государственного механизма 1989–1990 годов привели к началу его распада.

В эти годы началась коммерциализация части *хозяйственной* элиты и сращивания государственной бюрократии с приватизированным ею же бизнесом – наиболее важный, видимо, процесс формирования нынешней элиты.

Демократические настроения и иллюзии первых лет перестройки были поначалу тесно связаны с деятельностью специфической группы «трибунов» (или, как писали тогда, «прорабов») перестройки. Эта численно небольшая группа, возникшая как некое соединительное звено между либеральной (горбачевской) частью партийных верхов и дозволенной либерально-интеллигентской общественностью, получила широкий доступ к масс-медиа и сыграла роль фермента в общем оживлении демократических надежд. Время ее активной деятельности было довольно коротким (примерно 1987–1990 годы), значение ее – весьма велико и противоречиво. Гласность и зачаточный политический плюрализм сломали систему идеологической монополии и цензуры. В то же время они создали видимость приобщения демократически настроенных групп к власти. На деле ни «трибуны», ни «демократы» власти не имели, а иллюзия причастности к власти подменяла организацию демократических сил.

Отсюда – слабость не только массовой поддержки перестройки, но и ее прямого влияния на массовую жизнь. Политическое возбуждение практически ограничивалось столицами и крупными городами. Влияние декларированных перемен ощущалось преимущественно через растущий дефи-

цит. Нелепая «борьба за трезвость» вызвала повсеместное раздражение.

Основные структурные компоненты общества – социальные группы, слои, государственные и партийные механизмы – к концу горбачевского периода остались на своих местах, но традиционно советские связи между ними были фундаментально подорваны. Единственно новой была группа «кооператоров», как стыдливо именовались частные хозяева.

Перестройка в принципе завершила советский период нашей истории, но не создала ни социальных, ни человеческих предпосылок для управляемых и постепенных перемен. Когда все же «процесс пошел», он приобрел характерные для всех переломных ситуаций отечественной истории черты *обвала* – лавины, похоронившей благие намерения и самих субъектов скоротечной перестройки.

Новая сцена – новая расстановка сил

В обстановке глубокого и всестороннего общественного кризиса, непрерывных попыток придать политическим акциям, идеям и институтам архаические формы сами ссылки на «новизну» могут вызвать сомнения. Тем не менее реальный состав участников и правила игры на политическом поле страны существенно изменились.

Основным игроком здесь остались властные структуры, в то время как легализованные оппозиционные и альтернативные течения вынуждены были довольствоваться теневыми или даже зрительскими функциями. (Это, в частности, подтвердил ход и исход президентских выборов 1996 года.) Но при этом, даже если у рычагов власти остались те же люди, они – независимо от своих претензий – не имеют реальной монополии на социальный и политический контроль. Не из-за действия правовых и демократических институтов, а просто из-за господствующего хаоса. Присущий плановому хозяйству политический диктат над экономикой сменился сра-

щиванием политических функционеров с новым бизнесом, а дельцов этого нового бизнеса – с политикой. Сложилась две родственные и близкие по характеру своих интересов группы – административная верхушка и новый бизнес. Именно эти группы более всего непосредственно и лично выиграли от происшедших перемен и больше других опасаются поворота вспять. Как видно из *табл. 1*, по социальному самоощущению эти группы весьма близки – и в то же время заметно отличаются от всех иных групп, в том числе от специалистов, студентов и других.

Таблица 1

**«В какой мере Вас устраивает жизнь,
которую Вы ведете?»**
(в % от числа опрошенных по группам)*

Группы	Варианты ответа				
	вполне	в основном	отчасти	скорее нет	нет
Предприниматели	9	21	37	18	13
Руководители	7	20	36	21	14
Специалисты	2	8	37	33	17
Служащие	2	7	34	32	22
Квалифицированные рабочие	2	6	32	34	23
Неквалифицированные рабочие	1	6	26	33	29
Учащиеся	4	10	33	29	22
Пенсионеры	2	6	27	33	28
Домохозяйки	2	7	33	27	28
Безработные	3	6	29	28	32
Всего	3	8	32	32	23

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1996 (N = 49 000 человек). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Столь резкие различия в положении и мнениях говорят о том, что за последние годы произошел разрыв между правящей элитой и «массовой» демократией. Власть утратила устойчивую массовую опору – не став демократической ни по способу своих действий, ни по характеру поддержки, она стала беспомощной. Это раскололо демократию на шумных критиков власти и холодных реалистов, упорно надеющихся использовать существующие властные рычаги в интересах минимально возможных прогрессивных перемен. В этих условиях коридоры власти заполнились чиновниками-на-час, циничными дельцами и авантюристами, ориентированными на собственную выгоду и карьеру.

Если, как отмечено выше, для советских времен было характерно универсальное «назначенство сверху», то после распада правящей иерархии карьерное продвижение в самых различных сферах – не только собственно власти, но хозяйства, масс-медиа, научного и околонучного мира, – стало обеспечиваться личной ловкостью (как и ранее, в сочетании с кумовством и взяточничеством). Это одно из новых и весьма важных правил игры на современном политическом поле.

Культурная элита пережила тягчайший шок, вызванный утратой надежд на цивилизованный переход к демократическим формам, иллюзий относительно собственной причастности к власти, и – не в последнюю очередь – утратой государственной поддержки своей деятельности. Впервые за 80 лет культурная элита не представляется и не может считать себя государственно-значимой силой. Захлестнутая настроениями разочарования, эскапизма и протеста против действий властных структур, эта группа в критические моменты (еще раз сошлемся на уроки избирательной кампании 1996 года) все же в большинстве своем делает вынужденный выбор против возвращения назад, в пользу минимальной надежды на укрепление прогрессивных сдвигов. Особая проблема, заслуживающая обстоятельного рассмотрения, – демонстративный поиск национал-патриотической и национально-

религиозной идентификации в этой группе.

Эти изменения в положении и самосознании культурной элиты могут в перспективе привести к ее сосредоточению на собственно культурных – литературных, научных и так далее – задачах и, тем самым, к преодолению исторических претензий на особую общественную роль.

Что же касается собственно *массовых* («широких») слоев населения, то их положение в сложившейся сейчас системе общественных отношений может быть определено тремя видами социальных ресурсов: «терпения», «мобилизации» и «двоемыслия». (Такими видами ресурсов обладают, естественно, и иные, например элитарные слои. Однако там их труднее выделить обособленно, а также изучать через массовые исследования.)

Состояние ресурсов терпения регулярно отслеживается в исследованиях ВЦИОМ. При всех испытаниях примерно половина населения соглашается с тем, что «жить трудно, но можно терпеть»; человек терпеливый (*Homo Patiens*) остается центральной фигурой постсоветского общественно-политического пространства.

Согласно одному из опросов 1996 года, около трети респондентов полагает, что терпения населения хватит не более чем на пять лет, примерно четверть указывает более долгие сроки, остальные воздерживаются от ответа. Конечно, такие оценки имеют весьма ограниченное значение. В содержательном плане категория массового терпения, по-видимому, интегрирует столь разнородные компоненты, как надежды на улучшение ситуации, расчеты на то, что общий кризис не затронет положения опрошенного, наконец, просто пассивное безразличие к своей и общей судьбе.

Возможности кратковременной политической мобилизации в постмобилизационном, критически настроенном обществе были продемонстрированы в ходе уже отмеченной президентской избирательной кампании 1996 года.

Потенциал «двоемыслия», а точнее, множественности

предельных критериев оценки поведения, действует в различных социальных и межличностных ситуациях. В условиях тотального отчуждения человека от государственных институтов неизбежно возникает противопоставление критериев сделанного «для себя» и «для чужого» (чуждого, враждебного, по отношению к которому оправданы любой обман и лукавство). Атмосфера «высокого» (критериального) кризиса общества умножает и выводит на поверхность скрытые механизмы «лукавого» противостояния человека и власти, собственников друг другу и так далее. Место коллективного заложничества, характерного для времен тоталитаризма («все отвечают за одного...») занимает механизм универсального лукавого двоемыслия. Наиболее явное проявление этого сейчас – повсеместное и даже ставшее неизбежным укрывательство доходов и уклонение от уплаты налогов. Подобный механизм на время может служить средством защиты человека или фирмы от «всевидящего глаза» власти, прикрытием негласной сделки между ними. В перспективе же – средством разложения всех участников сделки.

Кому и как удается приспособиться

По данным ряда опросов, значительная часть населения (до двух третей) полагает, что больше всего выигрывают от российских перемен предприниматели, директора, богатые люди, новая и старая политическая номенклатура. В данном случае массовое мнение вполне соответствует приведенным выше самооценкам именно этих двух групп – предпринимателей и директорского корпуса.

Рассмотрим распределение ответов на вопрос о том, как люди устраивают сейчас свою жизнь.

Таблица 2

«Как Вы устраиваете свою жизнь в переходное время?»
*(в % от числа опрошенных по группам)**

Группы	Варианты ответа			
	не могу приспособиться	без перемен	приходится «вертеться»	новые возможности
Всего	23	26	30	6
По месту жительства				
Москва и Санкт-Петербург	17	20	38	7
большие города	25	27	27	6
малые города	21	25	32	6
села	25	27	27	6
По возрасту				
до 25 лет	10	23	28	11
25–39 лет	16	26	34	9
40–54 года	26	22	38	4
55 лет и старше	36	29	19	1
По образованию				
высшее	16	26	33	11
среднее	21	23	33	6
ниже среднего	27	28	25	3

* Исследование «Советский человек», 1994 (N = 3000 человек).

Респондентам были предложены следующие варианты ответа:

1. «Не могу приспособиться к переменам».
2. «Живу, как жил раньше».
3. «Приходится «вертеться», подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь».
4. «Удастся использовать новые возможности, начать серьезное дело, добиться большего в жизни».

Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Обратим внимание на некоторые нетривиальные позиции. На первых местах в числе неприспособленных – не только

пожилые, но, как ни странно на первый взгляд, и директора – видимо, на умирающих предприятиях. Заметно выше среднего доля не видящих перемен среди специалистов, вероятно, на предприятиях, сохранивших свое положение ко времени опроса. Наиболее интересным представляется сравнение двух видов адаптации – понижающей ресурсный, квалификационный потенциал («приходится «вертеться» ... браться за любую работу...») и повышающей такой потенциал («новые возможности...добиваться большего»). Как правило, имеющие более высокий потенциал (молодые, образованные, жители больших городов) получают и больше возможностей развить его.

* * *

Из действующих в настоящее время на российской общественной сцене социальных типов нет ни одного, который бы обладал устойчивостью и мог бы жить перспективными интересами. Безоговорочно доминируют краткосрочные ориентации – выжить, сохранить статус, получить немедленный выигрыш и так далее. Поэтому нет и стабильных, институционализированных социально-антропологических типов. Единственно устойчивым остается лукавый расчет половины населения на то, что – вопреки всем пертурбациям на разных этажах властной и элитарной иерархии – удастся «перетерпеть».

«Мониторинг...» 1997. № 2

МАССОВЫЙ ПРОТЕСТ: ПОТЕНЦИАЛ И ПРЕДЕЛЫ

«Пиковые» показатели социальной напряженности последних месяцев дают необычайно важный материал для понимания существенных компонентов и перспектив современного кризиса российского общества. Прежде всего это относится к характеру массовых выступлений протеста, развернувшихся со второй половины 1996 года и увенчавшихся организованной профсоюзным руководством «акцией протеста» 27 марта 1997 года. Сопоставимые данные ряда опросов позволяют оценить структуру, возможности и ограниченность таких выступлений.

Таблица 1

Оценки возможности массовых протестов и готовность участвовать в них (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	1994–1996**	Ноябрь 1996	Январь 1997	Март 1997
Выступления возможны	27	40	30	45
Намерены участвовать	23	26	27	31
Индекс***	6,3	10,3	7,8	13,9

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1996 (N = 49 000 человек), ноябрь 1996 и январь, март 1997 (N = 2400 человек).

** Средние данные с апреля 1994 по сентябрь 1996.

*** Результат перемножения показателей «возможности» и «участия».

Очевидно, что показатели «протестной» активности резко выросли с конца осени 1996 года. Важно отметить, что сильнее выросли *ожидания* массовых выступлений (на 63%) и заметно меньше (на 36% по сравнению со средними данными «спокойного» периода) – *готовность участвовать* в них. Та-

кое расхождение («ножницы») в динамике показателей представляется весьма важным для оценки значения протестных акций: ожидания – в том числе и опасения – в отношении массовых выступлений заметно превосходят демонстративные намерения их поддержать. В *табл. 2* показано, какая доля ожидающих массовых протестов была готова принять в них участие.

Таблица 2

**Соотношение ожиданий массовых выступлений
и намерений участвовать в них**
(в % от числа опрошенных по группам)*

Считают, что массовые выступления...	Из них намерены участвовать в выступлениях			
	1994–1996	Ноябрь 1996	Январь 1997	Март 1997
Вполне возможны	44	42	42	47
Маловероятны	16	18	20	25

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1996 ($N = 49\ 000$ человек), ноябрь 1996 и январь, март 1997 ($N = 2400$ человек).

Таким образом, из числа полагающих массовый протест вполне возможным менее половины готовы протестовать сами, причем эта доля выросла незначительно (менее чем на 10%). В то же время заметно (в полтора раза) увеличилось число заявленных участников протестов среди тех, кто сами выступления считают маловероятными.

Посмотрим, как изменились представления о *возможности* массовых выступлений в различных группах населения.

Таблица 3

**«Возможны ли в Вашем городе (районе)
массовые выступления...»**
(в % от числа опрошенных по группам)*

Группы	1994– 1996	Ноябрь 1996	Январь 1997	Март 1997
По полу				
мужчины	28	39	32	46
женщины	26	40	29	43
По месту жительства				
Москва и Санкт-Петербург	33	40	33	48
большие города	31	49	37	55
малые города	26	39	30	47
села	22	29	23	29
По возрасту				
до 25 лет	24	37	25	43
25–39 лет	26	38	31	45
40–54 года	29	40	30	48
55 лет и старше	28	43	33	43
По образованию				
высшее	24	44	31	47
среднее	27	39	30	47
ниже среднего	27	39	30	41

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1996 (N = 49 000 человек), ноябрь 1996 и январь, март 1997 (N = 2400 человек).

Как видим, наиболее заметен рост «протестных ожиданий» у высокообразованных респондентов и у жителей крупных городов.

Кто заявляет о готовности протестовать

Обратимся к показателям возможного (декларативного) участия в акциях протеста различных групп.

Таблица 4

«Если такие выступления состоятся, примите ли Вы лично в них участие?»

(в % от числа опрошенных по группам)*

Группы	Скорее всего, примут участие			
	1994–1996	Ноябрь 1996	Январь 1997	Март 1997
<i>По полу</i>				
мужчины	25	27	31	35
женщины	21	25	23	28
<i>По месту жительства</i>				
Москва и Санкт-Петербург	11	13	14	15
большие города	18	32	30	36
малые города	25	32	30	36
села	26	27	33	35
<i>По возрасту</i>				
до 25 лет	18	19	18	19
25–39 лет	22	23	26	35
40–54 года	27	32	30	35
55 лет и старше	23	28	29	31
<i>По образованию</i>				
высшее	16	23	21	25
среднее	23	25	26	34
ниже среднего	25	28	30	31

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1996 (N = 49 000 человек), ноябрь 1996 и январь, март 1997 (N = 2400 человек).

Различия между структурой показателей в приведенных выше табл. 3 и 4 представляются информативно содержательными. Если, как отмечалось ранее, центральными фигурами в ожиданиях или опасениях протеста являются образованные люди, то главный носитель настроений протеста – малообразованные. По уровню озабоченности обладатели высшего и среднего образования неразличимы, но по готов-

ности протестовать среднеобразованные далеко впереди. (Почти полное подобие классических схем противостояния «верхов» и «низов»...) Возрастные пики напряженности по обоим показателям сходятся на одной группе 40–50-летних, то есть людей позднего рабочего возраста.

Таблица 5

Показатели протеста в региональном разрезе
(в % от числа опрошенных по группам)*

Регионы	Считают, что выступления возможны			
	1994–1996	Ноябрь 1996	Январь 1997	Март 1997
Москва и Санкт-Петербург	33	40	33	48
Север	24	40	27	44
Юг	25	28	31	50
Волга–Урал	26	40	31	36
Сибирь и Дальний Восток	30	49	32	48
	Готовы принимать участие...			
Москва и Санкт-Петербург	11	13	14	15
Север	23	29	24	31
Юг	20	18	29	32
Волга–Урал	24	27	27	25
Сибирь и Дальний Восток	29	38	34	43

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1996 (N = 49 000 человек), ноябрь 1996 и январь, март 1997 (N = 2400 человек).

Здесь бросается в глаза, что только в Москве «исконно» наблюдалось очень значительное (в три раза!) расхождение между показателями возможности и участия в выступлениях. По мартовским данным 1997 года такое расхождение наблюдается (хотя и в меньшей мере – примерно в соотношении 1,5:1) и в других макрорегионах. Исключение составляют Сибирь и Дальний Восток, где значения обоих индикаторов

довольно близки (48 и 43% соответственно). Напрашивается простая трактовка этих особенностей. Для Москвы всегда характерен огромный разрыв между ожиданиями/опасениями и действиями – прямое следствие социально-политических ориентаций и самого состава населения. Противоположный полюс ситуации – Восток, центр недовольства и выступлений. И только в регионе Предуралья–Урал практически не выросли показатели намерений участвовать в выступлениях: это как будто самый устойчивый регион (еще раз – «опорный край державы»?).

Отметим некоторые особенности региональной структуры «протестных» настроений.

Таблица 6

Намерения участвовать в выступлениях
(в % от числа опрошенных по группам)*

Регионы	Готовы принимать участие в акциях протеста			
	1994–1996	Ноябрь 1996	Январь 1997	Март 1997
Москва и Санкт-Петербург	4	5	5	5
Большие города	27	18	16	19
Малые города	44	50	47	47
Села	30	27	32	29

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1996 (N = 49 000 человек), ноябрь 1996 и январь, март 1997 (N = 2400 человек).

Как видно из табл. 6, при всей динамике настроений протеста их «поселенческая» структура изменилась незначительно: единственная заметная подвижка – это снижение доли населения больших городов в пользу малых. Главная сила (декларативного) протеста, как и ранее, – жители малых городов и сел, на их долю приходится 87% заявляющих о го-

товности принять участие в массовых выступлениях, – при том, что они составляют 65% населения и, соответственно, общего числа опрошенных.

Самыми разительными кажутся изменения ожиданий в группах с различными социально-политическими ориентациями (см. *табл. 7*).

Чаще всего выступления полагают возможными недовольные и обделенные, но динамика такова, что более всего возросла обеспокоенность протестами у самых довольных и реформистски настроенных респондентов. Участвовать же в протестах намерены преимущественно обездоленные и противники рыночных реформ.

Таблица 7

Ориентации и отношение к протестам
(в % от числа опрошенных по группам)*

Согласны с суждениями:	Считают, что выступления возможны			
	1994–1996	Ноябрь 1996	Январь 1997	Март 1997
«Все не так плохо...»	18	33	24	42
«...можно терпеть»	23	32	24	38
«Терпеть...невозможно»	35	50	38	52
Реформы продолжать	23	39	28	43
Реформы прекратить	34	49	37	51

* *Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1996 (N = 49 000 человек), ноябрь 1996 и январь, март 1997 (N = 2400 человек).*

Внимательный анализ отношения к массовым выступлениям со стороны различных социальных и социально-политических групп позволяет оценить значение видимого разрыва между показателями ожидания (признания возможности, опасений) выступлений и намерения в них участво-

вать. Понятно, что оба эти показателя относятся на деле только к *вербальным*, декларативным акциям, то есть, по существу, настроениям. Их соотношение с реальными действиями рассмотрим несколько позже.

Существенно, что основными носителями «протестных» настроений в нынешних условиях выступают наименее «продвинутые», менее всего вовлеченные в процессы перемен слои и группы населения. Отсюда и принципиальное отличие между ситуацией противостояния «низы–верхи» в классических концепциях и в современной российской реальности. В социальных мечтаниях прошлого века обездоленные группы представлялись не просто разрушителями, но и носителями общественного прогресса, нового социального порядка. Сегодня наиболее обездоленные склонны к протесту (точнее, подвержены «протестным» настроениям), но надежды их обращены скорее не к будущему, а к прошлому – к всеобщей государственной зависимости.

Характерна в этом плане судьба едва ли не самых организованных и могущественных – «шахтерских» – выступлений, которые представлялись обновляющей и демократической силой в 1989 году, а затем с неизбежностью, из-за самого положения отсталой и нерентабельной отрасли в народнохозяйственной системе, оказались просителями государственной (и международной) поддержки и тем самым – орудием отраслевого монополистского лоббизма. Что, между прочим, лишней раз продемонстрировало противоречивую сложность той социальной сети, в которой действует сегодня любое движение протеста.

Уровни «реального» участия в массовых акциях

Одно из исследований ВЦИОМ, проведенное в марте 1997 года, позволяет сопоставить – к сожалению, не вполне строго из-за различий в размере выборки и способе проведения опроса – представленные выше показатели ожиданий и

намерений с распределением данных (утверждений респондентов), относящихся к действительному участию различных групп в массовых акциях. Это исследование (типа «Экспресс») показало следующие результаты при ответе на вопрос «Участвовали ли Вы в течение последних 12 месяцев в каких-либо акциях протеста?» (в % от числа опрошенных):

<i>Принимал участие в митинге, демонстрации...</i>	
с экономическими требованиями	3
под лозунгами отставки президента или правительства	1
<i>Принимал участие в забастовке...</i>	
с экономическими требованиями	2
с требованиями отставки президента или правительства	0*
<i>Подписывал петицию...</i>	
с экономическими требованиями	1
с требованиями отставки президента или правительства	0
<i>Распространял газеты, листовки...</i>	
с экономическими требованиями	0
с требованиями отставки президента или правительства	0
Ничего из перечисленного делать не приходилось	93

* Менее 0,5%.

Итак, *всеми* видами «протестных» акций за год было охвачено всего 7% опрошенных. Если сгруппировать, для удобства рассмотрения, действия в соответствии с их направленностью, получим, что около 5% выступало с экономическими требованиями, 1,5% – с политическими (см. табл. 8).

Ясно, что доля реально участвовавших в акциях в несколько раз меньше соответствующих деклараций и настроений. Кроме того – что представляется весьма важным – на первый план выходит участие не рабочих, а служащих, специалистов, руководителей, лиц с высшим образованием. Это

значит, что протест носит не столько «низовой», сколько «отраслевой» характер.

Таблица 8

Участие в экономических и политических выступлениях протеста

(в % от числа опрошенных по группам)*

Группы	Экономические выступления	Политические выступления
Всего	5	2
По полу		
мужчины	4	2
женщины	5	1
По возрасту		
18–24 года	4	0
25–39 лет	5	2
40–54 года	6	2
55 лет и старше	4	1
По образованию		
высшее	7	3
среднее	5	1
ниже среднего	4	2

* Исследование типа «Экспресс», март 1997 (N = 1600 человек).

Возьмем, наконец, политические склонности протестующих. Вполне естественно, что «протестное» (голосовавшие за Г. Зюганова) предполагает и большее участие в соответствующих акциях. Правда, намерения протестовать значительно быстрее росли у голосовавших за Б. Ельцина: явный эффект послевыборных разочарований.

Таблица 9

Намерения и участие в акциях протеста
(в % от числа опрошенных в соответствующей группе)*

Голосовали в 1996 (II тур)	Заявили о намерении участвовать в акциях			Участвовали в акциях за 12 месяцев	
	Ноябрь 1996	Январь 1997	Март 1997	в эконо- мических	в политиче- ских
За Б. Ельцина	18	21	28	3	1
За Г. Зюганова	38	41	51	8	4

* Исследование типа «Экспресс», март 1997 (N = 1600 человек). Данные о намерениях и об участии получены в исследованиях разного типа и потому не могут быть строго сравнимы.

Отношение к планируемой акции протеста 27 марта

Общее распределение позиций накануне профсоюзных выступлений (на середину марта) выглядело таким образом (исследование типа «Экспресс», N = 1600 человек):

Поддерживаю и планирую принять участие	9
Поддерживаю, но не планирую участвовать	32
Не поддерживаю	13
Ничего не знаю об этом	23
Меня это не интересует	15
Затруднились ответить	9

Из числа принимавших участие в разных формах выступлений за предыдущие 12 месяцев намерения в отношении планируемых профсоюзами выступлений распределялись следующим образом.

**Участие в протестах за 12 месяцев и отношение
к планируемой акции 27 марта
(в % по столбцу)***

Отношение к акции 27 марта	Участие в выступлениях		
	экономи- ческих	политиче- ских	не прини- мал
Поддержка и участие	42	41	7
Поддержка без участия	26	54	32
Не поддерживают	4	3	14
Не знают об акции	12	0	23
Не интересуются	4	2	15

* Исследование типа «Экспресс», март 1997 (N = 1600 человек).

Остановимся теперь на отношении к той же акции у различных групп населения.

В отношении *социальной структуры* массовая поддержка протеста отчасти изменилась по сравнению с предшествующим годом: в первых рядах люди с высшим образованием, специалисты, рабочие, служащие.

В отношении *территориальной структуры* (региональной и поселенческой) – принципиальных изменений нет: отмечена такая же, как ранее, но более выраженная готовность протестовать на Юге и на Востоке.

В *политическом плане*: доля желающих участвовать в выступлениях увеличилась по сравнению с предыдущим годом примерно вдвое, соотношение сторонников главных сил осталось почти без изменений. Из голосовавших за Б. Ельцина во втором туре президентских выборов собирались участвовать в акциях 27 марта 5% (3%), из голосовавших за Зюганова – 14% (8%).

Прожективная и «провоцирующая» ситуация: предельные формы протеста

В мартовском исследовании 1997 года типа «Экспресс», данные которого рассматривались выше, содержалась также серия вопросов, создававших заведомо искусственную, прожективную ситуацию: во-первых, было сделано провоцирующее допущение о массовых выступлениях, во-вторых, был предложен в качестве условных подсказок список возможных действий протеста, в том числе практически нереальных в нынешних условиях. Это нужно иметь в виду при трактовке приводимых ниже результатов.

Текст вопроса: «Если в Вашем населенном пункте начнутся массовые выступления против падения уровня жизни, невыплат зарплат, политики правительства, примете ли вы лично в них участие?». Распределение ответов (в % от числа опрошенных):

Определенно да	15
Скорее да, чем нет	18
Скорее нет, чем да	21
Определенно нет	35
Затруднились ответить	12

Полученные при *такой* постановке вопроса данные заметно отличаются от рассматривавшихся выше: доля готовых включиться в акции массового протеста, *если* они уже начались, достигает примерно одной *трети* опрошенных (те, кто отвечают «да» или «скорее да»).

Территориальные и политические контрасты в такой ситуации предстают еще более резкими. Так, в Москве согласные и несогласные участвовать в акциях протеста соотносятся как 23:74, а на Юге России – как 39:62, в Сибири и на Дальнем Востоке – как 39:44. Для больших городов это соотношение выглядит как 25:67, для малых городов – 37:59, для

сел – 38:48; для голосовавших за Б. Ельцина на президентских выборах 1996 года – 19:70, за Г. Зюганова – 46:43 (только в последней социально-политической группе «протестные» стремления оказываются преобладающими).

Трактовать представленную прожективную ситуацию можно, вероятно, как ситуацию предельную: полученные данные обозначают тот уровень, которого может достичь массовое недовольство, конечно, при сохранении нынешних его компонентов. Аналогичным образом получена и прожективная картина того набора *средств*, которые в предельной ситуации могли бы стать инструментами массового протеста.

Реальные и «крайние» средства в прожективной ситуации

Указанный мартовский опрос показал следующее распределение типов акций протеста, в которых готовы были бы принять участие респонденты (в том же прожективном контексте «начавшихся массовых выступлений»; в % от числа опрошенных):

Мирные митинги, пикеты, демонстрации	30
Забастовки	10
Голодовки	1
Блокирование административных зданий, улиц, шоссе, железных дорог, отключение коммуникаций	5
Сопrotивление властям с оружием в руках	3
Другие акции протеста	5
Не буду принимать участия в акциях протеста	45
Затрудняюсь ответить	14

(Сумма ответов несколько превышает 100%, поскольку часть опрошенных отмечала более одного варианта.)

В общем и целом, конечно, преобладают желания вообще не принимать участия в акциях или ограничиться уже давно

легализованными средствами мирных выступлений. Наибольшую поддержку среди респондентов имеют – даже в предельной ситуации – экстремистские действия, связанные с массовым насилием и нарушением общественного порядка. Грозятся прибегнуть к таким крайним мерам, как блокировка дорог или вооруженное сопротивление прежде всего молодые, учащиеся, специалисты и военнослужащие. Из политических групп – сторонники В. Жириновского (голосовавшие за него в первом туре президентских выборов) и Г. Зюганова (голосовавшие за него во втором туре). Региональный разрез показывает наибольшую долю сторонников насильственных действий в Сибири и на Дальнем Востоке (где 10% упоминают блокирование дорог, а 7% – вооруженное сопротивление). Как известно, именно там и было испытано блокирование магистралей в качестве такого средства. Вопрос в том, насколько распространенными и – главное – насколько эффективными могут оказаться такие средства в меняющейся общественной ситуации.

Промежуточные итоги

Приведенные данные опросов показывают наиболее высокий за все годы исследований уровень общественного недовольства и намерений протестовать против экономического и политического курса российского руководства.

45% опрошенных считают «вполне возможными» массовые выступления населения в своем городе, районе на экономической почве (против падения уровня жизни, в защиту своих прав); 31% – «скорее всего» намерены участвовать в таких выступлениях; 41% – считают «вполне возможными» выступления населения своего города, района с требованиями отставки правительства и президента, роспуска парламента; 33% «определенно» и еще 18% – «скорее всего» поддержали бы требования отставки президента; 29 (и еще 19) –

требования отставки правительства; 24% (и 17) – роспуска Государственной Думы.

В марте исследователями отмечены столь же низкие, как и в январе, показатели общественного терпения: 45% соглашались с тем, что «терпеть наше бедственное положение уже невозможно». Суждения относительно предельных сроков терпения изменяются со временем в худшую сторону.

Таблица 11

**«Когда, по Вашему мнению,
будет полностью исчерпано терпение населения?»**
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Сентябрь 1996	Март 1997
Через год или ранее	14	16
От года до 5 лет	23	16
От 5 до 10 лет	8	4
Более 10 лет	4	4
Никогда	12	9

* Исследования типа «Мониторинг», 1996–1997 (N = 2400 человек).

И тем не менее на фоне высокого уровня общественного недовольства оставался фактически весьма низким уровень организованного, направленного, эффективного общественного протеста. Самым очевидным подтверждением наблюдаемых в опросах разрывов между «протестными» настроениями и соответствующими действиями могут служить итоги организованной профсоюзным руководством всероссийской акции протеста 27 марта. При всех расхождениях в данных относительно количества участников ясно, что эта акция – встревожившая правительство и оппозицию, но не общественное мнение – не оказала сколько-нибудь заметного влияния ни на политическую ситуацию в стране, ни на положение с зарплатой, ни на авторитет властей и их оппонентов. Этот

итог заслуживает самого обстоятельного анализа. Пока ограничимся некоторыми соображениями принципиального порядка.

1. Общественные протесты в стране остаются слабыми, поскольку они не организованы. Дело не только в отсутствии такой партии, профсоюза или яркого лидера, которые могли бы превратить волну недовольства в направленное движение. Отсутствуют в обществе социальные рамки, в которых только и возможен направленный протест в цивилизованных условиях – будь то экономический или политический.

2. Общественное недовольство не имеет конкретной направленности, а потому диффузно. Возникший в отдельные периоды в общественном мнении образ персонального виновника, на которого возлагалась ответственность за все беды, лишь подтверждает это отсутствие ориентации.

3. В обществе отсутствует четкая дифференциация социальных интересов и потому не формируются размежевания типа «мы–они». Поэтому диффузный протест против политики властей легко превращается в *просьбу* о помощи, адресованную тем же властям.

4. Массовое недовольство универсально и создает что-то вроде общего негативно-эмоционального *фона*; конкретные же действия протеста оказываются локальными, профессиональными, отраслевыми, то есть партикуляристскими по своему характеру.

5. Сам по себе протест, тем более диффузный, лишенный конкретной направленности, не создает ни субъекта социального действия, ни его общих ценностей. Не формируется и система солидарной зависимости в множественном действии.

6. Социальный протест не связан с какими-либо позитивными и перспективными ориентациями. Ностальгическое сожаление об утраченном (на деле – воображаемом) «счастливым прошлом» в качестве организующей ценности не работает.

7. Массовые протесты в сегодняшних условиях составляют лишь один из многочисленных узлов в сложном клубке социальных и политических конфликтов на разных уровнях – внутри и вокруг властных структур, монополий, групп давления и прочее.

8. Главная проблема массового недовольства и протеста – это проблема *использования* ее различными организованными силами «элитарного» происхождения. То, что принято было называть «борьбой за массы», по сути дела, всегда и везде сводилось к конкуренции за использование массового недовольства в интересах определенной элитарной группы.

«Мониторинг...» 1997. № 3

1988–1998: ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ПОВОРОТОВ

«Внутренний» повод для разработки названной темы – научно-биографический для ВЦИОМ и группы его сотрудников. Как раз десять лет назад, в начале 1989 года, был проведен наш первый из серии «новогодних» опросов, охвативший широкий круг социальных и политических проблем. По результатам этого исследования была вскоре написана коллективная книга¹ – своего рода декларация о первых результатах изучения пробуждающегося, как тогда казалось, общества.

Другой повод – *особенности* минувшего десятилетия (1989-1998) в жизни страны, общества.

Никакой смены власти или ее формальных определений в 1989 году не произошло, даже сомнения в прочности советского строя и руководящей позиции М. Горбачева высказывались довольно редко. Но именно в этом году стал очевиден кризис горбачевской «перестройки» – попытки осторожных и ограниченных реформ, совершаемых под контролем партийного аппарата. Расширяющиеся рамки «гласности» и показная демократия безвластного Съезда депутатов, Тбилисский расстрел, развитие кризиса вокруг Нагорного Карабаха, падение Берлинской стены, а затем и всего «социалистического лагеря» в Восточной Европе, массовые забастовки шахтеров (тогда – за экономические реформы и против однопартийной диктатуры), движения за независимость стран Балтии, «мода» на неопределенную и неорганизованную демократию, безуспешная борьба за отмену 6-й статьи Конституции (о руководящей роли КПСС).

Последний год этого десятилетия, 1998, был отмечен чередой сменявших друг друга правительств (включая временное возвращение В. Черномырдина в августе), последова-

¹ «Есть мнение!» Итоги социологического опроса. М.: Прогресс, 1990.

тельно подтвердивших свою беспомощность перед финансово-экономическим кризисом. Формальный конец попыток контролируемого перехода от распределительной экономики к рыночной (на деле такие попытки прекратились значительно раньше, после краткого периода «гайдаровских реформ»). Подтвердилась и как бы легитимизировалась главная особенность всех – не только экономических – преобразований в российском обществе: они могут осуществляться не по воле и замыслу какой-то организованной группы, но лишь в «вынужденном» режиме, под давлением обстоятельств и в сложной игре противоречивых влияний внутренних и внешних сил, причем сила общественного мнения здесь была наименее весомой. Непременная особенность такого типа общественных изменений – слабость государственной власти, давно отмеченная не только аналитиками, но и общественным мнением; эта тема многократно рассматривалась в журнале «Мониторинг». Черeda колебаний, ультиматумов, заверений, капитуляций и компромиссов, которую составляет «линия» власти образца 1998 года, очевидно не имеет аналогов в минувшем десятилетии. Равно как и конечный (для годового цикла) результат – «всеобщее» согласие вокруг бездействующего правительства и фигуры Е. Примакова – деятеля нового типа для нашей политической сцены.

Ожидания и опасения 1989 и 1998 годов

Сопоставляя крайние точки десятилетия на «низовом» уровне общественных настроений, которые представлены в массовых опросах соответствующих лет, следует иметь в виду «нетипичность» 1998 года, отмеченного обвальным кризисом финансовой и политической систем. В свое время этот год 43% опрошенных восприняли как «более трудный» по сравнению с предшествующим, а в начале 99-го такую оценку минувшему (1998) году дали уже 83%. В 1988 году опасались растущего товарного дефицита и межнациональных

конфликтов. В 1998-м – растущих цен, безработицы, экономического краха.

Стоит отметить ограниченность возможных сопоставлений ситуации в разных концах рассматриваемого периода, которая обусловлена изменением содержания и направленности общественных процессов («сменой вех»), происшедшей за эти годы. Нельзя судить о ситуации 1998 года по тому, насколько она, например, оправдывает или не оправдывает существующие надежды, а тем более, иллюзии – года 1989. Суждения типа «если бы знали», «хотели иного» и прочие могут служить мерой общественных (в том числе и массовых) иллюзий образца 1985-1989 годов, но никак не мерой происшедших перемен.

Начиная с 1991 года большинство респондентов в массовых опросах утверждали, что не поддержали бы «перестройку», если бы знали о ее последствиях. По данным всероссийского опроса 1991 года (N = 2790 человек), вопрос «Если бы Вы в 1985 году знали, к чему приведут начавшиеся тогда в стране перемены» дал следующее распределение ответов:

Поддержал бы эти перемены	25
Не поддержал бы эти перемены	48
Не могу сказать определенно	27

Как видим, разочарование в отношении перемен и даже испуг перед ними – вовсе не достояние последних трудных лет; они были весьма широко распространены еще в разгар того, что именовалось «перестройкой». Разумеется, такие данные свидетельствуют о настроениях, доминирующих на момент опроса, но не о наличии массовой поддержки перемен, заявленных в горбачевские годы (хотя бы потому, что их цели и программы никогда не формулировались явно).

Сколько-нибудь серьезно судить *непосредственно* по опросным оценкам о значении происшедших перемен можно было бы, только сравнивая различные *варианты* или *про-*

граммы возможных и реальных действий, но сделать это нельзя, поскольку, во-первых, такие программы никогда не предъявлялись обществу, во-вторых, общественное мнение не обладает компетентностью, которая позволила бы грамотно их оценить, а в-третьих, всякое сопоставление замысла и реального действия ненадежно, так как обстоятельства всегда понуждают корректировать самые совершенные планы. Даже исключительно надежные и содержательные опросы могут дать лишь определенный материал для аналитической работы.

Ни «Реформы», ни «Революции»

Один из стандартных вопросов мониторинга общественного мнения – продолжать ли экономические (или рыночные) реформы. Очевидно, однако, что ответы скорее показывают оценку социально-политической ситуации, чем отношение к какой-либо конкретной программе преобразований. В многолетней политической полемике оппоненты Е. Гайдара обычно упрекали его в том, что стране была навязана неадекватная программа реформ; его сторонники отвечали, что если у них и была программа, к сожалению, осуществить ее не удалось. Множество непоследовательных решений, в той или иной мере изменяющих деятельность предприятий, банков и прочего, не складываются даже в подобие «Великой Реформы» (этот термин лояльные режиму историки в оные времена относили к переменам эпохи Александра II). Реформа с большой буквы выглядит расплывчатым символом отчасти задуманных, отчасти навязанных, отчасти случайно «получившихся» перемен, но никак не программой.

Поэтому, в частности, лишены смысла суждения относительно «неподготовленности» общества (советского, российского) к переменам. К событиям исторического масштаба – а как бы их ни оценивать, мы имеем дело с такими феноменами – терминология запланированных мероприятий неприме-

нима. Упрямая традиция отечественных стереотипов социального мышления принуждает исследователей рассматривать проблемы перемен через формулы типа «кому выгодно» и «кто виноват», в то время как единственно серьезным представляется анализ реальной ситуации и возможностей выхода из нее («что было возможно?»). А также, разумеется, применимости к ее пониманию определенной модели, когнитивной схемы.

В этой связи неизбежно возникает вопрос о применимости к происшедшему и происходящему соблазнительной или устрашающей – в зависимости от идеологических симпатий – модели Революции. Массовые календари давно перестали отсчитывать время с октября 1917-го, мало кто помнит уже и конъюктурно-политиканские лозунги 1987 года типа «Перестройка – продолжение Октября», – а романтический идол Революции (с большой буквы!) живет в социальной памяти, более того, иногда он кажется универсальным средством понимания исторических перемен и переломов. Между тем на исходе XX века «революция» как идол массового воображения и как понятийный комплекс, по-видимому, исчерпала свои возможности.

Революционная терминология использовалась в социальных науках в двух основных смыслах: во-первых, для обозначения относительной быстроты и фундаментальности исторических перемен («скачок», «новое качество» и тому подобное – в гегельянской терминологии, которая имеет хождение применительно к феноменам биологического, космологического и других порядков), во-вторых, для характеристики внутренней структуры социально-политического переворота (организованное насилие, социальная мобилизация масс, жертвенный авангард, героизация лидеров и прочее). Магический ореол термину придавало широко распространенное после известных французских событий двухсотлетней давности представление о революции как необходимом компоненте прогресса. В этом смысле Революция – по-

бочная дочь главного социального мифа XIX века, мифа о всепобеждающем Прогрессе, авторство которого оспаривали либералы и радикалы, гегельянцы, позитивисты, марксисты и анархисты. Концепция прогресса как поезда, несущегося по рельсам Истории, отдавала революциям функции паровоза (знаменитая формула Маркса – «локомотивы истории»). В подобную схему прогрессистское мировоззрение прошлого столетия загоняло все варианты модернизационных конфликтов и конвульсий разных стран, начиная с XVII века.

Социальная мифология неумолимого Прогресса и его революционных локомотивов имела по меньшей мере амбивалентные социально-нравственные последствия. Утверждалось представление о том, что возвышенная цель (прибытие «локомотива» из пункта *A* в пункт *B*) будто бы оправдывает любые средства ее достижения, а действия человека – и «героического» и «массового» – определяются исторической целесообразностью. Первыми жертвами таких постулатов всегда становились их собственные героические сторонники; самыми массовыми – «неудобные» или «непослушные» социальные группы, сословия, народы. Всякое «революционное» (то есть совершаемое во имя определенных лозунгов) насилие начиналось столкновением элит, но становилось главным образом насилием над собственным народом.

Между тем в большинстве стран мира все экономические, политические, культурные перемены, связанные с формированием современных общественных институтов, обходились без революционных переворотов. Более того, как раз там, где пути модернизации оплачивались ценой многолетних и кровавых катаклизмов, они оказывались наименее эффективными. Самый убедительный пример тому, к сожалению, – наш отечественный.

В прошлом веке революционные потрясения в разной мере переживали некоторые страны западной части Европы. Происходившие в Западном полушарии перевороты и национально-государственные конфликты нередко носили ре-

волюционные названия, но все же были событиями иного рода. В первой половине XX столетия средоточием революционных катаклизмов оказался европейский Восток – наследие трех империй (России, Германии, Австрии), разрушенных мировой войной. Во второй половине нашего века действовали два источника революционных взрывов или попыток: один из них связан с процессами деколонизации, другой – с кризисом советского господства; реальная роль тех и других попыток оставалась скорее символической или мобилизационной. (Падение режимов советского типа в странах бывшего «блока» осенью 1989 года назвали было в тогдашней прессе «демократическими революциями», но термин не удержался, что вполне оправдано.) Опыт двух столетий позволяет сделать вывод о том, что революции – не столько «локомотивы», сколько *катаклизмы* истории.

Насколько правомерно относить к ним события прошедшего десятилетия нашей истории?

Аналогии с различными моментами событий иных эпох всегда можно отыскать – с большим или меньшим усилием, – но в нынешних перипетиях нашей жизни они практически ничего объяснить не могут. В структуре происходивших перемен («динамической структуре») отсутствовали те компоненты, которые позволяли бы рассматривать ее как революционную.

Прежде всего отсутствовала новая элита, которая могла бы претендовать на роль авангарда преобразований. Ни реформаторски настроенная часть партийно-государственной номенклатуры, ни либерально-критические интеллигенты, ни радикальные диссидентские группы, даже вместе взятые – если бы можно было представить себе некое объединение этих разнородных групп, – не годились для исполнения этой роли: не было в этом конгломерате ни организованности, ни «мотора», ни «зажигания»; не говоря уже о каких бы то ни было планах-программах. Роль реформатора пыталась и не сумела сыграть «горбачевская» верхушка старой, партийно-

советской номенклатуры. В этом заключается коренное отличие российской ситуации конца 80-х годов от синхронных ситуаций в Польше, Чехословакии, Венгрии и других странах: там уже заявила о себе новая политическая элита, ориентированная национально (то есть антиимперски) и демократически (то есть на «западные образцы»). Лозунги национально-государственного освобождения явились важнейшим средством первичной – не продержавшейся и не способной продержаться долго – массовой мобилизации, организационно выражавшейся в национально-демократических движениях, «фронтах», «форумах» и тому подобное.

В России факторы «новой» («перестроечной», квази-революционной) массовой мобилизации отсутствовали. Политическая мобилизованность вокруг официальной (старой по природе и типу действия) политической элиты, заметная до начала 90-х годов, точнее до кризиса 1993 года, была скорее пережитком прошлого «морально-политического единства» тоталитарного общества, чем началом новой, демократической организации общества. Демократическое возбуждение 1987-1990 годов или всплеск демократических настроений в августе 91-го охватывали довольно узкие, преимущественно интеллигентские круги и не получили ни продолжения, ни организационного воплощения.

В политической публицистике время от времени дискутируется ретроспективная возможность создания новой партии – подразумевается что-то вроде демократизированной КПСС – то ли с М. Горбачевым образца 1990-го, то ли с Б. Ельциным образца 1991-1993 годов во главе. Эта «ниша» никогда не была (и не могла быть) заполнена: вне ситуации, хотя бы кратковременной, массовой мобилизации новая массовая партия не могла образоваться, а попытки «оформить» в качестве партии правящую верхушку или ее более радикальную часть (НДР, ДВР) кончались весьма плачевно.

И наконец, третье недостающее звено революционной модели – лидерство. Революционные переломы нуждаются в

сильной, предельно и притом демонстративно концентрированной власти, поэтому они перебирают немногие варианты государственного единоначалия, порой приписывают наполеоновские характеристики случайно возвысившейся посредственности. Ничего подобного в России за эти десять лет не наблюдалось. Власть была и выглядела слабой, это относится и к ее первым лицам. С начала 90-х годов опросы неизменно отмечают «слабость, отсутствие власти, анархию» как доминирующую черту обстановки в стране; о том же говорит и массовая тоска по порядку и «сильной руке». И Горбачев первых лет перестройки, и «ранний» Ельцин – а также многие из их наиболее влиятельных оппонентов – одинаково неудачно пытались выступать в качестве инициатора перемен или «опального» лидера, способного вести за собой политическую элиту и массы. Для исполнения этих ролей всем им недоставало прочных рычагов власти, механизмов мобилизации массового доверия и поддержки, – да и собственных качеств дальнозоркой и уверенной в себе харизматической личности. Всплески массового доверия неизбежно и быстро сменялись массовым разочарованием и поношением. Носитель верховного авторитета не мог стать ни «вождем» авторитарного типа, ни политическим лидером современного образца, он мог оставаться (или не оставаться) лишь кумиром – *символом* перемен или стабильности – в зависимости от сменяемости доминирующих функций. Выдвижение к концу 1998 года на первый план в политической жизни, равно как и в общественном мнении, такого деятеля как Е. Примаков – вполне закономерный итог эволюции лидерских функций в современном российском обществе: символический лидер больше не претендует в этот момент на статус могущественного вождя, а общество как будто признает приоритет его символически-стабилизирующей миссии.

Однако призраки революционных времен и соответствующих иллюзий продолжают, тем не менее, жить в привычных стереотипах массового сознания, а иногда и в поли-

тической публицистике. Согласно одному из опросов ВЦИОМ (октябрь 1998, N = 1600 человек), 7% опрошенных «вполне» соглашались, а 27% «скорее» соглашались, чем не соглашались с тем, что «в нынешней России могут повториться события, подобные революции октября 1917 года». Судя по составу ответивших подобным образом, это по преимуществу пожилые люди, доверяющие компартии, то есть сохраняющие какие-то стереотипы «революционного» мировосприятия.

Отголосок тех же, по существу, стереотипов можно видеть в опасениях (или ожиданиях), связанных и с массовыми социальными протестами; к этой теме мы подойдем несколько позже.

«Вынужденный» переход: некоторые особенности

Революционные, военные, колонизационные и подобные им или порождаемые ими катаклизмы последних двух столетий связаны с глобальным процессом *перехода* от традиционных к современным типам цивилизации (модернизационный переход). Причем, как отмечено выше, все эти катаклизмы не обязательные, а скорее осложняющие обстоятельства такого перехода. В различные периоды в разных странах особенности модернизационного перехода определялись влиянием внутренних и внешних факторов (к числу последних могли относиться колонизационные и оккупационные – сошлемся на пример Японии после 1945 года), масштабами и способами влияния модернизационных элит и так далее.

Как уже говорилось, в наших условиях роль проводника перемен с 1985 года была *вынуждена* взять верхушка старой партийно-государственной номенклатуры – ради спасения собственного статуса и в попытке сохранить позиции страны как мировой сверхдержавы; какую-то роль в этом, как обычно, играли амбиции нового (и последнего) поколения советской правящей элиты. В соперничестве с более консерватив-

ными аппаратчиками М. Горбачев *вынужден* был обратиться за поддержкой к демократической интеллигенции и западным политическим лидерам. Аналогичным образом позже Б. Ельцин в амбиционном соперничестве с Горбачевым в свою очередь *вынужден* был принять роль радикального разрушителя советского режима, призвать к власти «команду реформаторов» и так далее. Конечно, это весьма упрощенная схема (в частности, не принимающая в расчет вынужденные маневры, отступления, компромиссы, непоследовательности и прочие врожденные слабости-пороки «вынужденных» процессов и их участников).

Вынужденные перемены обычно совершаются «чужими» руками, то есть старыми институтами и людьми, чье положение и политическое воспитание не соответствует содержанию перемен. Как известно, почти вся «перестроечная» и «реформаторская» политическая элита – это, по преимуществу, партийно-политическая верхушка советского периода (ее более лабильная часть). Лидерами перемен (в основном символическими) *вынуждены* были становиться люди, умело следующие в фарватере происходящих процессов, при почти полном отсутствии ролей «впередсмотрящих» и прокладывающих путь.

Если на первых порах, в романтические годы ранней перестройки ее первые шаги казались легкими и успешными, то это происходило не из-за силы проводников перемен, а из-за слабости их противников, а точнее – глубокого разложения партийно-советского режима. *Вынужденной* (и, как выяснилось позже, поверхностной, номинальной) демократии противостоял *вырожденный* режим (включая идеологию, аппарат, влияние и прочее). Поражение произошло до появления на сцене «победителей». В дальнейшем за это пришлось долго и тяжело расплачиваться.

В определенном смысле вынужденность перемен говорит об их неизбежности; поэтому силы и деятели, далекие от симпатий к направлению перемен, вынуждены их призна-

вать, считаться с ними, пытаться их использовать и прочее. В частности, так можно характеризовать деятельность замыкающего 1998 год полукоммунистического по составу правительства, которому пришлось продолжать экономическую политику своих предшественников, например, представлять парламенту столь жесткий монетаристский бюджет, что его не решились бы отстаивать и реформаторские кабинеты.

«Врожденный» порок вынужденного процесса – его хаотичность, неуправляемость. Отсутствие порядка, о котором сожалеют решительно все политики, аналитики, равно как и респонденты массовых опросов, является на деле необходимым условием формирования определенного баланса разнородных тенденций, позволяющим избежать катастрофического распада общества. Конечно, такого рода механизм общественной самоорганизации малоэффективен, неизбежно приводит к большим потерям (экономическим, правовым, нравственным, – говорится об этом достаточно много); иной регулирующей системы в данной ситуации практически не существует.

Вынужденные перемены детерминированы не целенаправленной программой или хотя бы перспективой, а наличным коридором возможностей, поэтому движение выглядит как серия метаний от одной «стены» к другой, от «потолка» к «полу» и обратно. Социально-политическая ситуация после августа 1998 года дает едва ли не самый яркий образец именно такого вынужденного движения; это тоже своего рода кульминация аналогичных процессов последних лет.

Одно из необходимых условий «работы» всего механизма вынужденного развития – сложившаяся за последние годы система отношений власти (властвующей элиты) и массы населения, которая хорошо отслеживается через систематические опросы общественного мнения. Лишенная элементов принудительной мобилизации и идеологических соблазнов, эта система строится на взаимном отчуждении, на своего рода балансе терпения и протеста.

Амбивалентность протестного фактора

Массовое недовольство и массовый протест – очевидное обретение последнего десятилетия. В начале 1989 года исследования еще обнаруживали весьма высокий уровень традиционно-советского доверия населения по отношению к власти, крайне низкий уровень недовольства (о социальном протесте еще не могло быть и речи не только в ответах, но и в самих вопросах).

Однако уже летом 1991 года громадное большинство – 88% опрошенных – соглашается с тем, что люди «устали от политики».

Чрезвычайно быстро, примерно через два-три года «климат» общественного мнения как будто принципиально изменился: сложился устойчивый фон *недоверия* по отношению к институтам и носителям власти. В то же время опросы обнаруживают широкое распространение в обществе настроений социального *протеста* (мониторинговые показатели возможности массовых выступлений и готовности населения участвовать в них).

Отметим некоторые, уже упоминавшиеся ранее, черты и особенности динамики этих показателей. Высокий уровень недоверия по отношению к носителям и институтам власти очевидно не означает еще отрицания их авторитета или отказа в поддержке: достаточно сослаться на избрание в 1996 году президентом Б. Ельцина, имевшего и тогда довольно низкий уровень общественного доверия. Низкое доверие населения к политическим партиям в целом не мешает – пока – распределению массовых симпатий между партиями и движениями, а также намерению примерно половины избирателей принять в это время участие в предстоящих парламентских выборах по партийным спискам.

Исследования показывают заметный разрыв между показателями возможности массовых протестов и готовности участвовать в них только в момент резкого обострения соци-

ально-экономического кризиса в начале осени 1998 года. То есть оценки возможности выступлений в определенной мере – особенно среди населения крупных городов и более образованных групп – отражают и опасения, страх перед разрушительными последствиями таких выступлений. И одновременно уровни *реального* участия населения в массовых выступлениях значительно ниже уровня демонстративно заявленных намерений относительно такого участия. Наиболее наглядна такая разница в моменты чрезвычайной социальной напряженности и общенациональных акций протеста.

Весьма поучительной в этом плане оказалась ситуация вокруг всероссийской акции социального протеста, назначенной профсоюзами при активной поддержке коммунистов на 7 октября 1998 года, в самый напряженный момент финансово-экономического кризиса. Как известно, опасения относительно того, что запланированная демонстративная акция может превратиться в некое подобие «русского бунта», «социальной революции» или просто общественной катастрофы, не подтвердились.

Таблица 1

**Намерения и участие в акциях протеста
7 октября 1998 года
(в % от числа опрошенных)***

	До акции (намерен участвовать)	После акции (принимал участие)
Одобряю, но не намерен участвовать...	48	45
<i>Намерен участвовать (участвовал) в...</i>		
в приостановке работы на несколько часов	6	3**
в забастовке	6	
в митинге	14	7***

Продолжение табл. 1

	До акции (намерен участвовать)	После акции (принимал участие)
в уличном шествии, пикетировании	8	4
в захвате зданий, блокаде транспорта	2	0,2
в других действиях	1	1
Не одобряю этой акции	17	16
Затруднились ответить	10	24

* Исследования типа «Экспресс», сентябрь-октябрь 1998 (N = 1600 человек).

** Участие в забастовке или временной приостановке работы.

*** Участие в уличном митинге, демонстрации, пикетировании.

Как и предполагалось, уровень реального участия в акции протеста оказался значительно ниже уровня заявленного ранее намерения, практически никаких эксцессов не происходило, а влияние всей акции на социально-политическую обстановку и атмосферу оказалось малозаметным.

Какие факторы обесценивают социальное недовольство и массовые протесты в условиях тяжелых лишений и напряженной ситуации в обществе?

Прежде всего следует принять во внимание, что постоянное недовольство властью и устойчивость представлений о высокой вероятности массовых социальных протестов воздействуют на общественное мнение не как «событие», а как *общий* и даже «нормальный» *фон*. Наличие такого фона – как бы некоего универсального задника нашей социально-политической сцены, на которой разворачиваются собственно событийные акции, – ведет к тому, что не только перио-

дические спады-подъемы социально-политической или социально-экономической конъюнктуры, но даже экстраординарные катаклизмы (наподобие того же августа 1998 года) воспринимаются большинством населения как очередная неприятность, которую следует как-то выдержать, пережить, перетерпеть с большими или меньшими потерями.

Можно полагать, что постоянное присутствие пессимистического фона в общественных настроениях облегчает снижение требований (в социологической терминологии – уровня притязаний) человека к социальной системе. В то же время этот фон создает определенный барьер на пути распространения настроений катастрофизма, нередко свойственных «благополучному» социальному мировосприятию западного типа.

Но именно эта готовность снижать притязания и униженно (отнюдь не горделиво-стойчески) выносить очередные «свинцовые мерзости жизни» подрывает саму возможность организованного социального протеста современного типа, ориентированного на соблюдение гражданских и социальных прав человека в условиях правового общества. Если, например, забастовочные движения европейского или американского образца направлены на улучшение условий труда и социального обеспечения, то российские стачечники требуют всего лишь исполнения самых элементарных условий существующего и неисполняемого трудового договора (главным образом – выплаты задолженности по зарплате). Это действия не «за» более выгодные и льготные условия работы, а только «против» нарушения привычного порядка вещей.

Притом, как известно, такие акции имеют чаще всего довольно неопределенную, диффузную направленность. Бастуют и протестуют в России не столько против каких-то действий или бездействий работодателей, а против «верхов», требуют государственных выплат и гарантий. В принципе, право на забастовку – в отличие от других социальных и политических прав, появившихся за последние годы, – пользует-

ется невысокой общественной поддержкой. Летом 1998 года, в период обострения шахтерских протестов, заметное большинство поддержало самые отчаянные действия стачечников, включая блокаду железных дорог и долговременную демонстративную осаду правительственного Белого дома. Однако эти акции не получили практического продолжения – лишь небольшая часть опрошенных считала возможным их распространение; на деле этого не произошло.

В свою очередь, такой «ограниченно-негативистский» характер социального протеста, а также привычное неуважение к правам человека и работника, кроме того – традиции профсоюзной жизни советских времен препятствуют формированию организованного рабочего или профсоюзного движения в стране. И в то же время – способствуют использованию акций массового протеста для лоббирования отраслевых (угольных, энергетических) и местных интересов.

Российское общество цивилизационно переросло такое средство выхода общественного недовольства, как «русский бунт» (который, впрочем, и в старой отечественной истории встречался как довольно редкое, скорее как периферийное явление), и не доросло до современных форм организованных социальных движений. Если оставить в стороне пограничные ситуации и регионы этнополитических конфликтов, никаких взрывов «стихийного» возмущения за последние годы не происходило и, можно полагать, не ожидается. Высказывавшиеся в сентябре-октябре 1998 года опасения относительно того, что напряженная социальная ситуация может привести к неуправляемому массовому взрыву, цепной реакции эксцессов и тому подобному, раздувались искусственно. Можно было бы вспомнить, что в уходящем столетии страна пережила три периода чудовищного массового голода в крупных регионах (1921, 1933 и 1946 годы): правда, все это при жесточайшей диктатуре, исключавшей массовые волнения. Сейчас, как отмечено выше, иные условия на всех уровнях общественной пирамиды и иные факторы, лишаящие

подобные акции шансов на существование.

В заключение «протестной» темы еще один, привнесенный извне вопрос: почему социальные катаклизмы у нас не дали толчок к созданию социально-политического феномена типа польской «Солидарности» 1980 года? (В атмосфере опасений «бунта» осенью 1998 года никто ведь не допускал и малейшей возможности *такого* развития российских событий!) Ответ, видимо, следует искать в особенностях социально-политического и национально-политического развития двух стран. Появление и успех «Солидарности» в Польше стал возможен как итог длительной череды социально-политических кризисов и выступлений, имевших широкую национально-патриотическую основу; ничего подобного в России/СССР не было.

Слабость социального протеста (точнее, отсутствие организованных социальных движений за права человека и работника) порождает единственное действительно универсальное и эффективное стремление значительного большинства населения – приспособиться к переменной общественной ситуации. Здесь реальная, традиционная и получающая постоянное подкрепление основа легендарного российского всетерпения. Так что ничего удивительного в том, что наши опросы общественного мнения постоянно фиксируют тенденцию к адаптации как наиболее массовую и наиболее привычную, нет: «Средний» человек – основной предмет массового исследования – другого ориентира не имеет. Даже в условиях острейших кризисов и социальных катастроф. В годы самых тяжелых гражданских войн XX века, раскалывавших общества (в России, Испании, Мексике, Китае), в активном, заинтересованном противостоянии участвовало всего несколько процентов населения, большинство же стремилось выжить и адаптироваться к сложившейся ситуации. Конечно, условия и уровни адаптации оказывались при этом различными.

Уровни адаптации – «потребительской» и «статусной»

Проблема приспособления российского человека к изменившимся условиям возникла не в 1989 году, а несколько позже, после 1992-го, когда общество как будто в одночасье оказалось в новой – и весьма трудной – экономической ситуации.

Регулярные (с осени 1998 года) вопросы относительно уровней «потребительского» поведения позволяют отметить некоторые связи между представлениями об адаптации и характеристиками такого поведения.

В рамках обстоятельного исследования 1994 года («Советский человек»-2) нами была предпринята попытка выяснить соотношение «пассивного» и «активного» приспособления населения к социально-экономическим переменам. Согласно полученным (и опубликованным тогда) данным, чаще всего речь шла о пассивных, *понижающих* формах адаптации («умение вертеться» и тому подобное). Изучение потребительского поведения населения, особенно в последние месяцы 1998 года, показало общее снижение реального уровня массового потребления, объема нынешних и планируемых покупок, сбережений.

И в то же время сохраняется отмечавшееся ранее стремление большинства поддерживать «равнение на середину», ориентироваться на (субъективно воспринимаемый) «средний» уровень потребления, а также средние статусные позиции.

Согласно одному из опросов типа «Экспресс» (ноябрь 1998, N = 1600 человек), цели, которые ставят перед собой семьи, выглядят так:

Выжить, пусть на самом примитивном уровне существования	28
Жить не хуже, чем большинство семей в своем городе, районе	48

Жить лучше, чем большинство семей в своем городе, районе	12
Жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США	9
Жить лучше, чем живет средняя семья в Западной Европе, США	3

Тенденция не только «выжить», но «жить не хуже...» все еще действует в нашем обществе.

Довольно показательный механизм субъективной социальной адаптации обнаруживает динамика статусных позиций за ряд лет.

Таблица 2

Распределение статусных позиций
(в % от числа опрошенных)*

Время проведения опроса	Статусные позиции респондентов		
	высокие	средние	низкие
Декабрь 1989	11	66	20
Апрель 1994	11	58	27
Ноябрь 1994	9	63	22
Ноябрь 1995	7	62	24
Ноябрь 1996	11	62	24
Ноябрь 1997	12	64	24
Ноябрь 1998	6	61	33

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400). Приведены оценки респондентов относительно их собственного статуса. О методике построения показателей субъективных статусов см. с. 351 наст. изд.

При резком уменьшении верхней статусной группы (в два раза) и росте нижней группы (в полтора раза) численность «середины» в итоге почти не изменилась. Сохранение – в том чисто субъективное, то есть воображаемое – статусной «се-

редины» говорит о том, что в ситуации социальной неопределенности человек неизменно ищет точки стабилизации, позволяющие выдержать очередные перепады общего напряжения.

* * *

За прошедшее десятилетие существенно изменились самооценки, ожидания, опасения, надежды общества, выраженные в массовых опросах. Ориентации на туманное будущее сменились ориентациями на выживание в реальных, впрочем, также довольно туманных условиях. Доверие к инициаторам перемен уступило место поискам символических авторитетов стабильности и порядка. С самого начала перемены носили вынужденный характер, изменилась только мера очевидности этой фундаментальной характеристики нашей жизни. Как говорили в древности, *«желающих судьба ведет, нежелающих – тащит»* (volentem ducunt fata, nolentem trahunt).

«Мониторинг...» 1999. № 1

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ: ОЖИДАНИЯ, ОПАСЕНИЯ, РАМКИ (К социологии политического перехода)

Затяжной переход от «ельцинского» президентства к «путинскому» представлял собой довольно сложный и противоречивый социально-политический процесс, затрагивающий различные сферы, слои, механизмы общественной жизни. Сама сложность такого перехода давно может считаться некой отечественной традицией. Персонализация верховной власти при неразвитости формальных политических институтов в России неизменно, в течение нескольких столетий, приводила к тому, что смена «первых лиц» означала смену политических эпох, стилей и механизмов господства, состава и роли определенных групп влияния и так далее. Наиболее драматическими такие переходы были в XVIII–XX веках. В уходящем столетии ни один из российских и советских правителей не ушел в «положенный» срок, при гарантированных условиях преемственности. Каждый властный переход означал более или менее глубокую *трансформацию* властных механизмов.

В этом ряду происходящий переход может, видимо, считаться наиболее длительным (формально, с августа 1999 года по май 2000-го – почти точно пресловутые девять месяцев; на деле, видимо, гораздо дольше) и как будто лишенным внутривластной напряженности. Очевидно при этом, что соблюдение конституционных рамок и видимая бесконфликтность, даже фактическое отсутствие конкуренции, были обеспечены смещением решающих политических и программных дилемм в сфере неформальных межгрупповых и внутригрупповых отношений в коридорах или подземельях власти (отсюда и затяжной характер реальной передачи власти, далеко выходящий за формальные рамки – как в начале, так и в конце). И столь же очевидно, что внешне мирный

процесс смены «караула» в Кремле был гарантирован и стимулирован широкими и ожесточенными военными действиями на Северном Кавказе. Да и тревожная неопределенность принципиального политического курса верховной власти на всем протяжении «переходных» месяцев показывает, насколько неустойчивыми и расплывчатыми оказались сами рамки социально-допустимых действий, предусмотренных конституционными статьями и традициями постсоветских лет.

Властный переход 1999–2000 годов стал трудным испытанием для всей хрупкой институциональной системы, которая стала складываться в России после 1991 года. И в том числе – испытанием на прочность демократических тенденций общественного мнения. Ведь ни один из происходивших ранее процессов передачи властных полномочий в нашей стране не был отмечен таким официальным и неофициальным вниманием к общественному мнению, причем не столько даже к соответствующим исследованиям, сколько к направленному воздействию с целью формирования (или разрушения) определенных его тенденций.

С начала осени 1999 года наблюдаются четыре взаимосвязанных направления трансформации общественных настроений и симпатий: во-первых, формирование массовой поддержки неизвестному ранее деятелю, во-вторых, кардинальная переоценка военно-чеченской кампании, в-третьих, создание социальной базы для бюрократического блока «Единство», в-четвертых, разрушение аналогичной базы для столь же бюрократического блока «Отечество – Вся Россия» и дискредитация его лидеров. Все они обеспечивались беспрецедентным и беспредельным давлением правительственных телеканалов. В отличие от президентской избирательной кампании 1996 года в данном случае требовалось – и достигалось – не воспоминание о славном прошлом, а демонстративное отрицание его, противопоставление стилю и насле-

дию прошлого, конструирование симпатий как бы с нулевого уровня.

Накопившийся за ряд лет груз разочарований и унижений позволил провести своего рода «переворот» в общественном мнении. «Назначенный» уходящим президентом преемник был воспринят и утвердился как контрастная фигура по отношению к своему предшественнику. Публично (и почти официально) проклинаясь еще весной 1999 года чеченская кампания была осенью того же года наделена ореолом героической или, по меньшей мере, необходимой акции.

Одновременно сменился и сценарий действия на российской политической сцене: утратило значение противостояние власти и компартии, произошла переоценка роли «правых».

Как и любой кризисный перелом, затянувшийся переход властных функций обнажает скрытые механизмы реализации таких функций – групповых («семейных») и «олигархических» структур влияния, ограниченность роли формальных институтов (партий, парламента, прессы). И, разумеется, роли общественного мнения как социального института.

В этих условиях систематические исследования общественного мнения оказались востребованными в невиданных ранее масштабах. Технологические приемы проведения массовых опросов к этому времени были освоены многими фирмами и, как подтвердили результаты выборов 1999 и 2000 годов, полученные данные оказались достаточно надежными. (Кстати, если в предыдущем избирательном цикле 1995–1996 годов шумная критика в печати – отчасти имевшая чисто рекламное значение – обвиняла организаторов опросов главным образом в ангажированности, ненадежности, фальсификации данных и тому подобном, то в недавней ситуации «антисоциологическая» кампания была значительно слабее и направлена преимущественно против вредоносного влияния публикаций рейтингов на общественное мнение.) На первый план выступили проблемы, относящиеся не к технологии, а к *социологии* изучения общественного мнения: по-

нимание специфических функций общественного мнения в новой переходной ситуации, факторов и пределов направленного влияния на отдельные его слои и «болевые точки» и так далее.

Затянувшееся прощание с уходящей эпохой

Характерный для периода президентства Б. Ельцина механизм и стиль правления – импульсивные порывы, перемежающиеся длительным бездействием, опора на узкий круг постоянно меняющихся лиц, невыполнимые популистские обещания и прочее – стал вызывать явное отторжение в общественном мнении уже с конца 1993 года. Попытки поддержать падающее доверие к верховной власти с помощью «маленькой победоносной войны» (какой представлялась поначалу чеченская кампания 1994–1996 годов ее организаторам) или периодических угроз в отношении коммунистов (запрет партии, ликвидация мавзолея и тому подобное) не могли принести успеха. Вынужденное в условиях искусственно раздутой общественной конфронтации голосование в пользу Ельцина на президентских выборах 1996 года означало не столько возвращение доверия к лидеру, теряющему бразды правления, сколько надежду на сохранение хотя бы некоторого порядка в стране (и отрицание «красного реванша»). Буквально на следующий день после выборов общественное мнение отворачивается от новоизбранного старого президента; против него работают и невыполнение предвыборных обещаний, и неудача чеченской кампании, и собственная тяжелая болезнь.

Персонализация верховной власти в фигуре президента сделала Б. Ельцина в глазах общественного мнения главным виновником всех экономических, политических и военных неудач, выпавших на долю страны и населения. Решающий удар по его престижу нанес финансовый кризис августа 1998 года.

Предпринятая Государственной Думой в мае 1999 года попытка отстранения президента была активно поддержана большинством населения. Неудача парламентского импичмента не изменила расстановки мнений в обществе относительно возможного ухода Б. Ельцина со своего поста: более 60% опрошенных полагало, что президент должен покинуть свой пост.

В отличие от радикальных парламентариев (не составлявших, впрочем, необходимого конституционного большинства в Думе) общественное мнение не имело никаких рычагов влияния на действующего президента и потому готово было заранее признавать неэффективность своих оценок и невозможность реального отстранения Ельцина от власти; неконституционные и тем более насильственные средства отстранения президента не находили серьезной поддержки.

«Народный» импичмент Ельцина, несомненно, сыграл важнейшую роль в довольно быстром одобрении общественным мнением В. Путина как наследника президентской власти (примерно в октябре 1999 года, в обстановке воинственно-патриотической консолидации), а затем и досрочного ухода Ельцина с поста президента 31 декабря. Это не значит, что Ельцин ушел под «нажимом» общественного мнения: просто падение его непопулярности было использовано для внутригрупповых и внутриаппаратных «разборок» – того единственного механизма, который обеспечивает реальные политические сдвиги в нынешней ситуации. По всей видимости, постоянная смена премьеров-«наследников» с начала 1998 года отражала растущее отторжение носителя президентской власти основными влиятельными группировками – олигархическим капиталом, «силовыми» верхами и собственным аппаратом.

Очевидно, что только при характерном для Ельцина стиле авторитарного своеволия были возможны такие «нештатные» ситуации как, например, нажим на компартию, неожиданные рывки в кадровой и во внешней политике, прекраще-

ние (или развязывание) военной акции на Кавказе и тому подобное.

Сообщение о досрочной отставке Б. Ельцина восхитило 11% опрошенных, удовлетворило 51, удивило 27, вызвало сожаление у 4, недоумение у 6, возмущение у 1, тревогу у 4 и не вызвало никаких особых переживаний у 12%. После того, как бывший глава государства попросил у граждан прощения в связи с тем, что не вполне оправдал их ожидания, свое отношение к нему улучшили 27% этих граждан, ухудшили только 5%; общий баланс мнений остался резко отрицательным. В январе 2000 года в ходе исследования «Экспресс» (N = 1600 человек) респондентам задавался вопрос «*Что принесли годы правления Б. Ельцина?*». Вот каково мнение населения страны по этому поводу (в процентах от числа опрошенных, допускалась возможность отмечать несколько позиций):

а) хорошего

<i>Ничего хорошего</i>	45
Демократия, политические свободы	23
Преодоление дефицита, карточек, очередей	16
Возрождение частной собственности	13
Свобода действий для энергичных людей	12
Отстранение коммунистов от власти	10
Разрушение тоталитарной системы	7
Улучшение отношений с Западом	7
Надежда на возрождение России	5
Улучшение качества товаров и услуг	4
Устранение угрозы новой мировой войны	3

б) плохого

Экономический кризис	40
Массовая безработица	36
Ухудшение условий жизни	34
Чеченская война 1994–1996 годов	34

Инфляция, обесценение сбережений	32
Распад СССР	30
Расхищение богатств страны	28
Рост преступности	28
Задержки зарплат	26
Распад систем государственного образования, здравоохранения	19
Политическая нестабильность	16
Неуверенность в завтрашнем дне	15
Казнокрадство	15
Утрата Россией статуса великой державы	11
Засилье иностранцев	7
<i>Ничего плохого</i>	2

Конечно, перед нами скорее непосредственная эмоциональная реакция, чем взвешенная оценка уходящей политической эпохи. Возможно, в дальнейшем распределение акцентов несколько изменится. Отметим, что главные упреки правлению Ельцина связаны с экономическим положением страны и населения, чеченской войной 1994–1996 годов и распадом СССР. Национально-престижные поражения на последних местах в списке. Позитивные результаты отмечаются значительно реже, причем даже разрыв с коммунистической системой оценивается довольно сдержанно. (На восприятии чеченской проблемы придется остановиться специально несколько ниже.)

Незначительное внимание к такой бросающейся в глаза черте деятельности Б. Ельцина, как демонстративный антикоммунизм – явление весьма примечательное. Декларативное, часто импульсивное, не подкрепленное ни глубиной критики, ни последовательностью действий отрицание предшествующей системы служило главным средством самоутверждения уходящей эпохи. Использовалось оно, особенно в критические моменты, значительно чаще, чем, например, призывы к созданию демократического строя, вклю-

чению в современную цивилизацию и тому подобное. В значительной мере это было связано с политической биографией и стилем публичного поведения Ельцина. Потенциал демонстративного антикоммунизма был исчерпан довольно давно, что показали уже выборы 1995–1996 годов. Согласно данным ряда опросов последних лет отношение населения к коммунистическому прошлому заметно улучшилось (особенно к брежневскому «застою»), даже одиозная в целом фигура Сталина стала восприниматься менее критично. Время затягивает старые, даже недолеченные раны, молодые поколения не представляют атмосферы всеобщего террора и вспоминают Сталина прежде всего как кумира победы 1945 года. Новое поколение лидеров, символизируемое сейчас В. Путиным, практически свободно от «антикоммунистического» груза, ищет иные способы самоутверждения и потому гораздо более открыто для практических и идеологических компромиссов с силами или символами прошлого. Остающиеся препятствия для реванша носят иной, более прагматический характер.

Общественное мнение нелепо упрекать в незнании закулисных механизмов власти; оно оценивает лишь то, что ему доступно (или что ему показывают), и чаще всего – то, что оно хотело бы видеть. При этом оно нередко достаточно четко воспринимает какие-то принципиальные, решающие связи и соотношения. Например, данные опросов позволяют утверждать, что уход с политической сцены Б. Ельцина воспринимается людьми не как смена лиц (урочная или досрочная – не столь важно), а как признак окончания определенной политической эпохи в жизни страны, характеризующейся своим набором проблем и своим стилем их решения. Поэтому на первое место в оценке отставки президента выходят не характеристики личностей, а представления о том, как же заканчивается – или все еще длится – эта затянувшаяся эпоха. И поэтому каждому наследнику власти приходится решать вопрос о том, как он будет представлен в глазах публики – то

ли как «верный ученик и продолжатель дела...», то ли как решительный обличитель и критик полученного наследия. Как известно из всей истории уходящего века каждый раз довольно быстро принимался и становился популярным второй, «контрастный» вариант, который, впрочем, непременно оказывался в чем-то искусственным, слабым.

Параметры ожиданий

Одна из особенностей нового этапа и нового лидера – их «долгожданность». («Ты в сновиденьях мне являлся, незримый, ты мне был уж мил...» – это как бы формула «женского» типа ожиданий, схема которого вновь сработала: ожидание–неизвестность–жертва.) А вот Б. Ельцин, М. Горбачев, Н. Хрущев, В. Ленин – деятели, которых «не ждали», которые навязывали стране нечто иное и непривычное.

От «законного» преемника Ельцина (то есть от Кириенко–Примакова–Степашина–Путина) меньше всего ожидали реставрации советской системы. Ожидания носили преимущественно стабилизационный характер: политическая элита надеялась на изменение стиля управления, масса – на снижение цен и уровня безработицы, те и другие мечтали о «наведении порядка».

Массовые *экономические ожидания* неизбежно и повсеместно носят популистский характер по своему содержанию и патерналистский по средствам их осуществления. Отсюда – постоянно повторяющиеся пожелания государственного контроля над ценами и экономикой в целом.

Подавляющее большинство населения считает, что проиграло от изменения экономической системы. При этом около 70% респондентов полагают, что уже приспособились или вскоре приспособятся к происшедшим переменам. Но значительная часть предпочла бы все же иные, «социально направленные» преобразования. В этих «трех соснах» неизменно и безысходно блуждают массовые экономические

предпочтения последних лет.

Естественным дополнением служат публичные поиски тех, «кто виноват» в сложившейся ситуации (преобладающий до последнего времени вариант ответа: Ельцин). Признаки экономического оживления 1999–2000 годов добавили новый вариант постановки этой вечной проблемы общественного мнения – вопрос о том, кому поставить в заслугу эту тенденцию. Первым претендентом был, как известно, Е. Примаков, но сейчас – по крайней мере, на какое-то время – лавры достаются В. Путину.

Что же касается массовых *политических ожиданий*, то здесь уже достаточно давно на первом плане – требование «порядка». При всякой постановке перед общественным мнением дилеммы «демократия или порядок» порядок неизменно одерживал верх.

Довольно легко и давно соглашается общественное мнение с тем, что материальное благополучие должно предшествовать демократии (в духе известного тезиса Великого Инквизитора у Достоевского: «сначала накорми, а потом спрашивай с них справедливости»).

Таблица 1

«Согласны ли Вы с тем, что прежде нужно добиться материального благополучия, а уже потом думать о демократии?»

*(в % от числа опрошенных)**

Варианты ответа	1995	1996	1997	1998
Согласен**	78	79	83	85
Не согласен***	17	14	11	11
Затруднились ответить	5	7	6	4

* *Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек).*

** *Сумма позиций «совершенно согласен» и «скорее согласен».*

*** *Сумма позиций «скорее не согласен» и «совершенно не согласен».*

Динамика здесь не слишком заметна, но тенденция очевидна: с годами позиции сторонников приоритета демократии ослабевают.

И наконец, проблема «сильного лидера».

Таблица 2

«Согласны ли Вы с тем, что сильный лидер может дать стране больше, чем самые хорошие законы?»
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	1995	1997	1998	1999
Согласен**	66	72	78	76
Не согласен***	24	20	21	15
Затруднились ответить	10	8	11	9

* Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек).

** Сумма позиций «совершенно согласен» и «скорее согласен».

*** Сумма позиций «скорее не согласен» и «совершенно не согласен».

Поддержка сильного лидера достигает максимума в смутном 1998 году, несогласие с этой позицией уменьшается из года в год.

Конечно, само по себе распределение позиций внутри общественного мнения – это пока лишь пьедестал для имиджа вождя фаворита, но еще не реальная опора его власти и не рычаг для совершения определенных действий.

В общем, ожидания в отношении нового правления сводятся к конструированию некоего гибрида (или химеры?) более жесткой политики и относительно либеральной экономики. Жизнеспособность такой конструкции в конкретных российских условиях остается сомнительной, а опасность для либеральных политиков, бросающихся в объятия власти с диктаторскими замашками, – несомненна.

Зримые и незримые компоненты очередного «перехода»

В апреле 2000 года, через месяц после президентских выборов, две трети опрошенных (66%) признали, что довольно мало знают о В. Путине. (Из голосовавших за него 48% отметили, что мало знают о человеке, которому только что вверили судьбу страны.) В этом признании присутствует значительная доля истины и, одновременно, немалая доля привычного, утешительного лукавства.

Действительно, ни будущий президент, ни исполняющий обязанности, ни избранный президент, ни вступивший официально в свою должность президент – то есть Путин на всех этапах своего продвижения – не раскрыл реальных направлений своей будущей деятельности. Это обстоятельство постоянно ставило в тупик общественное мнение.

В предвыборные месяцы относительное большинство опрошенных полагало, что претенденту все же следовало бы обнародовать какую-то программу. Однако избирательной поддержке В. Путина отсутствие программы не помешало, а возможно и помогло. Тем самым вновь было подтверждено, что в нашем обществе никакие программы, обещания и декларации не принимаются всерьез.

Более того, кажущаяся неизвестность будущего президента стала важнейшим ресурсом массовой надежды на него: отсутствие знаний открывает возможности массового воображения, склонного наделять фаворита самыми желанными чертами.

В то же время мучительным для общественного мнения с самого начала переходного процесса был вопрос, остается ли при власти «старая» группа влияния на президентские решения («Семья», «ближайшее окружение»). Все девять месяцев опросы показывали сомнения и (довольно робкие) надежды на смену верховной группы давления. К концу формального перехода – окрепшее подозрение: практически ничего не изменилось. Уже после выборов, в апреле 2000 года 57% оп-

рошенных соглашались с тем, что власть в стране осталась в руках тех же людей, у которых она была при Ельцине. Получается, что по меньшей мере в этом огромной важности вопросе общественное мнение лукавило с самим собой, допуская, что новый президент по каким-то причинам просто скрывает, придерживает до какого-то момента новое направление своей деятельности, – достаточно хорошо зная или подозревая при этом, что «короля» играет старая свита...

Лозунг и смысл «стабилизации»

Стала как будто общепринятой характеристика наступающей (все еще не наступившей, но условно «послеельцинской») эпохи как стабилизационной, по крайней мере, по намерениям нового поколения лидеров и по общественным настроениям. Вопрос в том, кто и что именно хотел бы стабилизировать и, главное, каковы шансы на то, что это удастся.

Общественное мнение в последние годы неизменно ставит на первые места в перечне идей, вокруг которых можно было бы консолидировать страну, «стабильность» и «порядок». Население устало от неопределенности и неожиданных поворотов (неизменно ухудшавших положение простого человека). Не меньше жаждут порядка и спокойствия – при сохранении достигнутого статуса и доступа к ресурсам власти! – новые политические и хозяйственные элиты. На политической арене, даже на политическом горизонте, не видно сил, реально заинтересованных в каких-то бурных потрясениях и переделах. (Это относится также к депутатам и губернаторам от компартии; экстремистские группы и в этой среде явно утратили влияние.)

«Общий знаменатель» стабилизации, приемлемой для различных общественных слоев и сил, сводится к тому, чтобы сохранить (возможно, частично) достигнутый после 1991 года результат социальных и политических переделов, по-

жертвовав, при необходимости, некоторыми их «излишествами».

Возникающие в этой связи исторические аналогии самоочевидны: политологи упоминают и французский «термидор» 1794 года и брежневский «застой» после 1964-го. В обоих случаях довольно легко сравнивать «стабилизирующие» намерения, гораздо труднее – реальные силы и, тем паче, реальные последствия. «Термидор» привел не к стабильности, а к долгим десятилетиям переворотов, войн и прочих потрясений. Сравнения с «застоем» кажутся более содержательными, но тоже не выдерживают критики. Переход от импульсивного периода «бури и натиска» хрущевского образца к относительно спокойной эпохе «застоя» был обеспечен сохранением прежних партийного и государственного (в том числе репрессивного) аппаратов, экономической системы, сателлитарной межгосударственной организации, монопольно господствующей идеологии. Все эти структуры долгое время представлялись окрепшими после избавления от «излишеств» двух предыдущих эпох; на деле происходило их замедленное разложение. Нестабильность была не преодолена, но лишь сдвинута к периферии общества (борьба с «отдельными отщепенцами», репрессивные операции на непокорных окраинах и прочее.).

Сейчас ситуация принципиально иная. «Стабилизирующие» системы отсутствуют. Нетрудно отметить – как это делает нынешний президент – «разболтанность и расхлябанность» всего государственного механизма, труднее найти желанные рычаги и точки опоры, чтобы восстановить или создать желаемый порядок.

Проще всего, разумеется, предположить (проследив за развитием ситуации в переходные месяцы), от каких именно «излишеств» попытаются отказаться власти под лозунгом стабилизации.

В их число попадают прежде всего, некоторые «избыточные», не востребуемые сейчас свободы – от свобод для ре-

гионов и губернаторов до свободы слова и прав человека. Положение упомянутых позиций в списке потенциальных «лишенцев» принципиально различно: за свои свободы и привилегии местные власти будут, скорее всего, вести напряженные торги и борьбу с центром, за свободу слова и права человека при нынешней расстановке политических сил бороться практически некому и незачем. Правда, и прямой отказ от политических свобод общественное мнение также не готово одобрить.

Большинство никогда и нигде не может быть самостоятельным защитником прав меньшинства и, в конечном счете, отдельного человека, если нет активных демократических сил (движений, партий, лидеров), способных отстаивать такие права. В 90-е годы такие силы все же были заметны, и, что главное, в противостоянии с коммунистическим прошлым власть – при всех своих автократических склонностях – вынуждена была время от времени апеллировать к демократическим символам и ценностям. «Стабилизационная» власть, если и использует подобные апелляции, то скорее всего для демонстрации практического обесценения бывшего политического многообразия под лозунгами консолидации «всех», от сталинистов и гекачепистов до нынешних патриотов и олигархов.

Далее на очереди – общегражданские права и конституционная законность. Принятая в опросах последних лет позиция «соблюдение порядка и законности» теряет смысл, когда «порядок» опирается на незаконное использование силы. Наглядный пример этому – используемый способ наведения порядка в мятежной Чечне, оказывающий все более сильное влияние на общероссийские политические процессы и на состояние общественных настроений. Одна из важнейших опор поддержки населением новых властных структур – сложившаяся в недавние годы тенденция одобрения ужесточения наказаний и бессудных расправ с «опасными» элементами.

И разумеется, излишней оказывается недоразвитая – а точнее, всего лишь наметившаяся за десяток лет – многопартийность со всеми ее политическими конфликтами, парламентской борьбой и так далее. Гораздо более удобной и эффективной для нужд стабилизации выглядит «управляемая» демократия – контролируемый исполнительный властью парламент, доминирующая «государственная» партия при неэффективной или мнимой оппозиции. И конечно, чуть ли не безграничные возможности для «технологического» манипулирования общественным мнением.

В такой ситуации демократические свободы не востребованы, не вынуждены (как было при Горбачеве и Ельцине), они лишь допустимы – в определенных рамках. Скажем, так охотно упоминаемая свобода слова воинственно-оппозиционных патриотов из газет типа «Завтра» (а также изданий неонацистов, антисемитов и тому подобных) – терпима, поскольку действует на ограниченную аудиторию и не представляет реальной опасности для массовой опоры власти. Зато нетерпимой и преследуемой оказывается даже довольно осторожная попытка представить в широкой печати или на телевидении критическую позицию по тому же большому чеченскому вопросу. Стоит вспомнить, что знаменитое единомыслие (с «единодушной поддержкой», соответствующими голосованиями и нравами) устанавливалось в свое время в беспощадной борьбе прежде всего со «своими», отклонившимися от единственно правильной линии.

Значительно сложнее представить общественному мнению, какая сила и каким образом могла бы на деле провести в стране столь желанное упорядочение. Точнее, до последнего времени, это было трудным. За переходные месяцы обозначились – и в том или ином виде были представлены обществу – три составные части или три фактора такого процесса:

- силовые структуры как кадровый ресурс и социальный фактор,

- энергичный и решительный лидер,
- локальная внутренняя война как средство динамизации положения в стране.

Попытаемся на основании имеющихся данных оценить отношение общественного мнения к этим факторам.

Опасения и надежды на силовые структуры

Переходная ситуация с двух сторон сразу обострила внимание к роли военных и спецслужбовских структур в общественной жизни страны: с одной стороны, ФСБ снова предстает как кузница руководящих кадров (нового президента и части его кружения), с другой – прямое и значительное влияние на общество оказывают действия и амбиции военного командования и военных структур (армейских, МВД и других), участвующих в чеченском конфликте. Серьезное значение для состояния общества имеют процессы, происходящие в действующих вооруженных силах, декларированные некоторыми политиками надежды на «возрождение» армии или наблюдаемые тенденции деградации ее личного состава, ожесточение, развитие «чеченского синдрома», аналогичного «афганскому» и прочее.

Как показывают исследования, сама по себе длительная связь В. Путина с «органами» вызывает беспокойство у сравнительно небольшой части опрошенных – менее чем у четверти. Образ органов НКВД и КГБ как самостоятельного субъекта карательного насилия – созданный, кстати, для самооправдания партийным руководством еще при Сталине, если не ранее, а потом активно использовавшийся в аналогичных целях уже Хрущевым – практически полностью утратил свою силу.

Обращение к кадровым ресурсам отечественных спецслужб – характерный признак практически всех происшедших или намечавшихся трансформаций в высшем руководстве с 1953 года. Достаточно вспомнить череду претенден-

тов на лидерство в различных ситуациях: Берия, Шелепин, Андропов, Бакатин, Крючков (ныне восстановленный в почете реальный лидер ГКЧП), а далее уже «сплошной» ряд Степашин–Примаков–Путин. К тому же обстановка изоляции первых лиц постоянно приводила к тому, что ближайшим советником у них оказывались собственные охранники (Коржаков...).

Тенденция, очевидно, требует объяснения. Скорее всего, имело значение особое положение «органов» внутри партийных структур (некое подобие «внутренней партии» в терминологии Дж. Оруэлла) как вооруженной партийной гвардии, обладающей правами надзора за всеми кадрами и организациями и – по легендам – не причастной ко всепроникающей коррупции, в том числе нравственной. В данном случае не столь важно, в какой мере это особое положение питало надежды правящей верхушки на «спасителя», а в какой – амбиции очередного претендента на эту роль. Разложение и распад практически всех «зримых» партийно-государственных структур как будто меньше затронули их «подводную», наиболее удаленную от публичных оценок часть; отсюда довольно широко распространенные иллюзии относительно сохранности организационного (а то и реставрационного) потенциала на каком-то потаенном уровне.

Практика последнего десятилетия (по крайней мере, до второй чеченской войны) основательно развеяла иллюзии такого рода. Вне партийно-государственной монополии власти никакие спецслужбы не смогли или не пытались играть сколько-нибудь активную роль в происходящих событиях.

Поэтому можно предположить, что «органы» выступают в качестве поставщика кадров высшего эшелона скорее всего потому, что они до последнего времени оставались школой профессиональных службистов, аккуратных карьерных функционеров среднего уровня – как бы слабого аналога «рациональной бюрократии», представленной в работах М. Вебера. А то, что люди такой квалификации и такого

уровня оказываются востребованными на высшие роли, связано уже с неразвитостью цивилизованной политической структуры в России, где обычные для западных стран каналы продвижения местных или партийных лидеров на государственные высоты не сложились, перекрыты конфликтами и тому подобное. (Разумеется, это относится к постсоветской ситуации, после разрушения партийного кадрового «лифта».)

В то же время установилась власть, которая вынуждена открыто искать опоры в «силовых» структурах. Причем не столько для решения собственно «силовых» проблем (пресечения агрессии, преступных действий), а для укрепления своего влияния на общество в целом, на страну. Общественное мнение то же не имеет на счет этого иллюзий. Исследование типа «Экспресс», проведенное в апреле 2000 года (N = 1600 человек), показало следующее распределение ответов на вопрос «*На какие силы, по Вашему мнению, будет опираться В. Путин?*» (в % от числа опрошенных):

Военные, МВД, ФСБ	52
Губернаторы, политическая элита	40
Олигархи, крупный бизнес	25
Директора крупных предприятий	17
Государственные чиновники	12
Простые люди	12
Специалисты	11
Средний класс	10
Культурная и научная элита	9
Весь народ	6

«Силовики», как видим, представляются многим основной опорой нового президента; одних это беспокоит или пугает, других – обнадеживает. Стоит поэтому оценить различные сценарии ситуации под силовым влиянием.

Самый известный в нашей истории – это, конечно, сценарий «большого террора», массового страха, покорности и до-

носительства 30–50-х годов. Именно тогда важнейшей опорой партийно-государственной власти были те, которых сейчас относят к спецслужбам. Даже если бы эти органы обладали сегодня таким же влиянием и привилегиями, трудно представить, чтобы можно было запугать население новыми версиями вездесущих «врагов народа», «террористов» и пр. Для этого требовались условия, которые невозпроизводимы.

Международные («чилийские» и прочие) аналогии многократно вынуждали ставить вопрос о возможности «диктатуры, опирающейся на армию, ФСБ и МВД». В марте 2000 года около 40% опрошенных выразили согласие (11% – полностью и 28 – в основном) с тем, что единственным выходом для страны является жесткая диктатура; 60% с этим не согласились. Значительно реже получал поддержку вариант передачи власти армии: его склонны были поддержать лишь 15 против 85% респондентов. Возможность того, что военную диктатуру установит сам Путин беспокоила несколько более трети населения (34% в январе, 36 – в апреле).

«Классические», отработанные историей «силовые» сценарии представляются весьма мало реальными – конечно, не из-за недоверия общественного мнения, а из-за отсутствия необходимых условий.

Более реален иной сценарий – локальные силовые акции как повод для создания атмосферы страха и оправдание ужесточения режима. Собственно, развертывание примерно такого сценария на «чеченской» базе мы наблюдаем с осени 1999 года. Это не напрямую диктатура силовиков и, разумеется, не «диктатура закона», а скорее «диктатура страха», открывающего дорогу насилию, в том числе под «антитеррористическим» флагом. Как возможности, так и рамки и противоречия такого сценария в современной российской обстановке стали очевидными за ряд месяцев его фактического осуществления.

И наконец, также ограниченный и также опробованный сценарий прямого давления военных структур (высшего и

оперативного командования) на государственную политику. Этот вариант в определенной мере опробован в конфликтных ситуациях последнего времени – от нашумевшего «броска» десантников в Косово до выдвижения военной верхушкой политических требований (относительно наступления и переговоров) в связи с положением в Чечне.

Люди и обстоятельства: параметры личных характеристик

В ряду контрастов нынешнего политического перехода, как они воспринимаются общественным мнением, существенную роль играет противопоставление личных особенностей и стилей ушедшего и вступившего в должность президентов.

Вот как воспринимались обществом (в апреле 2000 года, после выборов) характерные черты ушедшего и заступившего на пост президентов России.

Таблица 3

**«Какие из перечисленных качеств, по Вашему мнению,
в наибольшей степени свойственны...»**
*(в % от числа опрошенных, давших содержательный ответ,
по столбцу)**

Качества	Б. Ельцину	В. Путину
Четкая, последовательная политическая линия	6	20
Профессиональные, интеллектуальные качества	7	25
Государственный подход к решению проблем	7	24
Опыт хозяйственной деятельности	18	5
Опыт политической деятельности	28	12
Сдержанность, рассудительность	9	59
Активность, энергичность	6	51

Продолжение табл. 3

Качества	Б. Ельцину	В. Путину
Волевые качества, мужественность	15	46
Независимость	13	12
Честность, порядочность	4	17
Личное обаяние	6	26
Умение связно излагать свои мысли	3	33
Открытость, доступность	4	9
Уважительное отношение к простым людям	3	11
Гибкость, способность к компромиссам	7	9
Стремление к порядку и законности	4	28
Бескорыстность	3	4
Готовность защищать интересы простых людей	3	11
Культура, образованность	4	20
Другое	7	1
Ничего из этого, затрудняюсь ответить	60	16

* Исследование типа «Экспресс», апрель 2000 (N = 1600 человек).

Очевидно, что полученные списки качеств прежде всего отображают эмоциональное и в значительной мере конъюнктурное противопоставление «позитива» Путина «негативу» Ельцина. Наиболее резкий контраст возникает при характеристике таких качеств, как энергичность, решительность, рассудительность, умение говорить и стремление к порядку, – все это не требует объяснений. Тем важнее обратить внимание на те немногие позиции, где определенные оценки (частота упоминаний) Ельцина выше, чем у его преемника, или близка к ним. Опрошенные значительно чаще приписывают Ельцину опыт хозяйственной и политической деятельности. Практически одинаково редки оценки бескорыстности

обоих деятелей и мало отличаются оценки их гибкости, способности (точнее, неспособности) к компромиссам. Невысоки и мало отличаются мнения относительно открытости, доступности обоих лидеров.

Прямолинейное сравнение личностных масштабов Путина и Ельцина (а также, например, Горбачева и других прошлых лидеров) не вполне корректно без учета обстоятельств, в которых им приходилось действовать. В период «бури и натиска» на первых порах общественному мнению не случайно импонировала фигура Ельцина как радикального – по крайней мере, демонстративно – разрушителя отвергаемой общественной системы, противопоставлявшаяся фигуре «нерешительного» и «компромиссного» реформатора Горбачева. Демонстративная решительность намерений и сформировала в общественном мнении (как отечественном, так и в международном, скорее даже именно в последнем) габариты восприятия Ельцина, подкрепляемые его собственным «царственным» стилем. Даже примитивность расчетов и импульсивность действий этого лидера могли до поры до времени служить ресурсом его массовой поддержки. С этим стилем были связаны и черты личной харизмы Ельцина в общественном восприятии (речь идет о вторичной или наведенной харизме, определившейся в период пребывания у власти и с помощью властных механизмов). Эпоха стабилизации, естественно, нуждается в деятелях другого типа, причем и масштаб их должен измеряться иной мерой. Как это бывало не раз, «немудрое мира» призвано успокаивать и упорядочивать последствия исторических бурь и завихрений.

Стабилизационные, «выравнивающие» периоды нуждаются в деятелях (или имиджах деятелей), которые максимально приближены к образцам и масштабам «среднего», «простого» человека. Это можно было видеть и при «брежневской» попытке стабилизировать советскую систему.

Впрочем, характеристики содержания любых эпох всегда в какой-то мере условны (идеально типичны), не учитывают

всего реального своеобразия событий и действий. Тем более, если такие характеристики относятся к только что обозначившемуся периоду. Время покажет, какие акции, заявленные или признанные в качестве стабилизирующих, действительно и в какой мере станут таковыми, а какие будут иметь и прямо противоположные последствия.

Массовое восприятие В. Путина как энергичного и решительного деятеля связано преимущественно с его стремлением любой ценой подавить чеченский мятеж, а также с его постоянно демонстрируемыми подвижностью, бойкостью речи и так далее. Эти особенности нового лидера буквально ошеломили общественное мнение с первых недель появления Путина на посту премьер-министра. В дальнейшем чисто эмоциональное восприятие в определенной мере входит в привычку, отчасти осмысливается в свете накопленного опыта. На протяжении «переходных» месяцев в общественном мнении утвердилось представление о Путине как «безальтернативном» новом лидере. Это нашло свое выражение в предвыборных рейтингах и ожиданиях.

Создалась, таким образом, ситуация безальтернативности, то есть отсутствия реального выбора, отчасти напоминающая ту, что существовала в эпоху партийно-советской монополии. И тогдашнее единогласие («99% за...»), и приписываемая ему эмоциональная окраска («энтузиазм», «любимый вождь» и прочее), и господствовавшая практически всеобщая привычка к такому положению – связаны с этим отсутствием альтернативы.

Ресурсы доверия населения к Путину питаются не столько эмоциональными оценками и тем более не рациональным анализом его действий, сколько тем же представлением об отсутствии иного выбора.

Ресурсы и последствия «агрессивной» мобилизации

Если в прошлом избирательном цикле 1995–1996 годов основным «динамизирующим» фактором была раздутая конфронтация между некоммунистами и коммунистами (в тени которой оставалась «первая» постсоветская война в Чечне), то в 1999–2000 годы таким фактором стала новая чеченская война. Политическая консолидация общества в поддержку только что предьявленного стране нового премьера и преемника президентской власти вряд ли была бы возможна без воинственной («агрессивной» – в социально-политическом смысле) мобилизации против общей опасности. При этом опасности вполне зримой, повсеместной, предьявленной стране грохотом и жертвами провокационных взрывов.

Чисто «служебная» функция воинственной мобилизации проста, понятна и, в принципе, была исполнена уже к октябрю–ноябрю 1999 года, когда многочисленные опросы показали, что В. Путину обеспечен беспспорный успех на президентских выборах. Еще до получения президентских полномочий российская власть как будто имела возможность перейти от военных действий к поискам обещанного политического варианта урегулирования ситуации, сохранив при этом и собственное лицо, и высокий рейтинг официального претендента. Этого не произошло, возможно, потому что группа поддержки Путина считала свои позиции слишком слабыми или потому, что она испытывала чье-то давление. Представляется, что и власть, и в каком-то смысле все общество оказались заложниками созданной (или создавшейся – в конечном счете, это не имеет особого значения) обстановки. Оставляя в стороне сугубо политологические соображения о взаимоотношениях различных гражданских, военных и, скажем, «олигархических» институтов и инстанций в этой ситуации, отметим наиболее существенные тенденции, проявившиеся в общественном мнении.

На протяжении всех месяцев войны на Северном Кавказе

общественное мнение в стране находится в напряженном, экстремальном, давно не виданном состоянии воинственной мобилизованности, значительное большинство населения демонстративно поддерживает продолжение военной операции до победного конца.

Правительственная (президентская) политика в Чечне получает невиданно единодушное одобрение.

Таблица 4

«Как Вы относитесь к нынешним действиям российского правительства в Чечне?»
(в % от числа опрошенных)*

Группы	Варианты ответа			
	полностью поддерживаю	скорее поддерживаю	скорее против	решительно против
<i>Всего</i>	36	45	13	4
<i>По полу</i>				
мужчины	44	42	11	3
женщины	30	48	15	5
<i>По возрасту</i>				
18–24 года	37	44	16	3
25–39 лет	33	50	12	5
40–54 года	34	44	15	5
55 лет и выше	41	42	12	3
<i>По образованию</i>				
высшее	31	51	13	5
среднее	35	46	13	5
ниже среднего	39	42	14	3
<i>По месту жительства</i>				
Москва	32	52	12	3
большие города	37	43	14	5
малые города	34	49	12	5
села	38	45	13	2

Группы	Варианты ответа			
	полностью поддержи- ваю	скорее поддержи- ваю	скорее против	реши- тельно против
<i>Голосовавшие на выборах в Государственную Думу (1999) за</i>				
КПРФ	36	49	10	4
ЛДПР	56	25	15	5
«Единство»	44	47	6	1
ОВР	33	32	26	8
СПС	34	51	11	5
«Яблоко»	24	47	18	10

* Исследование типа «Экспресс», апрель 2000 (N = 1600 человек).

Общий уровень поддержки превышает 80%. Различия по категориям опрошенных – минимальны. Среди электоратов общая поддержка колеблется от 91% у «Единства», по 85% у КПРФ и СПС и 81% у ЛДПР до 71% у «Яблока» и 64% у избирателей ОВР. Доля несогласных превышает 20% только в группах избирателей ОВР (34%) и «Яблока» (28%).

Возникший осенью 1999 года широко распространенный страх населения перед возможными новыми актами террора стал заметно слабее, предполагаемых виновников взрывов не смогли найти, до судебного разбирательства обвинений дело не дошло. Однако для значительной части населения официальная версия причастности к взрывам чеченских боевиков (к которым к концу прошлого года стали причислять и властные структуры Чечни) представляется достаточным доказательством их виновности. Чувства ненависти и мести по отношению к чеченским боевикам и всем их поддерживающим, разделяет, согласно опросам, почти треть населения, примерно такая же часть населения согласна в том, что разрушенные селения в Чечне не стоит восстанавливать, что ра-

ненных боевиков не следует лечить, что с боевиками можно расправляться без всяких судебных процедур. Более половины опрошенных (апрель 2000) считают оправданной мерой высылку всех жителей Чечни, проведенную сталинской властью в 40-е годы.

Вряд ли можно объяснить бурный всплеск таких настроений только страхом и жаждой отмщения в отношении чеченских мятежников. Чеченский узел сводит воедино сложный комплекс общественных переживаний, связанных с переоценкой роли «российского» центра в государственной федерации, с накопившимся ресурсом напряженности и ксенофобии в межнациональных, а также и в межрегиональных отношениях, с чувством унижения вследствие неудачи предыдущей военной кампании 1994–1996 годов и прочим. Причем «завязан» этот узел прежде всего не на Северном Кавказе, а в Москве и в России в целом, поскольку он затрагивает авторитет, престиж институтов и деятелей государственного масштаба. Расчет на то, что решительные акции в отношении Чечни могут изменить расстановку сил в Москве, оказался верным, но, скорее, недальновидным.

Отметим две существенные особенности восприятия новой чеченской войны в общественном мнении.

Во-первых, отсутствие заметного влияния военных потерь на настроения общества. Потери – даже по официальным данным – растут, но общая поддержка населением военных действий сохраняется. Общество устало от войны (в апреле 2000 года с этим соглашались уже 89% опрошенных, не соглашались только 6%), но не настроено против нее.

Во-вторых, при общей воинственной напряженности общественного мнения, желание непосредственного личного участия в операциях против террористов и мятежников выражено весьма слабо. Так, в ноябре такую готовность выражали 19% опрошенных (против 65%).

В основе обоих феноменов, как можно полагать, лежит «постороннее», своего рода «зрительское» отношение к че-

ченским событиям. Это не равнодушие, не безразличие – в массовых настроениях обнаруживаются и гнев, и боль, и печаль, но преимущественно в тех формах, которые обнаруживают заинтересованные и взволнованные зрители действия, происходящего на экране, на сцене, отгороженной от публики. Непосредственную боль человеческих смертей и страданий испытывают близкие, соседи, товарищи попавших в беду. В целом по стране это, возможно, десятки тысяч людей. Для остальных миллионов война остается событием по ту сторону телевизионного экрана. Более того, значительная часть людей сознательно или не вполне сознательно отстраняет от себя самую тревожную, самую мучительную информацию, замыкаясь в собственных повседневных заботах. (Подобным же образом отстраняются люди и от ответственности за происходящее в стране.) Отсюда и решительное нежелание большинства людей участвовать в осуществлении той самой акции, которую они так активно (но только как «зрители»!) поддерживают. Отсюда и устойчивость оптимистических тенденций в общественных настроениях с осени 1999 года.

Так, собственно, работает в российском обществе феномен «астенического синдрома» – отсутствия нормальной болевой реакции на разрыв социальной ткани, а также на разрыв «связи времен» (реакция на действие не связана с учетом его последствий). Но это значит, в числе прочего, и то, что негативная, «агрессивная» мобилизация порождает преимущественно демонстративную консолидацию общества. Ни солидарно переживаемые чувства гнева и отчуждения, ни единомышленные голосования не означают реального единства активных действий.

Заслуживает внимания динамика представлений о перспективах военного успеха.

Таблица 5

«Чем, по-Вашему, завершится вооруженный конфликт в Чечне?»

*(в % от числа опрошенных)**

Варианты ответа	1999		2000
	Октябрь	Декабрь	Январь
Боевики будут разгромлены, и вся Чечня будет возвращена в состав РФ	24	45	39
От Чечни будет отторгнута и возвращена в состав РФ ее часть севернее Терека	7	6	6
Конфликт приведет к огромным потерям и окончится так, как в 1996 году	19	13	15
Конфликт приобретет затяжной характер и распространится на другие регионы Северного Кавказа	30	22	24
Затруднились ответить	20	14	16

** Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек).*

Как видим, несмотря на рост победных настроений, особенно заметный к концу 1999 года, значительная часть опрошенных видит скорее пессимистические сценарии развития ситуации.

Как ни странно на первый взгляд, но за долгие месяцы войны отношение российского населения к возможности отделения Чечни от России не слишком изменилось: в сентябре 1999 года лишь 14% опрошенных считали необходимым воспрепятствовать отделению Чечни «любыми средствами, включая военные», в апреле 2000-го такую позицию занимали вдвое чаще – 28%. Но ранее и теперь большинство готово смириться с независимостью мятежной провинции. И не потому что одобряет действия чеченских сепаратистов, а для

того чтобы «отделаться», отстраниться от всего узла тревог и противоречий. (Тот же астенический синдром.)

За несколько месяцев существенно изменилась политическая сцена страны – характер действующих лиц и самого действия. Номинально все атрибуты многопартийности 90-х годов сохранены, реально же – в значительной мере утратили значение. Происходит процесс замены так и не созревшей многопартийности новым вариантом хорошо известной в свое время «государственной партийности». Если в советские времена единственная партия объявляла себя государственной силой, то сегодня государственная власть объявляет себя единственно «правильной» партией, подчиняя себе или оттесняя на обочину политической жизни все прочие организованные партийные силы. При этом партии, организованные «сверху», как правило, превращаются в простых сателлитов государственной власти, а те, что пытались вырасти «снизу», на основе каких-то групп и течений, практически сходят со сцены.

При этом в соответствии с печально известной традицией, нынешняя (президентская) власть склонна все чаще отождествлять себя с государством или даже с отечеством, а несогласие со своей политикой объявлять «антигосударственным» действием.

Отказ от характерной для правления Ельцина демонстративной конфронтации с компартией в этих условиях приводит к пересмотру всей функциональной конструкции сдержек и противовесов, которая составляла основу многопартийного механизма последних лет. Это фактически лишает своих традиционных ролевых функций на политической сцене не только компартию и ее марионеточного дублера, ЛДПР, но и силы демократической поддержки власти (выступающих сейчас под именем СПС) и демократической оппозиции («Яблока»). Наглядные подтверждения этой тенденции – поддержка «чеченской» политики правительства большинством во всех партийных электоратах, почти пле-

бисцитарные президентские выборы 2000 года и, наконец, фактическое подчинение новоизбранной Думы требованиям исполнительной власти.

Интриги и скандалы вокруг распределения постов в думских комитетах (январь 2000) обнажили глубинные структуры и пружины нашей парламентской – да и всей политической – жизни. После этого 54% опрошенных сочли, что новая Дума «определенно» или «скорее» находится под контролем президентской администрации, и только 27% – что она остается (тоже «определенно» или «скорее») независимой. Самое важное, что это не вызвало ни публичных, ни парламентских протестов: такую Думу избрали после того, как определились нынешние «президентские» пристрастия общества и как бы в их тени, на фоне «меркнущих и гаснущих» звезд политических партий.

В итоге – довольно унылая картина опустевшей за десятилетие российской политической сцены (кое в чем напоминающей заключительную сцену «Гамлета»). Политика капитулировала перед «завоевателем» – президентской властью. Власть и «послушный ей народ» вновь остаются наедине.

Интрига неизвестности

Опыт месяцев, минувших после фактической и формальной передачи высшей власти в России (и в особенности опыт недель после завершения церемониальной стороны этой передачи) приоткрывают главную «интригу» всего процесса: ожидаемая и провозглашенная как будто стабилизация при отсутствии реальных средств для этого (как «физических», так и «программных») превращаются в создание новых «проблемных точек» и новые попытки балансировать между обострениями различного типа.

Воинственная мобилизация общества вокруг чеченского узла из острой превращается в «привычную», тем паче, что героическая («штурмовая») фаза операции – с водружением

знамен на горных вершинах и разрушенных кварталах Грозного – миновала безвозвратно. Любые же варианты рутинных «зачисток» и партизанских вылазок в сочетании с разговорами о переговорах, урегулировании или восстановлении чего бы то ни было при любом варианте управляемости или неуправляемости в регионе заведомо не героичны, не духоподъемны.

Управляемая Дума и конструирование «госпартийности» дали явный, но временный выигрыш исполнительной власти. Административно направляемая демократия – как в общеполитическом, так и в парламентском плане – превращает администрацию в «крайнего», ответственного за все и вся (каким и представлялся бесконечно критиковавшийся бывший президент). Если нельзя сослаться на непослушную Думу или на нераспорядительное правительство, виноватыми оказываются президент и его администрация. Кроме того, всякое «механическое» единство, пригодное для противодействия (например, парламентским аутсайдерам), не обязательно окажется эффективным для принятия конструктивных решений.

Наконец, сложная балансировка («на канате») отношений с Западом, направленная на то, чтобы и связи сохранить, и вмешательства во внутренние (кавказские и другие) дела не допустить, вносит в ситуацию дополнительные элементы риска и нестабильности.

В этой обстановке общественное мнение не может быть стабильным, не может долго сохранять тот баланс напряженности и доверия, который сформировался в конце 1999 года. Разумеется, было бы бессмысленно искать сейчас в опросных данных каких-то конструктивных представлений о дальнейшем развитии ситуации. Общественное мнение в принципе не создает варианты конструкций или оценок, а «только» выбирает из предложенного набора, «меню». Обязанность политической элиты – предложить населению определенные варианты выбора. Пока этого нет – а сегодняш-

няя политическая сцена, как уже отмечалось, пуста в этом смысле, – общественному мнению остается лишь отмечать успех или неуспех тех конструкций, которые в него были введены ранее.

«Мониторинг...» 2000. № 3

**О ПРИРОДЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ**

ЭЛИТА И МАССА – ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

Кризис общества, кризис элиты

Один из компонентов затяжного кризисного перелома, который наблюдается в российском постсоветском обществе, – разрушение системы социокультурных ориентиров и образцов, и вместе с ним – кризис элитарных структур, деформация их ролей и связей с «массовыми» структурами общества. Элита утрачивает свое значение, если «массы» перестают воспринимать ее символические и инструментальные функции (трансляция интегративных образцов, кодов культуры, поведенческих правил и так далее). Значительная часть современных дискуссий о нравственной деградации общества, лишившегося своих духовных лидеров, а также о распаде и деградации самих интеллектуальных и правящих элит, лишенных общественного признания, строится вокруг этого комплекса. При этом нередко смена природы и функций элитарных структур воспринимается, прежде всего носителями этих структур, только в эмоционально-трагическом ключе.

Представляется, что предпосылкой перехода к социологическому анализу проблемы должно быть уточнение некоторых исходных категорий. Принято выделять элиты по их профессиональному месту, по роду их «занятий» в обществе, и соответственно говорить об интеллектуальных, политических, военных, экономических, культурных и тому подобных элитах. Поскольку характер любых элитарных структур определен в первую очередь их функциями в обществе, целесообразно также разделять элитарные структуры по способу исполнения ими своих функций по отношению к обществу, к «массе», к социальным институтам.

Элита публичная и элита социальная

«Публичную» элиту составляют те деятели или группы, которые обращаются к обществу как к зрителям, слушателям, последователям, сторонникам (публике в широком смысле слова). Эта категория элиты действует преимущественно через системы и средства массовой информации. К ней относятся не только профессиональные публицисты или комментаторы, но и специалисты – политики, ученые, юристы, военные и так далее, поскольку они действуют вне своего профессионального круга и «предъявляют себя» публике через СМИ. Публичная элита непременно демонстративна, способна заинтересовать, вдохновить, оценить, дискредитировать, декларировать обобщенные образцы поведения, но в ее функции не может входить передача практических образцов, специальных знаний или, скажем, выработка программ. Она ориентируется на «общую публику», на неспециализированную аудиторию. Поэтому, кстати, численность публичной элиты ограничена немногими десятками лиц – это определяется возможностями самого поля массового внимания (или, фигурально выражаясь, размерами подиума).

К «социальной» элите можно отнести те группы и структуры, которые оперируют в поле институционализированной профессиональной деятельности (работы, обучения) и обеспечивают передачу практических образцов, установок, ориентиров. Средствами действия выступают здесь преимущественно профессиональные коммуникации и контакты. Способность задавать или переосмысливать образцы поведения (служить «примером») связана у этих структур с более высоким социальным статусом социально-элитарных групп по отношению к общему уровню. Наиболее очевидные, эмпирически проверяемые показатели такого статуса – более высокий уровень образования и более высокие позиции в иерархии социального управления. Социальная элита много-

численна и потому доступна для массового выборочного исследования.

Выделенные два типа элитарных структур не исчерпывают список возможных их вариантов. В каждой сфере деятельности или профессиональной группе формируется и воспроизводится своя «специализированная» элита, полем действия которой является не общество, а соответствующая группа. На принятие решений, особенно политических, влияют различные группы советников, лоббистов и прочие, которые могут рассматриваться как специфические «закрытые» элитарные структуры. В данном случае такого рода образования остаются вне поля рассмотрения.

Характеристика кризиса

Изложенные выше соображения позволяют уточнить адресацию современного кризиса элитарных структур в российском обществе: происходит прежде всего кризис *публичной элиты*, той самой, которая переживала короткий расцвет в лучшие годы перестройки и гласности. Только в эти годы создалась возможность формирования этой особой, беспрецедентной в отечественной истории структуры, которая сыграла уникальную роль в разрушении тоталитарного строя. С ее деятельностью связаны как сильные, так и слабые стороны «перестроечных» процессов, их специфика и противоречивость.

Численность публичной элиты периода перестройки (точнее, ее «первого ряда») – если рассматривать ее как социальную группу, – ограничивалась несколькими десятками ярких имен, которые пользовались доверием демократически настроенной части общества и оказывали определенное влияние на действия и лозунги «горбачевской» партийной верхушки. С современных позиций все компоненты приведенного выше утверждения нуждаются в оговорках. Демократические настроения тех лет, поддерживаемые эйфорией

первых шагов либерализации политического режима (гласность, «помилование» диссидентов), как известно, оказались питательным бульоном взаимоисключающих течений демократизма, либерализма, национализма, неосоциализма, неопочвенничества. Двусмысленные с самого начала отношения между властью и либерально-интеллигентской элитой поддерживали одну из самых живучих и опасных иллюзий российской истории – иллюзию разумного, «просвещенного» деспотизма. С ней связаны престиж «нового мышления» и надежды на «плановые» реформы в обществе.

«Перестроечная» элита была откровенно публицистичной: солидные ученые и парламентские трибуны выступали перед массовой публикой и воздействовали на нее исключительно как публицисты. Притом публицисты, исполнявшие довольно простую и популярную задачу – выразить то, что уже было известно, что передавалось исподтишка в прошлые годы. Примеры обстоятельного, в особенности экономического, анализа оказывали значительно менее заметное влияние на умы, чем сама возможность «назвать вещи своими именами». Примечательно, что публицистическая функция на время приравняла к властителем дум, наряду с учеными, писателями, депутатами и другими тогдашними персонажами «публичного действия», также профессиональных телекомментаторов и рок-певцов нового (по тем временам) социально-критического стиля.

Крушение надежд на планомерную трансформацию тоталитарного общества в демократическое привели к переоценке перестройки, М. Горбачева – а вместе с тем и «публичной» перестроечной элиты – в общественном мнении. Разумеется, дело не только в разрушении иллюзий, но и в уходе со сцены тех переходных социальных и психологических структур, которые нуждались в таких иллюзиях. Отыграв свою роль, публичная элита «перестроечных» лет неизбежно утратила свои функции стимулятора общественных настроений (как утрачивают их и система массовой коммуникации,

печать, телевидение), другие функции ей не свойственны. Многие из представителей этой группы сегодня определяют доминирующий в СМИ тон уныния и разочарования в перестройке и реформах, часть из них увлечена установками национализма и державности. Очень немногие используют возможности для серьезной аналитической или практической-организаторской работы. В этом, как представляется, существо кризиса публичной элиты. Трансформации и потрясения испытывают и другие элитарные структуры, но эти процессы имеют иную природу.

«Новые» или «старые» элиты?

В строгом смысле слова те группы активистов, которые задают тон в структурах бизнеса или власти, могут быть лишь уподоблены элитам, поскольку отсутствуют необходимые традиции и механизмы их социального воспроизводства. Их пока не всегда можно отличить от клик, кланов, организованных групп (распространенные сравнения с мафией носят скорее метафорический и оценочный характер). В принципе, часть действующих групп такого рода может, обретая устойчивость, превратиться в элитарные структуры.

Понятно, что нынешние функции и перспективы групп с элитарными претензиями или потенциалом заслуживают обстоятельного анализа. В настоящее время он основательно затруднен не столько из-за скудости материала, сколько из-за распространенности непродуктивных стереотипов его восприятия.

Первый из них построен на обвинениях в коррупции, связях с преступными группировками и тому подобными атрибутами «криминальной революции». Эти обвинения, как известно, служат одной из главных опор всей политической критики использующей аргументацию популистского типа. Такая аргументация довольно популярна: примерно половина опрошенных горожан («Экспресс», сентябрь 1994) пола-

гала, что коррупция в правящем аппарате сильнее, чем в «советские» времена. Серьезные сравнения здесь затруднены ввиду слабости юридической практики и статистики в делах о коррупции. В плане же чисто социологического анализа коррумпированность функционеров – признак новых элитарных структур, лишенных как социально-репрессивного контроля, так и нормальных правовых, нравственных и антропологических («человеческих») рамок. Высокий уровень коррупции – тяжелая болезнь роста практически всех модернизирующихся обществ.

Другой стереотип восприятия новых элитарных структур связан с генезисом их личного состава. Согласно многочисленным и нередко довольно представительным исследованиям, преобладающая часть формирующейся бизнес-элиты, равно как и элиты власти (включая закрытые структуры) может быть представлена как номенклатура «старых» партийно-советских, административных или хозяйственных органов, либо как их потомки, родственники и тому подобное. Отсюда распространенные доводы относительно того, что после всех потрясений перестройки и реформ командные функции остались у того же социального слоя. Этот способ аргументации вызывает принципиальные возражения.

Во-первых, не было никаких оснований рассчитывать на то, что новые элитарные структуры могли бы сформироваться вне влияния и наследия старых, «советских», которые за время своего господства монополизировали все каналы социального и профессионального продвижения. Превращение – а поначалу даже просто переименование – номенклатурных назначенцев в «независимых» политиков или хозяев производства было повсеместным и неизбежным при заданном всей советской историей распределении социальных ресурсов. Можно утверждать, что эта ситуация в каком-то виде сохранится на ближайшие поколения.

Во-вторых, нельзя считать «социальное происхождение» решающим фактором детерминации деятельности людей, ка-

кие бы номенклатурные должности они ни занимали. (В увеличении роли происхождения, несомненно, сказывается методологическое наследие примитивных «классовых» доктрин: вульгаризованный марксизм видит зависимость человека от его классовой группы и его происхождения, для социологического подхода более характерен поиск институциональной зависимости поведения.)

«Действующая» номенклатура всегда ориентировалась на иерархическую структуру партийного господства и контролировалась. Крушение этой централизованной структуры изменило ситуацию кардинальным образом. Оставшись без партийной опеки, номенклатура неизбежно превращается в бывшую, она вынуждена искать иные ориентиры и нормы своего поведения. (Остаются, правда, стереотипы мышления, а также – что более важно – групповые, клановые связи, но они сами по себе не делают погоды.) Независимо от социального происхождения, политических верований и пристрастий, функционер, попавший в ситуацию жесткой экономической или политической («аппаратной») конкуренции, вынужден приспособливаться к ней и действовать в соответствии с ее правилами. Конечно, никакой единой и общепризнанной системы «правил» здесь не существует, тем более в условиях всеобщей нестабильности и неорганизованности, специфической для переходного времени в отечественных условиях. Приходится выбирать между различными уровнями возможной активности и адаптации к наличным условиям – от достаточно цивилизованных и перспективных до примитивно-жульнических и краткосрочных. Траектория движения активистской группы или личности между такими уровнями, видимо, и определяет характер их возможного статуса в элитарных структурах.

Положение социальной элиты: предварительные замечания

Согласно сказанному ранее, в качестве социальной элиты рассматривается «продвинутая» часть общества, принципиальная функция которой состоит в передаче практических, повседневных образцов действия.

Если в условиях партийно-советского режима публичная элита была невозможной, то социальная элитарная структура существовала. Ее роль трактовалась, правда, преимущественно как чисто техническая (инструментальная или профессиональная: учитель учит детей, врач лечит больных и так далее). Предполагалось, что поддержание ценностей, интегрирующих общество, является монополией правящей верхушки с ее идеологическим аппаратом. (На деле такая модель никогда не могла быть реализована полностью.) В обстановке распада «центральных» ценностных структур функции социальной «периферии» – как, впрочем, и социально-пространственной, географической – растут и расширяются. Если на людей, на массы не действуют больше ни устрашение, ни какие бы то ни было соблазнительные призывы, повседневный образец становится особо важным, может быть, даже единственным действующим ориентиром социальной нормы и барьером на пути всеобщего распада. Отсюда и особая важность анализа ориентаций «продвинутого» слоя общества в сравнении с остальной, условно говоря, «рядовой» массой. Соотношение позиций, которое выявляет такое сравнение, позволяет судить о состоянии социальных ресурсов, о направленности вектора общественных настроений.

Социальная элита: эмпирическая база анализа

Все дальнейшие суждения строятся на основе исследований общественного мнения, проведенных ВЦИОМ. Наиболее надежным источником являются результаты мониторин-

говых исследований 1993–1994 годов, сведенные вместе и представленные как единые массивы данных (более 47 тыс. респондентов, опрошенных с марта 1993 по март 1994 года, и более 26 тыс., опрошенных с апреля 1994 по май 1995 года, представляющих городское и сельское население России).

В этом массиве занятое население составило 60% всех опрошенных. Из этого числа одна треть (33%) – руководители предприятий, подразделений, специалисты с высшим и средним специальным образованием («руководители и специалисты», собственно и репрезентирующие социальную элиту). По укрупненным отраслям в данных этих исследований представлены промышленность и транспорт, культура, образование, здравоохранение, управление, армия, милиция, суды. Две трети опрошенных – это работники различных отраслей, не имеющие специального образования и не исполняющие руководящих функций («остальные»).

По уровню образования группа руководителей и специалистов заметно отличается от остальных работников.

Таблица 1

Образовательный уровень
(в % от числа опрошенных по группам)*

Группы	Ниже среднего	Среднее	Высшее
Руководители и специалисты	4	52	44
Остальные	43	55	3

** Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1993–1994 (N = 47 000 человек).*

Обращает на себя внимание почти полная симметричность «крайних» показателей (по диагонали) при близости «средних»: элитарная группа состоит почти исключительно из лиц со средним и высшим образованием (в пропорции 5:4), остальная же масса в той же примерно пропорции – из

обладателей среднего и более низкого образования.

Исключение из рассмотрения неработающего населения объясняется чисто техническими соображениями (в частности, сложностью дифференцировать различные группы среди пенсионеров) и вряд ли существенно искажает принципиальное распределение мнений.

Среднедушевой доход в группе руководителей и специалистов за период был в среднем на одну треть выше, чем по всему массиву опрошенных. Оценки собственного положения и ожидания у представителей социальной элиты незначительно выше.

Проблемы общества глазами социальной элиты

Ответы на вопрос «Какие из проблем общества беспокоят Вас больше всего?» в указанный годы таковы.

Таблица 2

«Что беспокоит Вас в большей степени...?»

*(в % от числа опрошенных)**

Варианты ответа	Руководители и специалисты	Остальные
Дефицит товаров	7	12
Рост цен	72	81
Безработица	51	58
Кризис в экономике	60	51
Преступность	65	62
Кризис морали и культуры	41	23
Загрязнение среды	34	26
Межнациональные отношения	23	18
Несправедливое распределение	32	36
Угроза фашизма, экстремизма	8	5
Коррупция	26	25
Слабость власти	35	28
Конфликты в руководстве	12	12

Варианты ответа	Руководители и специалисты	Остальные
Угроза военной диктатуры	3	3
Конфликты на границах	19	20

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1993–1994 (N = 47 000 человек).

Как видим, социальную элиту меньше беспокоят «практические» проблемы (цены, дефицит, безработица) и больше – политические и идеологические (слабость власти, международные отношения). Примечательно, что самое крупное расхождение между оценками двух выделенных групп – в два раза – по поводу значения кризиса морали и культуры. По таким позициям как коррупция, конфликты в руководстве, практически нет различий в мнениях элиты и остальной массы.

«Запас прочности»: элита и масса

По мнению опрошенных, их ситуации соответствуют следующие суждения.

Таблица 3

Оценки ситуации глазами социальной элиты и массы (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Март 1993 – март 1994*		Апрель 1994 – май 1995*	
	руководители и специалисты	остальные	руководители и специалисты	остальные
«Все не так плохо и можно жить»	12	7	13	9

Варианты ответа	Март 1993 – март 1994*		Апрель 1994 – май 1995*	
	руководите- ли и спе- циалисты	осталь- ные	руководи- тели и спе- циалисты	осталь- ные
«Жить трудно, но можно терпеть»	53	53	49	53
«Терпеть ...уже невозможно»	30	34	31	31
Затруднились ответить	5	6	6	7

* Исследования типа «Мониторинг», объединенные массивы: 1) март 1993 – март 1994 ($N = 47\ 000$ человек), 2) апрель 1994 – май 1995 ($N = 24\ 260$ человек).

В обоих массивах мнения «продвинутой» группы заметно смещены в сторону более оптимистических, в то время как средние суждения («можно терпеть») почти не отличаются от суждений рядовых, а самые пессимистические не столь часты. В целом, «запас прочности» этой элитарной группы на несколько пунктов *больше*, чем у остальной массы. Это существенно, поскольку тем самым как бы предопределяется более позитивное отношение элитарной группы к реформам вообще.

Отношение к реформам
(в % от числа опрошенных)*

Варианты позиции	Руководители и специалисты	Остальные
Реформы продолжить	41	29
Реформы прекратить	21	29
Затруднились ответить	38	42

* Исследование типа «Мониторинг», объединенный массив за апрель 1994 – май 1995 (N = 24 260 человек).

В данном случае позиция «продвинутой» группы уже существенно отлична от «массовой»: только здесь число сторонников продолжения реформ *вдвое* больше числа их противников, а также превышает число затруднившихся ответить. Причем доля отказавшихся отвечать почти одинакова во всех группах (около 40% опрошенных в каждой группе). Если правомерно говорить о существовании практической социальной опоры реформ, то именно социальная элита прежде всего исполняет эту роль в обществе. В рамках общественных и собственных возможностей, как правило, без проявлений энтузиазма и без осмысления. Уровень неуверенности и сомнений социальной элиты, как видно из *табл. 4*, мало отличается от общемассового, но надежд на реформы все же заметно больше. Социальная элита не может возвышаться над массами, она способна лишь «на полшага» их опережать.

Следует, конечно, отличать декларативное, заявленное отношение к реформам от практического. Общественным настроениям, особенно в столь запутанной переходной ситуации, как нынешняя, неизбежно присуще амбивалентное отношение к происходящему. Практически стремится адаптироваться к новой ситуации и использовать ее значительно больше людей, чем заявляет о своем одобрении реформ.

В данном очерке отмечены лишь некоторые особенности

поведения социальной элиты, с этой целью взят узкий круг вопросов. Анализ других реакций этой общественной структуры показывает, что, например, по политическому развитию, по уровню этносоциальных барьеров и комплексов рассматриваемая группа не всегда выделяется на общем фоне. Ее «продвинутость» имеет важное, но ограниченное значение.

Сопоставим ответы на вопрос об *интересе к политической жизни* у представителей социальной элиты и у остальной массы опрошенных.

Таблица 5

«В какой мере Вас интересует политика?»
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Руководители и специалисты	Остальные
В очень большой мере	3	2
В большой мере	9	6
В средней мере	37	27
В малой мере	29	32
Совершенно не интересует	22	34

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1995 (N = 24 260 человек).

Если выяснять, в чем выражается «интерес к политике» у выделенных групп, оказывается, что внимательно следят за информацией о политических событиях 40% из «элитарной» группы и 27% – остальных, обсуждают политические события с друзьями соответственно 38 и 33%, участвовали в политических демонстрациях или митингах – 2 и 1%, в предвыборных кампаниях – 4 и 2%.

«Элитарная» группа в меньшей мере, чем остальные, подвержена политической ностальгии: здесь только 34% против 45 согласны с тем, что было бы лучше, если бы «все в стране

оставалось так, как было до 1985 года» (среди остальных это соотношение противоположное – 50% против 29). И наконец, в этой группе лишь 19% (против 50) полагают, что единственным выходом является «установление диктатуры» (при соотношении 27:39 среди других).

Еще одна содержательная характеристика роли социальной элиты – предпочтения относительно способа получения дохода.

По данным сводного массива исследований типа «Мониторинг» за 1994–1995 годы, в соответствии с советскими стандартами «небольшой заработок и уверенность в завтрашнем дне» предпочли бы 49% из «элитарной» группы и 56% из прочих; здесь позиции мало отличаются друг от друга. «Много работать и хорошо зарабатывать без гарантий на будущее» согласны 35% в первой группе и 32 во второй. Но «иметь собственное дело» представители элитной группы предпочитают заметно чаще (в пропорции 10:7).

Все это позволяет рассматривать социальную элиту в России как важную опору демократических и рыночных перемен.

«Мониторинг...» 1994. № 6

КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Статистика и социология в изучении общественного мнения

Вне всякого сомнения, феномены общественного мнения могут быть рассмотрены и «организованы», систематизированы под разными углами зрения. От избранного подхода, в принципе, зависят как сам *предмет* исследования, так и *методы* его анализа. Выделим два как будто полярных методологических варианта:

I. Общественное мнение как распределение показателей, получаемых в ходе репрезентативных опросов населения. Мерой «организованности» в таком случае выступает частота определенных упоминаний, оценок и прочее. Это именно тот вариант, который необходим и *достаточен* для решения обычных проблем социальных и маркетинговых исследований – определения степени распространенности тех или иных позиций, готовности слушать, покупать, голосовать. Известны метафорические трактовки серий таких показателей как меры «общественной температуры», данных «социального барометра», индикаторов состояния «массового сознания» или «социального разума» (*public mind*), но в любом случае речь идет здесь о достаточно строгих показателях, относящихся к некоторой статистической совокупности. «Строгость» данных означает возможность проверки (верификации) всех элементов исследования. При таком, *статистическом*, подходе существуют проблемы измерения общественного мнения, но нет вопроса о его структуре и функциях¹.

¹ «Частотные распределения при статистической упорядоченности – как они могут свергнуть правительство или нагнать страху на кого-то?» (См.: Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания / Пер. с нем. М.: Прогресс-Академия, 1996. С. 285.)

Очевидно, что «статистическое» представление правомерно тогда и постольку, когда и поскольку поведение людей в обществе может трактоваться как множество независимых акций, в совокупности образующих массовый процесс. К жестко регламентированному традиционному обществу оно по определению неприменимо; особый вопрос – в какой мере категории массовых процессов пригодны для описания тоталитарных систем.

II. Общественное мнение как *социальный институт*, обладающий определенной *структурой* и выполняющий определенные *функции* в данном обществе. Чтобы стать общественной силой, общественное мнение должно быть организовано, – причем не только «извне» (гражданские свободы, системы массовой информации, политический плюрализм, лидеры-идолы и так далее), но и, так сказать, «изнутри», в смысле самого «языка» общественного мнения (символы, стереотипы, комплексы значений и средств выражения). При таком, *социологическом* по ориентации, подходе к феномену, и возникают вопросы о том, как «на деле», то есть практически, структурировано общественное мнение, как и какие ролевые функции оно способно – или не способно – исполнять в различных социокультурных условиях². Именно на этом поле разворачиваются нескончаемые дискуссии относительно того, может ли вообще существовать и действовать какое бы то ни было общественное мнение в нынешних российских и аналогичных им условиях.

Понятно, что отечественный опыт последних лет питает сомнения и разочарования в отношении эффективности любых демократических институтов – в том числе и общественного мнения – в нынешнем российском обществе. Самый наглядный пример – слабость общественных протестов про-

² «Как, собственно, сумма индивидуальных мнений, выявленных эмпирическим социальным исследованием, превращается в мощную политическую силу, называемую «общественным мнением?»» (См.: *Нозль-Нойман Э.* Указ. соч. С. 285).

тив чеченской войны. Но уместно заметить, что один из источников таких настроений в данном случае составили нереалистические, упрощенные представления о самом общественном мнении и его возможностях. Ни массовость распространения, ни свобода выражения, ни оформленность («осознанность») определенных оценок и взглядов в каких-то сегментах общества еще не превращают их в однозначно действующий инструмент, «рычаг» общественной жизни: они могут выступать и как стимул к действию, и как элемент накопления социальных ресурсов, влияние которых может сказаться в отдаленной перспективе, и как «отдушина», то есть средство ослабления напряженности общественных настроений. (Иначе говоря, технологические, инструментальные модели вообще малоудачны для понимания социальных феноменов.) Нельзя понять характер влияния общественного мнения на общество, не объяснив, как «устроен» – и как «самоопределяется» – этот институт в данных социальных условиях, при наличном человеческом материале и социокультурном наследии.

О функциях общественного мнения

Как известно, обращают на себя внимание – притом, не только в условиях эмбрионального развития демократических институтов (см. приведенную выше фразу авторитетной немецкой исследовательницы) – ситуации, когда определенным образом организованное и возбужденное общественное мнение может как будто непосредственно привести к социальным потрясениям и политическим переменам. Оговорка «как будто» уместна здесь, потому что такое воздействие всегда обусловлено всей системой социальных институтов общества. Но главное, как представляется, состоит в том, что общественное мнение только в исключительных, экстремальных ситуациях может служить – или казаться – *средством* какого-то конкретного социального действия.

Наиболее общей, «первичной» функцией общественного мнения как института принято считать поддержание социально одобряемых норм поведения, в том числе вербального поведения, массового человека в массовом обществе. Тогда в центре внимания оказывается вопрос о специфических средствах реализации этой функции. К ним можно отнести «язык» общественного мнения, каналы его распространения и механизмы воздействия. Этот «язык» беден и прост по сравнению с языками лингвистическими или «языками» искусства, права, религии, – и потому удобен для массового общения по всем его линиям (человек–человек, человек–группа, человек–институт).

Как всякий новый (поскольку он специфичен для современного массового общества) язык культуры, который как бы надстраивается над всей исторически сложившейся пирамидой кодов общения, он формирует новый, ранее не существовавший уровень социального общения, а значит и собственный круг ценностей, норм, интересов, ориентиров. Иными словами, на новом поле общественного мнения разворачивается и новая социальная *игра*, имеющая свои собственные правила и свои рамки. Это преимущественно «ролевая игра», каждый из участников которой (актеры, зрители, посредники) исполняет предписанный его статусом набор функций, притом демонстративных, рассчитанных на «зрительское» восприятие, точнее, на «зрительскую игру». Поддержание демонстрируемого статуса – престижа, популярности – оказывается самоцелью участников игры в публичную политику (кстати, «public policy» – один из англоязычных синонимов общественного мнения), а собственно политическая карьера – чем-то иным, доступным для немногих.

Один из показателей игрового характера процедур публичной политики – восприятие населением, да и самими политиками, эффективных политических деклараций, обличений, обещаний (в особенности предвыборных). Мало кто ждет исполнения таких обещаний, поскольку участникам «игры»

заранее ясно, что они рассчитаны скорее на мобилизацию массового внимания, чем на практическое исполнение.

В эпоху, когда «реальная» политика приобрела черты глубоко профессиональной, засекреченной, опутанной сетями спецслужб деятельности, ее необходимым дополнением оказалась политика показная, выведенная на сцену, – причем это скорее сцена современной массовой эстрады, чем шекспировского театра. На эту сцену «героев-актеров» выводят не столько собственные таланты, сколько желание публики, которая создает демонстративных кумиров, аплодирует и подражает им, потому что видит в них самое себя, воплощение собственных надежд и иллюзий. Популярным становится деятель, поскольку он играет «на публику», а иногда тот, кто только «на публику» и играет.

В этой обстановке общественное мнение, предъявленное обществу через масс-медиа, представляет систему зеркал, отражающих как восприятие массой сотворенных ею кумиров, так и восприятие героями собственного имиджа в глазах публики. Публичная политика – это своего рода игра в зеркальном зрительном зале, где каждый участник видит прежде всего свое отражение (некоторые этим и ограничиваются), а уже затем многократные отражения «всех». (В отличие от этой ситуации тайная политика в закрытых обществах подобна положению, когда «один» подсматривает за «всеми» через одностороннее зеркало...)

Первый прорыв к порогу современного массового общества, который произошел у нас на волне перестройки и гласности, привел на впервые появившуюся сцену демонстративной политики как шоуменов (театра и ТВ) в роли политиков, так и политиков в качестве шоуменов, ориентированных на массовую популярность. Позже первые ушли со сцены, вторые остались – в заметно расширенном и усиленном составе. Появилась даже целая плеяда преуспевающих политических лидеров, ораторов, политологов, у которых позерство (нарцисстическое самолюбование в том же «зеркальном за-

ле») стало главным средством достижения популярности. Вполне закономерно поэтому, что такой персонаж как В. Жириновский оказался типичным воплощением доведенных до предела особенностей стиля российского «показного политика» переходного периода, – а потому и образцом для новых деятелей.

Подытоживая сказанное, отметим, что в «поле» общественного мнения человек находит:

- «язык» для выражения (оформления, формирования) своих оценок и взглядов;
- группу «своих», то есть аналогичным образом выражающих эти оценки и взгляды;
- кодекс общепринятых нормативных стандартов такого выражения;
- и наконец, «зеркало», показывающее соответствие поведения человека этим стандартам.

Перечисленные позиции определяют основные функции этого поля. Конечно, это всего лишь условная схема: человек никогда не «находит» подобного набора функций в готовом виде. Формирование новых регулятивных структур и способов их взаимодействия с другими, ранее сложившимися – длительный и чаще всего болезненный исторический процесс.

Стереотипы

Со времен У. Липпмана, который ввел этот термин³, распространено и неплохо работает представление о стереотипах – готовых шаблонах, как бы «литейных формах», в которые «отливается» поток общественного мнения. Этот термин выделяет две существенные характеристики «поля» общественного мнения: во-первых, наличие предельно стандартизо-

³ См.: Lippman W. Public opinion. New York. 1922 (см.: Ноэль-Нойман Э. Указ. соч. С. 204).

ванных и упрощенных способов (или форм) выражения, во-вторых, предзаданность, первичность этих форм по отношению к конкретным процессам или актам общения.

Несомненно, «язык», с помощью которого выражаются состояния общественного мнения несоизмеримо проще, грубее, статичнее по сравнению с любым «живым» (как выражаются семиотики, «лингвистическим») языком. Но любые языковые формы тоже можно представить как стереотипы, в которые отливается несравненно более подвижная человеческая мысль: «мысль изреченная» всегда есть мысль упрощенная. (Оставим в стороне вопрос о том, насколько искусственно в данном случае разделение мысли и слова.)

Общеизвестно, что общественное мнение в значительной мере формируется и фиксируется в текстах масс-медиа. Слова, характеристики, обороты речи, используемые в анкетных исследованиях (в том числе в ответах на открытые вопросы, которые формулируются самими респондентами) заимствованы из переполняющего поле общественного мнения телевизионных сообщений и газетных комментариев. Но «реальный» язык общественного мнения гораздо беднее по сравнению с языком СМИ: общественное мнение укладывает словесный материал масс-медиа в свои собственные узкие и жесткие рамки. В принципе, рамки воспринимаемого общественным мнением образуются двумя наборами переменных: во-первых, образами (имиджами) событий, институтов, личностей, во-вторых, оценками этих феноменов. Динамика, аргументация, неоднозначность характеристик могут фиксироваться исследователем, но почти никогда – самими участниками процесса («игроками» на поле общественного мнения).

Примеры стереотипных характеристик (клише), с которыми они имеют дело: «герой», «враг», «вредитель», «свой-чужой», «виновник» и тому подобное. Клише оценок сводится к дихотомии «за–против» (одобрение–неодобрение, доверие–недоверие, принятие–непринятие). Простота, примитивность содержания стереотипов общественного мнения – не-

пременное условие их общезначимости и устойчивости. Наполнение стереотипов (например, показатели доверия–недоверия к определенным деятелям) может изменяться, но сами рамки стереотипов сохраняются. Стереотип не только выделяет статистически «среднее мнение» (пресловутую – в критических оценках возможностей исследования – «среднюю температуру»), но задает норму, упрощенный или усредненный до предела образец социально одобряемого или социально допустимого поведения. На таких опорах и держится «мир» общественного мнения.

Как уже отмечалось, шаблоны действия, в том числе и вербального поведения, предшествуют самому действию: каждый индивид (группа, поколение), «вступая» в социальный мир – что, разумеется, лишь модельное допущение – обязаны выбирать из готового набора стереотипов. Это не архетипы в духе К.Г. Юнга, так как они не восходят к первобытной мифологии и не хранятся в коллективном подсознании. Стереотипы общественного мнения задаются и обновляются – поскольку они способны обновляться – средствами и средой самого общения, том числе масс-медиа. Археология общественного мнения (если понимать под этим термином определенный способ анализа – в данном случае, состоящий в изучении исторически накладывавшихся друг на друга уровней или слоев соответствующих стереотипов) когда-нибудь позволит заглянуть в процессы их формирования. Некоторые стереотипы, видимо, связаны и с мифологическими структурами мышления – скажем, стереотипы героя, жертвы, злодея, но для характеристики их происхождения нет нужды апеллировать к первобытным корням: структуры мифологического типа постоянно «работают» в различных оболочках социального мышления (историческая память, эстетика, в том числе в общественном мнении и таких его носителях как современные масс-медиа).

Действие стереотипов общественного мнения можно видеть постоянно в тех ситуациях, когда сложное явление уп-

рощается до знакомого и привычного образца, взятого из арсенала исторической памяти, известного «чужого» примера и прочего, вплоть до мифологических схем. Например, напряженные политические коллизии 1995–1996 годов могли опознаваться в общественном мнении как склока «наверху», как политическая борьба, придворные интриги, бюрократическая конкуренция, «игра» по фольклорным канонам (государь и «посланец», который выполняет невыполнимые задания) и так далее. «Опознавание» (отнесение к известной схеме) в таких процессах очевидно заменяет понимание. В то же время стереотип в поле общественного мнения может выступать и в качестве «руководства к действию», то есть реального поведения людей: люди не только опознают привычные образцы, но стараются следовать им, чтобы быть понятыми другими и собой – «сказку сделать былью».

Ход рассуждений приводит нас к проблеме соотношения формул общественного мнения (синтактики), их значения, а также применения (соответственно, семантики и прагматики, если использовать семиотическую терминологию). Стереотипные формулы могут использоваться в различных контекстах и соответственно менять свое значение. Поэтому возникает необходимость перейти к более крупным и сложным единицам анализа (как бы от слов к текстам, притом взятым вместе с их толкованием и применением). Примером таких единиц и могут служить *комплексы* общественного мнения.

Характеристика комплексов

Таким образом, комплексами можно считать такие образования в «поле» общественного мнения, в которых определенный ряд стереотипных формул (структура) устойчиво связана с определенным типом их значений и способом использования (функция). Комплексы общественного мнения обладают определенным значением и смыслом именно пото-

му, что они соединяют эти разные планы. Функции, исполняемые такими комплексами, могут быть социально-активными, «внешними», или преимущественно психологическими, «внутренними» (только здесь обнаруживается некоторая аналогия с соответствующими категориями аналитической психологии). Более конкретное представление об этой категории исследования даст рассмотрение некоторых «базовых» их типов. Представляется правомерным относить к ним такие:

- «комплекс *приобщения*» – наиболее универсальный по значению, обеспечивающий уровни социализации индивида, то есть освоение «языка», правил «игры» и идентификацию с определенными группами и структурами массового общества;

- «комплекс *зависимости*» (господства и подчинения), который характеризует вертикальную структуру отношений в обществе;

- «комплекс *ожидания*» (отложенной гратификации) – выражение определенной установки по отношению к социальному времени;

- «комплекс *сравнения*», вводящий в определенные рамки отношения с «другими» людьми, группами, странами и прочим.

Собственно, каждый из выделенных комплексов определяется некоторой *парой* крайних значений соответствующего вектора (например, единодушие–многообразие, патернализм–либерализм, ожидание–достижение, униженность–возвеличение). В совокупности выделенные типы охватывают основные измерения поля общественного мнения: горизонтальное, вертикальное, темпоральное, сопоставительное. Те же типы могут быть представлены соответственно как тематические узлы «человек и общество», «человек и власть», «человек и история», «наш человек и другие». В подражание Т. Парсонсу можно построить не лишенный содержательности «квадрат» ведущих переменных значений рассматривае-

мых комплексов примерно такого вида:

П	З
О	С

Каждая из вершин четырехугольника (Приобщение–Зависимость–Ожидание–Сравнение) может обозначать эмпирически выделенный тип, и следовательно, целое «гнездо» близких по значению образований.

«Комплекс приобщения» – набор приемов, которые задают социально-одобряемые стандарты мышления и поведения людей. Это механизм поддержания общей системы ценностей и норм, практического референта «коллективной души» Э. Дюркгейма (применительно к современному обществу), «общего мнения», принципа «все как один» и тому подобного. Это самый примитивный механизм вторичной, то есть «взрослой» социализации человека. За этими – как будто самоочевидными – характеристиками («человек общественный») кроется сложная проблема взаимодействия разных структур такой социализации и драматического *перехода* от одного из них к другому, – перехода, занявшего в Европе почти два последних столетия и сейчас порождающего множество напряжений в наших отечественных условиях.

В условиях традиционных, досовременных обществ «общественное» выступает как непосредственно-групповое, относящееся к племени, общине, толпе, единоверцам, сословию, поселению, коллективу избранных, – то есть к одному конкретному наличному, «зримому» множеству, сплоченному традиционными или членскими рамками принадлежности. Нарушение социальной нормы ставит человека в положение вне группы, то есть «вне закона». Здесь работает «общее мнение» (реализация групповой нормы в установках), но нет места категории «общественное мнение» (если последний термин иногда и употреблялся, то как раз в смысле обя-

зательно-общего, группового). По Ф. Тённису, в таких условиях человеческая деятельность строится по принципу «общины» (Gemeinschaft), но не «общества» (Gesellschaft). В этом – и только в этом – состоянии общественных структур «глас народа» (vox populi, то есть воля общины) сопоставлен «гласу божию» (vox dei, то есть требованию традиции).

Переход от *общего* мнения к *общественному* – одна из важных сторон трансформации традиционных общественных структур в современные (собственно общественные, по Тённису). Эта трансформация, в числе прочего, предполагает переходы:

- от тотального однообразия ко множеству разноуровневых нормативных механизмов (а значит и социально-принятых мнений);
- от партикуляристских регулятивных структур, то есть «норм для своих», к универсалистским (общезначимые нормы и ценности);
- от принудительной обязательности «правильных» взглядов и оценок к спектру социально-допустимых мнений;
- от публичной или «площадной» общности, где «каждый знает каждого» в непосредственном общении, к общественно-значимой анонимности (массовое потребление, тайное голосование, анонимные опросы);
- от нормативной (инструментальной или ритуальной) «серьезности» мнений к *игре* на поле общественного мнения, о которой говорилось ранее.

Такой переход противоречив и не завершен нигде; особенно хорошо видно это в обществах посттрадиционных и посттоталитарных, в том числе – и в особенности – в нынешнем российском.

Как известно, в советской системе апелляция к принудительно-«общему» мнению играла огромную роль в формировании механизма всеобщего единомыслия (что, кстати, делало невозможным и изучение общественного мнения). Идеологическая монополия государственной партии не допускала

возможности остаться при своем мнении, даже при безоговорочном подчинении «линии». Хотя «сплошного» единомыслия не было никогда, а попытки его насаждения формировали систему лукавого двоемыслия, на коллективном принуждении (организуемом через группу или от имени группы, с помощью механизма коллективного заложничества по принципу «один за всех и все за одного») строились массовые обличения, публичные покаяния и «чистки».

Подобные примитивно-насильственные механизмы формирования «общего мнения» выглядят сегодня устаревшими, хотя они не вышли из употребления. Даже если оставить в стороне рудиментарные ситуации существующих репрессивных режимов, в современных, а тем более в «переходных» обществах, временами приходится наблюдать мобилизацию ресурсов прямого государственного и «коллективного» принуждения. (Военные и прочие чрезвычайные ситуации – а у нас также электоральные, криминальные, этноконфликтные и так далее.)

«Спираль молчания» и унификация мнений

В упоминавшейся книге известной немецкой исследовательницы Э. Ноэль-Нойман представлено такое средство формирования «общего» мнения, как «спираль молчания» (Schweigensspirale). Логика автора такова. Поскольку люди всегда боятся изоляции, они стремятся знать, какие мнения одобряются большинством (каков «климат мнений»), и присоединиться к ним. А те, кто оказываются в меньшинстве, скрывают свои взгляды и отмалчиваются, – возникает «спираль молчания», которая усиливает видимый перевес большинства. Это положение проверялось эмпирически с помощью методики «зеркала» (сопоставлялись ответы на вопросы двух типов «Что Вы думаете о...» и «Как об этом думает большинство»; по данным исследований Института демографии г. Алленсбаха 70-х годов). По мнению Ноэль-

Нойман, понятие «спираль молчания» является ключевым для понимания самой природы общественного мнения, которое определяется так: «Это мнения, способы поведения, которые нужно выражать или обнаруживать публично, чтобы не оказаться в изоляции»⁴.

В концепции «спирали молчания» представлен – и доступен проверке – важный механизм формирования единомыслия в обществе. Представляются, однако, правомерными два вопроса: во-первых, насколько универсален страх изоляции, а во-вторых, достаточен ли он для сплочения воедино мнений и оценок множества людей.

«Страх изоляции» как фактор сплочения был описан разными авторами давно, и прежде всего применительно к до-современным «общинным» социальным структурам. «Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками – немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого стоит государство»⁵. Настойчиво звучит эта тема и у А. де Токвиля: «Среди американцев английского происхождения одни исповедуют христианскую религию потому, что верят в нее, другие – потому, что боятся прослыть неверующими». «Ощущение своей изолированности и беспомощности тотчас же начинает угнетать инакомыслящих, доводя их до отчаяния»⁶.

Заметим, что цитированные авторы имели перед собой скорее «общинные» социальные структуры (*Gemeinschaft*), чем общественные. Их предмет исследования – непосредственно-публичные сообщества, опирающиеся на прямое насилие и совершенно реальную угрозу, если не уничтожения, то изгнания инакомыслящих. Когда Токвиль писал о «тирании

⁴ Ноэль-Нойман Э. Указ. соч. С. 252.

⁵ Макиавелли Н. Избранные сочинения. М.: Художественная литература, 1982. С. 352.

⁶ Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 223, 465.

общественного мнения», которая подавляет свободу мысли, он имел в виду давление на человека со стороны сообщества с его «общим» мнением. Аналогия с нашим тоталитарным опытом здесь уместна, но с существенной оговоркой: в XX веке шаблоны единомыслия накладывались на уже заметные основы многообразия и независимости мнений, что и делало неизбежным лукавое двоемыслие.

Вопрос в том, что и как побуждает людей в развитом современном обществе, где – принципиально и привычно – гарантируются возможности быть в меньшинстве, оставаться при своем мнении, где уже в силу анонимности социальной организации почти нет прямого группового давления на человека, – стремиться «примкнуть» к побеждающему большинству. (Речь идет, разумеется, не о поддержке по привычке или по каким-то идейным, личностным и тому подобным мотивам.) Объяснить это побуждение только страхом перед преследованиями или перед изоляцией вряд ли правомерно, если в обществе реально действуют плюрализм и терпимость и, в частности, устойчивой поддержкой некоторой части электората пользуются и такие политические направления и деятели, которые не имеют шансов завоевать большинство или значительную часть населения.

Можно полагать, что здесь действует такой фактор, как авторитет власти, обеспечивающей какой-то порядок и спокойствие в обществе. Как известно, в условиях президентской избирательной кампании 1996 года именно расчет на сохранение хотя бы минимальной стабильности в обществе, в конечном счете, обеспечил большинство Б. Ельцину.

Представляется интересным обратить внимание на другой, более деликатный, «внутренний» фактор. Следуя за предполагаемым большинством, человек преодолевает собственную неуверенность и избавляется от необходимости делать собственный выбор. Такой фактор в принципе неисторичен, а потому может действовать в разные времена. Дж. Медисон, один из отцов американской конституции писал,

что влияние общественного мнения на человека «в значительной мере зависит от его представлений о том, сколько других людей думают так же, как он. Человек... вообще боязлив и осторожен, когда остается один, но становится сильнее и увереннее в той мере, в какой полагает, что многие другие думают так же, как он»⁷.

Можно усмотреть два социально-значимых компонента в стремлении людей действовать, «как большинство», «как все». Во-первых – это позитивная ориентация на возможный успех, достижение или хотя бы сохранение некоторой позиции, статуса и прочее. Во-вторых – страх «высунуться», оказаться идущим «не в ногу». И не только потому, что отступник опасается каких-то санкций, но и потому, что у него существует, так сказать, «*внутренний страх*», примерно такой, какой описан Дж. Медисоном: человек боится не того, что его накажут, а самой позиции «не как все» или даже «против всех», грозящей разрушением слабой личности. Такой страх играл свою роль и при наличии, и при отсутствии внешних угроз. Человек может быть подвержен ему и вне всякой видимой связи с коллективной волей или репрессивными институтами общества. Этот страх растворяет в толпе даже одинокого и намеренно противостоящего этой толпе человека.

По всей видимости, в долгой череде саморазоблачений и покаяний, которыми наполнена история отечественного инакомыслия разных направлений, «внутренний страх» – помимо всего прочего – действовал с огромной силой. Конечно, лишь до тех пор, пока монолит «общего мнения» и стоящих за ним систем казался цельным.

⁷ Цит. по: Ноэль-Нойман Э. Указ. соч. С. 116.

Линии и противоречия «массовой социализации»

Общественное мнение, как уже отмечалось, исполняет свои социализирующие функции преимущественно по трем линиям: во-первых, через свой универсальный «язык» или категориальный аппарат; во-вторых, через систему общеупотребительных рамок социально допустимого поведения (правил игры на массовом поле); в-третьих, через механизмы идентификации человека с различными сегментами и структурами общества.

По всем этим направлениям процессы «массовой» социализации (то есть осуществляемой через механизмы общественного мнения) происходят в современных наших условиях весьма противоречиво: каждый «шаг вперед» неизбежно вызывает не просто сопротивление, но тенденцию возврата к отжившим структурам и способам действия.

Универсальная распространенность «языка» общественного мнения (с его плюрализмом, свободой слова и прочим), которая в нашем обществе стала общепризнанной на протяжении последнего десятилетия, прикрывает довольно примитивную дихотомию общественных сил, постоянно порождающую стремления к авторитаризму и прямому манипулированию тем же общественным мнением. Правда, реализоваться полностью они до сих пор не могли – и, скорее всего, не смогут – потому что, если сторонники авторитарных диктатур вынуждены обращаться к массам через поле общественного мнения, то есть прибегать к «неспецифическим» средствам, это говорит об их слабости, о том, что «специфические» средства военно-полицейского и бюрократического насилия утратили свою эффективность.

Опыт политически напряженных пред- и послеэлекторальных месяцев 1996 года дал обширный набор вариантов апелляции к общественному мнению со стороны политических и, особенно, властных сил – учет реальной ситуации, мобилизация архаических структур («всенародной поддерж-

ки»), манипулирование масс-медиа, подчеркнутое безразличие. Как и можно было ожидать, активизация «мобилизационных» механизмов воздействия на общество и общественное мнение не придали стабильности президентской власти, а напротив, стимулировали децентрализующие авторитарные тенденции.

Но именно этот, столь разнообразный, опыт ввел в обиход новый механизм общения властных структур друг с другом – через масс-медиа и общественное мнение (публичные «генеральские» разборки вокруг Коржакова–Куликова–Лебеда). В каждом случае реальным адресатом был, видимо, один человек, президент, а возбуждение общественного мнения служило лишь средством спровоцировать определенную реакцию с его стороны. В интересующем нас плане анализа важно отметить косвенное признание роли публичности даже в ситуации дворцовых интриг. (Вопреки традиционному правилу обращения с «сором из избы», он демонстративно выносится «через улицу».)

Другая особенность того же недавнего опыта – наличие разных «правил игры» как будто на одном и том же поле общественного мнения.

Прежде всего здесь сталкиваются привычные партикуляристские правила (привилегированные, «для своих») с современными универсалиями (общезначимыми нормами и правами). Торжественно провозглашенные гражданские права подчиняются интересам целостности или безопасности государства (как эти последние трактуются на данный момент в иерархии власти). Ответные реакции, ставящие превыше всего локальные, этнополитические, фирменные интересы, усиливают то же противоречие.

В электоральной ситуации это находит свое выражение в превращении борьбы политических сил в столкновение разных исторических эпох. Тем самым легитимизируется заведомое неравенство возможностей соперников не только в ис-

пользовании масс-медиа, но и в ориентации пропаганды и прочем.

Социальная идентификация как пример

Современные идентификационные процессы демонстрируют все типичные противоречия «массовой» социализации.

Неоднократно отмечался переход от единообразных и жестких принудительных рамок социальной идентичности привычного прошлого («мы советские люди») к многообразным, подвижным и в какой-то мере добровольным структурам, характерным для либеральных обществ. В связи с этим возрастает значение локальных и неофициальных параметров идентификации.

Так, в 1989–1994 годах заметно уменьшилась доля считающих, что человек «несет ответственность за действия своего правительства», а также связывающих мысль о своем народе с государством. Сопоставим с этим более поздние результаты исследования, проведенного ВЦИОМ по особой программе в трех регионах страны в 1996 году (N = 1000 человек).

Таблица 1

«Кем Вы скорее всего себя ощущаете...» (в % от числа опрошенных)

Варианты ответа	Ленинградская область	Воронежская область	Красноярский край
<i>Жителем...</i>			
своего микро-района	7	5	6
города (села)	50	43	44
области, края	4	11	8
России	39	41	42

Как видим, доминирующей всюду является региональная идентификация по сравнению с общероссийской (притом «общий счет» по каждому региону почти неизменен – 6:4).

Однако все эти показатели разгосударствления и деидеологизации уровня идентификационных процессов отражают лишь одну сторону нынешнего положения. Медленно, с трудом, но заметно формируется тенденция отождествления с Россией как с новым государственным образованием. То есть все большая доля опрашиваемых считает себя уже не советскими, а российскими гражданами, – что можно считать признаком привыкания к официально-политической реальности. Но поскольку сохраняются механизмы и условия для «всеобщей» мобилизации, существует и возможность активизации факторов патриотической и идеологической идентификации «старого» типа, характерного для непреходящего прошлого.

Комплекс зависимости и «вырожденный патернализм»

«Вертикальные» отношения в общественной системе (господство–подчинение) становятся доминирующими при неразвитости или разрушении отношений «горизонтальных» (договорных, партнерских). В советских условиях отношения к «высшему», «начальственному» (контролирующим инстанциям) неизменно преобладали над всеми типами отношений к «ближнему», и этим определялось – и в значительной мере определяется донныне – преобладающее значение вертикальных связей. Соответственно и общественное мнение организуется преимущественно по оси вертикальной, неравноправной зависимости, – причем это относится не только к ситуациям пассивного подчинения, но в такой же мере и к ситуациям явного или скрытого протеста, ориентированного, естественно, «наверх», к вершине политической пирамиды.

Эта пирамида не является «государственной», – по край-

ней мере, в современном смысле этого термина. Иерархическая, статусно-дифференцированная, идеологизированная система относится скорее к «гемайншафтным», чем к собственно государственным образованиям (в терминологии Ф. Тённиса). В ней доминируют не универсальные нормы (законы, ценности), а сугубо партикуляристские и утилитарные регулятивы (ориентации на обязанности и привязанности в отношении «своих» и тому подобное).

Скорее всего такую систему можно характеризовать как *патерналистскую*, построенную на принципах «отеческой» заботы (со стороны правящей элиты) и «сыновнего» послушания (со стороны «народа»). Патерналистская модель предполагает всевластие «верхов» и почтительное послушание «низов», подкрепленное соответствующими контрольными и социализирующими институтами. Однако то состояние общественной системы, с которого реально начинается отсчет времени нынешних перемен – это уже патернализм *вырожденный*, оставшийся «без божества, без вдохновенья», не способный ни всерьез увлекать иллюзиями, ни пугать тотальными репрессиями. В этом состоянии он мог держаться лишь на всеобщем и все более значимом *лукавстве* (двоемыслии): видимость всеобщего контроля, подкрепленная видимостью всеобщего подчинения. Эти характеристики, довольно давно вошедшие в обиход социального знания, позволяют представить важнейшие особенности интересующего нас ныне действующего комплекса.

«Лукавая» асимметрия

Патерналистская иерархия закрепила принципиально асимметричные отношения «верха» и «низа», которые базируются на различии самих критериев поведения (по известному принципу «что дозволено Юпитеру...»). Общество, не прошедшее исторической школы демократического и гуманистического воспитания, не воспринимает самой идеи уни-

версальности гражданских прав и обязанностей: от допущенных «наверх» ожидают не того, что от остающихся «внизу», и наоборот. Соответственно различными оказываются и рамки допустимого, причем на обоих полюсах эти рамки весьма широки в эпоху патернализма вырожденного. Систематический обман населения старой и современной пропагандой, в том числе предвыборной или экономической, а также государственный налоговый и прочий рэкет оцениваются большинством как нечто столь же правомерное, как массовое уклонение от уплаты налогов и так далее.

Патерналистское сознание воспринимает демократию прежде всего как милостивую заботу правящей элиты о своих подданных и послушание со стороны последних. Опросы общественного мнения неизменно показывают, что признаками демократии считаются соблюдение порядка и поддержание благополучия. Ни демократическое участие, ни демократический контроль над властью – иными словами, формирование соответствующих институтов участия и контроля – не находятся в поле общественного внимания, которое мы представляем по массовым исследованиям.

Поэтому, между прочим, шумные «придворные» разборки последних перед выборами месяцев практически не отражаются на состоянии общественного мнения: от «них» просто не ждут соблюдения универсальных обычных правил поведения. При обилии скандальных ситуаций у нас практически невозможно нравственное потрясение вроде «Уотергейта», которое бы затронуло всю страну. Само раздувание в масс-медиа различных скандальных ситуаций внутриаппаратного происхождения ориентировано преимущественно на аппаратное восприятие (точнее даже, на восприятие одним единственным человеком, президентом).

Более общее значение имеет тот «лукавый» вариант реально действующего общественного договора, который выражен ироничной формулой советского периода: «мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что выплачивают нам

зарплату». В этой словесной формуле выражен целый пучок вполне серьезных и сохраняющих свою действенность допущений: символический взаимообмен на основе взаимно принятых условностей. Кстати, как показали, в частности, события 1996 года, нарушение этого договора было воспринято общественным мнением достаточно серьезно. По данным исследования типа «Новогоднее» (в канун 1997 года, N = 1600 человек), в качестве главного события года наибольшая доля опрошенных назвала невыплаты зарплат и пенсий – уровень внимания к этой ситуации (42%) превысил интерес к замирению в Чечне (39%) и тем более – к российским президентским выборам (26%).

«Лукавый» патернализм – закономерный продукт распада системы, декларировавшей тотальный контроль над обществом. Последствия этого распада многообразны и неоднозначны. Соблюдение предполагавшихся им условностей и допусков, глубоко вошедших в массовые привычки, было средством самосохранения как для стремившихся властвовать, так и для стремившихся к «выживанию» (при определенной – и различной для разных периодов – роли государственного механизма всеобщего устрашения и контроля). Развал этого механизма без формирования действующей правовой системы и создал нынешнюю ситуацию неупорядоченного и неограниченного лукавого двоемыслия.

Универсальное недоверие: фон и функции

С начала 90-х годов наши опросы неизменно показывают высокий уровень массового недоверия ко всем ветвям власти, который колеблется в известных пределах в условиях массовой политической мобилизации. Всеобщее недоверие к основным политическим институтам общества можно считать универсальным фоном всех событий и перемен последних лет. Объяснение этого явления не может быть простым.

Вот ситуация 1996 года со всеми его перипетиями поли-

тической мобилизации и последующего разочарования.

Таблица 2

Доверие и недоверие респондентов к власти
(в % от числа опрошенных)*

	Март	Июль	Сентябрь
К президенту			
Полное доверие	10	23	12
Неполное доверие	37	38	40
Недоверие	41	28	36
К парламенту			
Полное доверие	5	9	5
Неполное	39	44	43
Недоверие	27	21	31
К правительству			
Полное доверие	5	13	8
Неполное доверие	39	44	44
Недоверие	27	24	32

* Исследования типа «Мониторинг», 1996 (N = 2400). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Отсутствие надежного эмпирического материала относительно ситуации до конца 80-х годов не исключает возможностей теоретической реконструкции, – которая в известной мере опирается на накопленные представления о механизмах процессов общественного мнения. Известные проявления массового «единодушия» в 20–80-х годах, в том числе в ситуациях всеобщих голосований – независимо от соотношения иллюзий, послушания, устрашения, фальсификации и прочего – очевидно не имеют того смысла, который правомерно вкладывать сейчас в отношения политического доверия–недоверия, как они предстают, в частности, в опросах общественного мнения.

Годы первоначальной перестройки соединили эту карти-

ну с определенными иллюзиями и надеждами части населения, но не изменили ее природы (хотя бы потому, что отсутствовали условия для альтернативной установки, то есть недоверия). Поэтому само формирование таких условий в общественном мнении – возможности голосовать не только «за», но и «против», – стало важным шагом на пути развития политического самосознания общества. Правда, этот шаг определил и существенную ограниченность всего механизма общественного доверия–недоверия: с самого начала оно ориентировалось не столько на конкретные акции властвующих лиц, органов и институтов, сколько на собственные иллюзии в отношении этих субъектов действия. М. Горбачев лишился массовой поддержки не столько из-за своих колебаний в политике, сколько из-за того, что не оправдал иллюзий, которые первоначально с ним связывались; через два-три года то же произошло и с Б. Ельциным. Недоверие к политическим лидерам – распространенное, как водится, и на институты власти – выступило прежде всего как показатель общественного *разочарования*. А далее этот индикатор (постоянно муссируемый значительной частью интеллигентски-демократической прессы и публики) превратился в своего рода константу, непремennую принадлежность всех настроений и оценок общественного мнения. Причем в константу, исполняющую определенные общественно значимые *функции*.

Одна из них – выражение отстранения массы населения от власти как чужой, далекой, даже мало интересной. Обратная сторона «недоверчивого» самоотстранения народа от власти – сохранение властной системы, отстраненной от массового участия и контроля, то есть системы, далекой от демократии участия.

Недоверие и неуважение к властным институтам, особенно к праву и правовой организации этих институтов – давняя черта всей ментальности отечественного самовластия и бунтарства. Российский «духовный» анархизм и советская традиция небрежения всеобщими правовыми принципами вне-

сли свою лепту в формирование сугубо утилитарных, инструментальных установок по отношению к государству, праву, парламентаризму и прочему. Нескончаемые распри между исполнительной (президентской) и представительной властями 1992–1996 годов первоначально скорее закрепляли довольно рискованное противопоставление «полезных» и «бесполезных» институтов (к последним, естественно, относились представительные и правовые); неизбежным результатом этого явилось негативное отношение ко всем и всяким властям. Если, скажем, в 1992–1993 годах уровень недоверия к парламенту (Верховному Совету) значительно отличался от уровня недоверия к президенту, то в указанное время эти показатели разнятся мало.

Политическая мобилизация в период президентской избирательной кампании 1996 года показала, что механизм общественного доверия–недоверия по отношению к определенным деятелям может выступать как ресурсный по способу действия: невысокое или недемонстрируемое доверие исполняет функции потенциального ресурса, который актуализируется в процессе политической мобилизации. Что и произошло за сравнительно короткий период с мая по июнь 1996 года с ресурсом доверия к Б. Ельцину.

Недоверие к лидерам и институтам, ставшее универсальным фоном общественной жизни – при всех колебаниях в настроениях и симпатиях отдельных групп, – неспособно к исполнению функций «бунтарской» (протестной) мобилизации. Как уже отмечалось, недоверие ближе всего к безразличию и отстраненности. (В этих условиях, если использовать распространенный образный код, смысловое расстояние между слоганами «на фонарь!» и «до фонаря» оказывается коротким.)

При преобладающем универсальном недоверии к политическим институтам и лидерам страны в акциях протеста против их социальной политики (наиболее явно затрагивающей интересы большинства населения) готовы принять участие в

этот период не более четверти опрошенных. В реальных же забастовочных акциях принимали участие, по опросным данным, 5,5% респондентов на начало 1995 года и 4,4% в соответствующий период 1996 года. Вряд ли противоречит по смыслу этому типу индикаторов небывалое за последние годы единодушное большинство населения, одоббившего в декабре 1996 года забастовку, организованную профсоюзом угольщиков. 63% опрошенных заявили тогда, что полностью поддерживают эту акцию, еще 17% – что в целом разделяют позиции шахтеров, хотя считают их выступление несвоевременным (исследование типа «Экспресс», N = 1600 человек). Таким образом, эта декларативная поддержка оказалась не стимулом к более широкому протесту, но скорее средством «выпустить пар» протестного настроения, разогретого ситуацией повсеместных невыплат заработной платы.

Как видим, «всеобщее» состояние социального недоверия не имеет прямой связи даже с декларативным протестом («готовность участвовать...»), а тем паче – с реальным участием в акциях протеста. Более того, продолжая высказанное выше соображение о функциях отстраненности, можно утверждать, что хроническое недоверие не столько аккумулирует, сколько гасит, демпфирует энергию социального и политического протеста, создавая некую постоянную отдушину для нее, и тем самым противостоит тенденциям и настроениям «катастрофизма». Постоянный «псевдо-бунт» подавляет в зародыше потенциал вспышки «бунта» реального. В этом, как представляется, и состоит основная функция массового недоверия по отношению к лидерам, глашатаям, институтам, обещаниям, декларациям. Хотя в то же время всеобщее недоверие время от времени создает почву для вспышек персонализированных иллюзий и надежд в отношении фигур, облик которых не укладывается в неодобряемую, но терпимую систему.

Парадигма персонификации

В примитивном политическом сознании, которое переносит на безличные социальные структуры и символы характеристики межличностного общения, все общественно значимое выступает в персонифицированном виде – и корни «зла», и надежды на «добро». Из этой парадигмы примитивизма наше массовое сознание никак не может выбраться.

Наиболее глубокая основа ее устойчивости – в том партикуляризме сознания (выделяющего в качестве главной оси не универсальное, а «свое»), которое отмечалось выше. Если «привязанности» превалируют над обязанностями, закрепляется псевдоличностное отношение – прежде всего по доминирующей вертикальной оси. Предложенный пропагандой «классических» для режима 30-х годов «лирический проект» такой персонификации (штампы типа «родное правительство», «любимый вождь») оказался неработоспособным, и в «сороковые-роковые» его сменил сконструированный на иной лад и более адекватный массовым ожиданиям образ грозного заоблачного владыки.

Начиная с эпохи великих разоблачений персонификация относится преимущественно к силам «зла» (хотя в наследии диссидентской и либеральной мысли тех лет определенное место занимала и надежда на «нового Хрущева»). Решившись разоблачить крайности режима, Н. Хрущев и его сторонники, как известно, использовали эту же персонифицирующую парадигму (полузабытый сейчас эвфемизм «культ личности», воплощенный в лейтмотиве знаменитого доклада 1956 года: Сталину доверили, а он злоупотребил). В политическом обиходе подобная фразеология сейчас почти не употребляется, но соответствующие ей рамки массового сознания продолжают работать. Учитывая, что наблюдается явное предпочтение персонализованного представления о «виновниках», вполне соответствующего стандартам массового воображения прошлых десятилетий. Так, причины крушения

советского строя в 1995 году только 23% респондентов объясняли пороками социалистической системы, а 55 – дурными качествами руководителей (в 1996-м – соответственно 29 и 53%).

При этом поиск «виноватого», кстати, не только отводил упреки от содержания общественно-политической системы и политики, но и довольно эффективно служил – и продолжает служить – противоядием от комплекса общей вины и, соответственно, покаяния.

В рамках «перестроечных» и последующих иллюзий ореол благодетельного реформатора последовательно переходил от Горбачева к Ельцину, а летом 1996 года – на время – оказался у генерала Лебеда (точнее, у того образа генерала, который сконструировала и которым увлеклась с середины июня образованная часть российского электората). Эти три фигуры образовали в какой-то момент в общественном мнении некую цепь исполнения неисполненных желаний: Ельцин воспринимался как более решительный и искренний Горбачев, и подобным же образом (при всем снижении чина и образа) – Лебедь как более рассудительный, искренний и решительный Ельцин. В данном случае нас интересует не то, насколько подобные иллюзорные конструкции реализуются или могут реализоваться в каком-то будущем, – это другая проблема, – а то, как и почему они строятся вновь и вновь. Пока электоральная процедура воспринимается как «выбор судьбы» – примеры из той же искусственно разогретой политической атмосферы лета 1996 года – высокопоставленный чиновник воспринимается в ореоле героя (или антигероя).

Между псевдохаризмой и псевдопопулизмом

Сначала – некоторая толика буквоедства, которое иногда способствует точности понятий. Идеи *харизмы* и харизматической власти, выпущенные некогда М. Вебером в сферу социального мышления, давно утратили свой изначальный

смысл и претензии на строгость. По Веберу, харизмой именуется «определенное качество индивидуальной личности, благодаря которому он отделяется от обычных людей и рассматривается как наделенный сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, особыми и исключительными качествами»⁸. Типами харизматиков для него были такие фигуры, как Франциск Ассизский, но не политические авторитеты XIX–XX веков при всем их личном влиянии или популярности. Для него харизма – феномен, стоящий вне социальных институтов и предшествующий им; само формирование таких институтов он склонен был рассматривать как «рутинизацию харизмы». Современные комментаторы и пользователи взглядов М. Вебера в разных странах давно нарушили методологическую чистоту понятия и ввели в обиход размытое, даже метафорическое, понимание харизмы как личного влияния, силы личности, своеволия, личной власти, самоуправления и так далее различных персонажей современной политики, которые могли действовать только в жестких институциональных, государственных, партийных рамках и с их помощью. В результате термин превращается в «модное» методологическое словечко, в ярлычок, лишенный собственного содержания, а значит и способности объяснять социальные явления.

В современной отечественной истории нет пламенных пророков, которые своим голосом и волей были бы способны двигать массами. Все авторитетные политические герои и антигерои, которых мы знаем, опирались на партийные и военно-полицейские организации и только с их помощью могли утвердить собственное влияние. Самоуверенность, личная энергия и прочие качества из стандартного «лидерского» набора, конечно, действовали, но лишь в этих рамках. Это относится и к вождям большевистского типа, и к лидерам пост-

⁸ Max Weber on charisma and institutional building. Chicago, 1968. P. XVII.

советских лет. Никакой особой харизматической силой никто из них не обладал.

Это не снимает, но, как мне представляется, переформулирует проблему личного влияния современных лидеров на события и – что по-своему важно – на массовое восприятие событий. В строго централизованной системе тоталитарного общества привилегию говорить «своим голосом» – давать объяснения и, как принято было говорить, «формулировки» – имел лишь поставленный на вершину пирамиды, другим приходилось повторять или помалкивать. Длительное «одноголосие» завершилось неизбежным всеобщим «безголосием»: политический фон создали деятели, лишённые собственного языка (это, конечно же, одно из проявлений примитивизма самой политической сцены). И на этом фоне уже пародийная фигура В. Жириновского создает образец самостоятельности, на который волей-неволей спешат равняться чуть ли не все, кто хотел бы выдвинуться из общего ряда – независимо от пристрастий и антипатий.

В общественном мнении представления о личности, обладающей «своим голосом», сплетаются и с надеждой на «сильную руку», которая заметно растёт – по мере того, как забываются невыученные уроки прошлого и усиливаются ощущения нарастающего беспорядка в стране.

Но неординарные личные качества не создают харизмы, а реальных (инструментальных, организационных) оснований мечта о «сильной руке» не находит; поэтому она и остается иллюзией – утешительной для одних и тревожной для других.

Сопоставим ответы на вопрос о единоличной власти, который ставился в исследованиях ВЦИОМ в 1989 году (программа «Советский человек») и семь лет спустя, в 1996 году.

Таблица 3

**«Бывают ли ситуации в жизни страны, когда народу
нужен сильный и властный руководитель?»**
(в % от числа опрошенных)*

Группы	Варианты ответа					
	«постоянно»		«иногда»		«нельзя»	
	1989	1996	1989	1996	1989	1996
Всего	26	37	16	32	45	18
По возрасту						
до 25 лет	22	34	16	32	47	16
25–39 лет	20	29	16	35	50	20
40–59 лет	33	45	20	28	42	18
60 лет и старше	31	45	10	28	42	18
По образованию						
высшее	13	21	20	42	60	29
среднее	22	34	15	32	49	19
ниже среднего	37	46	15	28	35	13

* Исследование по программе «Советский человек», 1989 (N = 1250 человек) и типа «Мониторинг», 1996 (N = 2400 человек).

Респондентам были предложены следующие варианты ответа:

1. Нашему народу постоянно нужна «сильная рука».
2. Бывают такие ситуации, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках.
3. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека.

Таким образом, за семь лет заметно (в полтора-два раза) возросла демонстративная готовность признать «сильную руку» единоличного лидера и еще более существенно уменьшилось отторжение такого признания. Причем довольно резко изменились установки всех возрастных и образовательных групп. Синдром отторжения единоличной власти, явно связанный с годами подъема перестройки и характер-

ным для них тоном критики советского прошлого, перестал действовать.

Может показаться, что в результате произошел какой-то крутой поворот всего вектора общественных ожиданий – от демократических к авторитарным и даже лично-авторитарным. Если не учитывать следующую очень важную особенность структуры общественного мнения – его двуслойность, бинарность, в данном случае, разделение декларативных и реальных ориентаций. Когда демократические ориентации, например, остаются декларативными или эмоциональными, если они противопоставлены рамкам советско-партийного режима, то есть не опираются на предпочтения демократических институтов («эмоциональная демократия» образца 1988–1989 годов). И аналогичным же образом остаются чисто декларативным протестом против очевидного беспорядка и беспредела апелляции к «сильной руке», *если* они не имеют реального институционального адреса – режима, организации, структуры власти. (Обращение к историческим параллелям отечественного, немецкого, китайского и так далее происхождения показывает, что всюду такая адресация была.)

Неплохим подтверждением сказанному может служить расхождение между уровнями авторитарных деклараций и уровнями принятия авторитарного режима: доля сторонников жесткой диктатуры за прошедшие годы почти не меняется, колеблясь в пределах от четверти до трети опрошенных (в январе 1996 года – 34%).

Власть, стремящаяся показать свою силу, – как видно по развитию обстановки в странах нашего общего прошлого от Туркменистана до Беларуси – может использовать инструменты *популизма*, то есть непосредственной апелляции к массе, минуя политические институты и элитарные структуры. Такая апелляция присуща любым авторитарным и тоталитарным режимам, в том числе и советскому, ее одинаково часто используют как сторонники, так и оппоненты властных

структур постсоветских лет. Но она всегда и всюду служит добавочной, скорее даже идеологической, чем реальной опорой власти. Когда собственно популистский режим столь же невероятен, как «харизматический».

Итак, ориентации почти без доверия, иллюзии без расчетов, недоверие без протеста – таковы вертикальные линии, образующие комплекс зависимости, действующий в нашем общественном мнении.

Ожидание и терпение

Анализ рядов данных, относящихся к массовым ожиданиям (кто – чего – когда – благодаря чему – ожидает и так далее.), обнаруживает некоторые особенности восприятия социального *времени* в общественном мнении. Притом времени достаточно специфичного. Это не «будущее» (в смысле того, что видится «там, за поворотом», дальним или ближним), а как бы «продленное настоящее». Изучение ответов на вопросы об ожиданиях или терпении позволяет понять, каковы рамки этого «продления» у различных групп населения.

Возьмем, для примера, следующие данные.

Таблица 4

Отношение к экономической реформе и ожидания от нее (в % от числа опрошенных по группам отношения к реформе, по столбцу)*

Когда реформа принесет плоды для большинства населения?	Всего	Отношение к экономической реформе		
		продол- дол- жать	прекраща- ть	затруд- нились ответить
Через 1 год	0	0	0	0
Через 2 года	1	1	1	1
Через 3–5 лет	11	19	7	8
Не ранее 10 лет	18	29	11	14

Когда реформа принесет плоды для большинства населения?	Всего	Отношение к экономической реформе		
		продол- дол- жать	прекра- кра- тить	затруд- нились ответить
Не ранее 15 лет	6	6	5	6
Не ранее 25 лет	4	5	3	4
Реформа ничего не изменит	9	5	12	9
...только ухудшит	7	1	17	5
...так и не начнется	4	4	3	4

* Исследование типа «Мониторинг», январь 1996 (N = 2400 человек).

Как видим, лишь около трети населения относит решение проблемы экономической нормализации к обозримому времени (до 10 лет). Что лишь подводит к постановке вопроса о том, как люди располагают во времени свою готовность *выносить* современные трудности и/или *ожидать* изменений к лучшему.

Отметим, что все эти параметры восприятия времени (точнее, изменений ситуации во времени) не относятся ко времени активного, запрограммированного, рассчитанного на успех социального действия.

Наблюдаемое за последние годы колебание оценок собственного положения и ситуации в стране почти у всех групп населения (кроме самых молодых и активно включенных в новую экономику) происходит в жестко негативных рамках. И одновременно показатели терпения почти стабильны, а их изменения могут быть поставлены в связь с состоянием социально-политической ситуации в стране.

Представляется, что «за» рассмотренными индикаторами состояния общественного мнения кроется сложный пучок неоднородных ожиданий и установок, которые в разной мере

раскрываются в опросах. По-видимому, для одних «терпение» – это ожидание улучшения, для других – надежда на «неухудшение» ситуации (характеризуемой анкетной опцией «...можно терпеть»), для третьих – выражение апатии и безразличия. От сочетания и соотношения таких «компонентов» и зависит, в конечном счете, состояние и перспектива общества.

В основе надежды на то, что при всех бедствиях и трудностях все же «можно терпеть» – перед нами расщепление социального времени на «общее» и «свое», обособленное. Когда значительная часть населения надеется на то, что ее мало заденут пертурбации общеэкономического и «верхушечного» порядка. Так, по исследованию «Советский человек–2» (1994, N = 3000 человек) почти две трети респондентов (61%) соглашались именно с таким вариантом отношений: «пусть «наверху» занимаются своими делами, а я буду заниматься своими».

«Свои» среди «чужих»

Исторический и современный отечественный опыт показывают, как универсальная *проблема* сопоставления «своих» и «чужих» (людей, стран, ценностей) превращается в сложный и нередко даже болезненный *комплекс* – рамку соотношения, которая в значительной мере определяет национально-государственное сознание «человека российского» (в недавнем прошлом – советского).

Основной фактор, осложняющий всю сеть «нормальных» горизонтальных (то есть одноуровневых) соотношений в общественном мнении этого человека, – слабость внутренней организованности. Подобно тому как государственная общность имперского типа нуждалась в том, чтобы определять себя через отношения с другими, вновь и вновь доказывая свою способность выжить среди других государств, человек, прикованный узами патерналистской зависимости к такому

государству, нуждался в том, чтобы утверждаться опять-таки через сопоставления с людьми других стран и культур («чужими»). «Маленький человек», пока он чувствует себя таким, прячется в тени казенного величия, – одна из вечных тем отечественной литературы и идеологии⁹. К этой исторически нерешенной проблеме, в основном обусловленной запоздалой модернизацией, в наши дни добавились неопределенности, связанные с распадом Союза и изменением положения России в мире.

В этих условиях апелляция к державному *величию* неизменно оказывается элементом комплекса *неполноценности* – своего рода компенсацией за мучительное ощущение собственной униженности.

Данные опросов обнаруживают, что расставание с представлениями о «первой державе», наделенной особой миссией, обязанной переделать мир по своему образу и подобию – существенный элемент переживаемой большинством населения (правда, скорее людьми старших возрастов) утраты «союзной» идентичности; более молодые воспринимают эту утрату несколько в ином плане – как разрыв личных связей. Поскольку самовозвеличение оказывается оборотной стороной переживания собственной отсталости, то неизбежным его дополнением служат приемы и формулы самоуничижения (самохарактеристика «совка»: мы-де не такие, как все, нам не нужно то, что всем и тому подобное).

Примером этого могут служить варианты оценок отсталости страны. В исследовании 1989 года почти три четверти – 72% – опрошенных отмечали отставание страны (СССР) как бесспорный факт, пять лет спустя, в 1994 году отставание отмечали уже существенно реже – 41%.

Наибольшую гордость в отечественной истории у рес-

⁹ Ср.: «Истинно великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою» (Шатов в «Бесах», ч. 2, гл. 1, VII – см.: *Достоевский Ф.М.* Полн. СОБР. Соч. Т. 10. М., 1974. С. 200).

пондентов 1996 года вызывала победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (мнение 44%). Концентрация национальной гордости вокруг такого события (на следующем месте по частоте упоминаний – «великое терпение русского народа», 39%) несет явную функцию возвышения самооценки. А это не только мешает трезвой оценке уроков мировой войны и ее последствий, но задает упрощенную оценочную рамку всему историческому сознанию (точнее, мировосприятию). Одно из частных, но крайне актуальных сейчас последствий действия подобной рамки – трудность восприятия таких военно-политических поражений, как чеченское.

Весьма важная черта того же комплекса – установка на поиск «*врага*», обидчика, некоей злой силы, на которую принято сваливать вину за бедствия прошлые и нынешние.

В годы расцвета «перестроечной» самокритики ссылки на внешних врагов утратили популярность: по исследованию «Советский человек» –1 (конец 1989) только 3% опрошенных отмечали, что «страна окружена врагами со всех сторон», большинство же (51%) соглашались с тем, что «зачем искать врагов, когда корень зла – в собственных ошибках». Но веяния начальной перестройки и в этом пункте не оказали устойчивого влияния на массовое сознание. Пять лет спустя 42% (против 38%) готовы были вновь согласиться с тем, что «Россия всегда вызывала у других государств враждебные чувства, нам и сейчас никто не желает добра». Причем в качестве основных «врагов» снова фигурируют западные державы и капиталисты. По более поздним данным (июль 1996), четверть опрошенных выражали мнение, что Россия плохо живет, потому что это «выгодно западным странам».

Не утратила своего значения и ссылка на «внутренних врагов». Если в исследовании 1989 года (где «внутренних врагов» упомянули 23% опрошенных) этот образ можно было интерпретировать как «врагов перестройки», то позднее он приобрел вполне определенные черты «чужого», прежде

всего – этнически чужого. В 1995–1996 годах около 30% респондентов поддерживали утверждение о том, что многие социальные беды страны происходят «по вине нерусских, живущих в России».

Понятно, что отсылки к образам врагов и виновников играют исключительно важную роль как в недопущении самого духа рациональной самокритики, так и в вытеснении за пределы массового сознания идеи *вины и раскаяния*. Многочисленные и слабые попытки преодоления собственного прошлого, предпринимавшиеся за сорок лет, после 1956 года, по всей видимости, способствовали тому, что массовый человек в России оказался просто неспособен отстраниться от этого наследия. В результате чего утратили смысл (или превратились в проблемы исторической перспективы) все призывы к покаянию, осуждению виновных и прочее; не получили популярности требования кадровых чисток (люстрации). Но в то же время ни повседневный опыт, ни исследования не обнаруживают настроений *мести*, в том числе и по отношению к населению стран, бывших противниками в войнах. Возможно, это связано именно с тем, что «враги» и «виновники» в массовом российском сознании выступают не как конкретные субъекты правовой или нравственной ответственности, а как исполнители некой необходимой «мифологической» функции: «образ врага» нужен для самооправдания, самоутверждения.

Комплексы и фобии

Фобии – устойчивые, навязчивые страхи, присущие общественному мнению. Их, разумеется, не следует смешивать с предметными или ситуативными опасениями, которые постоянно обнаруживаются в исследованиях (скажем, страхи в отношении утраты здоровья, работы, благополучия, опасения конфликтов и прочее). Фобии связаны не с «предметом», а с самой структурой общественного мнения. В отличие от ком-

плексов фобии, как представляется, дисфункциональны: они определяют «утрату», разрыв (возникновение проблемы), комплекс же как бы «находит» некий выход, подсказывает готовый вариант решения.

Отметим два, видимо, наиболее общих, типа фобий, связанных с рассмотренными выше комплексами общественного мнения: во-первых, это страх утраты «ресурсов», и во-вторых, утраты собственной *идентичности*. Вокруг этих осей расположены едва ли не все устойчивые страхи, которые фиксируются в исследованиях.

С опасениями в отношении ресурсов связана значительная часть «личных» страхов (здоровье, работа, благополучие и прочее), но также и угроз, относимых к социальным общностям. Судя по опросным данным, наше общественное мнение постоянно опасается распродажи или расхищения национальных богатств России частным бизнесом или иностранцами. Понятно, что «ресурсная» проблема ставится при этом в рамках противопоставления «своего–чужого», а отнюдь не в парадигме эффективного хозяйствования.

Фобия же утраты идентичности количественного выражения не имеет и относится к тождественности личного или социального субъекта как такового. Это как бы страх потерять себя, перестать быть собой, утратить идентичность со своей страной, группой и так далее.

Идентификационный кризис российского общества последних лет постоянно акцентирует разные версии фобии идентичности. Опасения количественного ущерба территории или культурному своеобразию воспринимаются как угрозы «качественного» порядка – в отношении целостности страны и тождественности культуры. Сюда можно отнести, вероятно, и страх перед «неожиданным», который играет одновременно роль фактора общественной стабилизации.

Постоянное опасение утраты идентичности стимулирует такой распространенный жанр демонстративной социальной активности как *разоблачения*. В отличие от юридических или

подобных им ситуаций, где определенные действия соотносятся с нормативными предписаниями, акты разоблачения ориентированы на переоценку идентификации («срывание масок», обнаружение некой потаенной структуры личности или организации). По этому шаблону строились все виды «охоты на ведьм», независимо от эпохи и характера участников соответствующего действия. Угроза разоблачения закрепляет страх «быть разоблаченным» (синдром «голового короля»), стремление затаиться, укрыться от публики и так далее. Неудивительно, что трансформация публичной политической борьбы в подковерную, увенчавшая избирательные перипетии лета 1996 года, приводит к серии акций именно такого рода.

«Мониторинг...» 1996. № 1

ЧЕЛОВЕК, ТОЛПА, МАССА

Российское общество и российский (постсоветский, полусоветский) человек с трудом осваиваются с феноменами массового влияния, которые подобны западным «рекламно-рыночным» или «рекламно-политическим» образцам. Факторы и пределы такого убеждения требуют обстоятельного анализа. В частности, это относится к пугающему одних и ободряющему других (в зависимости от позиции) представлению о всемогуществе масс-коммуникативного влияния на массовую аудиторию, на «массового» человека. Ряд вопросов принципиального порядка порождает аналогичность – или, скажем, видимую технологическую близость – повседневной коммерческой рекламы и столь памятной по избирательным кампаниям навязчивой политической агитации. В конечном счете это приводит к одной из граней извечной проблемы общественного человека: как и насколько может и желает человек поддаваться давлению коммуникативных средств «массового поражения».

Толпа и масса: психологические аналогии и упущения

Недавно в России была издана известная книга Сержа Московичи¹, которая представляет действия людей в современном «массовом» обществе как поведение «толпы». Автор опирается при этом преимущественно на сформированные в конце прошлого века мнения Г. Тарда и Г. Лебона, отчасти на суждения З. Фрейда.

Собственный предмет исследования (скорее, впрочем, только описания) он представляет так: «Толпа, масса – это социальное животное, сорвавшееся с цепи. Моральные запреты сметаются вместе с подчинением рассудку. Социаль-

¹ См.: *Московичи С.* Век толп / Пер. с франц. М.: «Центр психологии и психотерапии», 1996.

ная иерархия ослабляет свое влияние. Стираются различия между людьми, и люди выплескивают, зачастую в жестоких действиях, свои страсти и грезы: от низменных до героических, от иступленного восторга до мученичества. Беспредельно кишащая людская масса в состоянии бурления – вот что такое толпа.... В цивилизациях, где толпы играют ведущую роль, человек утрачивает смысл существования так же, как и чувство «Я». ...индивид умер, да здравствует масса! Вот тот суровый факт, который открывает для себя наблюдатель современного общества»².

Должно быть, позитивный смысл открытия коллективной психологии в конце XIX века и напоминания об этом сейчас – во внимании к групповым действиям, которые несводимы к поведению отдельных их участников. Это относится к целеполаганию, к нормативным акциям и к эмоциональным порывам. Введение в научный оборот, как принято говорить, хорошо забытого прошлого, примерка давно отложенных в сторону теоретических схем к реалиям массовых процессов уходящего XX века плодотворны хотя бы тем, что активизирует исследовательское воображение и вновь оживляет дискуссии вокруг соответствующего предмета.

В то же время положения самой концепции С. Московичи, если рассматривать ее в плане методологии социальных процессов, вызывает возражения принципиального порядка.

Масса (как объект воздействия масс-коммуникации, в том числе коммерческой рекламы и политической агитации) в некоторых отношениях подобна толпе: в обоих случаях налицо множество людей, которые не связаны какой-либо формальной организацией, но подчиняются однотипным шаблонам поведения, способны «заражаться» определенными настроениями (например страхом, ненавистью) и превращать их в поступки, стремятся следовать («подражать», в терминологии Лебона) принятым образцам поведения, опа-

² Там же, С. 28, 56.

саются коллективных санкций в случае отклонения от таких образцов и прочее. Но подобие отдельных компонентов действия или элементарных *психологических* структур не означает тождественности *социальных* механизмов и типов действия. Попытка «психологизации» социальных проблем часто подводит исследователей.

Толпа – коллективно-психологический феномен, то есть конкретная группа непосредственно – психологически и практически – взаимодействующих друг с другом лиц. Масштаб деятельности толпы ограничен количеством его участников (от нескольких человек до нескольких тысяч), временем (минуты и часы), пространством (улица, стадион, поле и тому подобное). Толпа может быть неистово-агрессивной, иступленно-восторженной, панической.

В толпе теряют значение индивидуальные и статусные различия, действующие в «обычных» условиях социальные нормы и табу. Толпа понуждает отдельных людей одинаково действовать и буйствовать, сминает всякую попытку сопротивления или сомнения – тут понятны аналогии с бешеным потоком, селом и прочее. Но это лишь аналогии: поведение самой неистовой толпы имеет свою логику – логику социального действия, участники которого действуют как существа социальные. В действующей толпе, особенно в сплоченной, всегда можно обнаружить более или менее определенную и устойчивую собственную структуру. В ее основе лежит некоторый традиционный поведенческий стереотип (ксенофобия религиозная или этническая, кровная месть, «право» Линча) и ролевой механизм (например: подстрекатели, активисты, крикуны и так далее). Нечто подобное существует и в ситуации разобщенной, панической толпы (стереотип «спасайся, кто и как может» и соответствующее распределение ролей). Ролевой набор в толпе беден, функции сводятся к триггерным и усилительным.

Время существования всякой отдельной толпы коротко, но толпа как вид социальной группы извечна, она может дей-

ствовать в рамках – и в «порах» – разных социально-исторических структур. Но обычно как некоторое инструментальное и эмоциональное дополнение к «регулярным» институтам и механизмам общества, в том числе интернализованным в личностных структурах сознания. Этнические и религиозные погромы всегда реализовали традиционные стереотипы, а кроме того исполняли определенные актуальные политические функции. Как известно, в нацистской политике государственного геноцида погромные акции толпы играли подсобную роль.

О генезисе массового общества

С. Московичи употребляет понятия «масса» и «толпа» почти как синонимы, отмечая одно лишь отличие массы от толпы: в толпе люди связаны через непосредственный личный контакт, в массе – через медиа: «Массы нигде не видно, потому что она повсюду... читатели, слушатели, телезрители, ...оставаясь каждый у себя дома, они существуют все вместе, они подобны...». Организация превращает натуральные толпы в толпы искусственные. Коммуникация делает из них публику... Организация поднимает интеллектуальный уровень людей, находящихся в массе. Коммуникация понижает его, превращая их в толпы на дому... Пресса быстро научила, как массифицировать человека. Она сумела найти его, когда он один, дома, на работе, на улице»³.

Это верно лишь отчасти. Несомненно, вся система массовой коммуникации формирует то, что чаще всего относят к социальному феномену массы – массового потребителя благ, услуг и информации. Но само существование этого феномена обусловлено высоким развитием систем массового производства, прежде всего материального и массового потребления. И, кроме того – опытом массовых (всенародных, тотальных)

³ *Московичи С.* Указ. соч. С. 241, 249.

войн XX века и связанных с ними массовой мобилизации (включая политическую и эмоциональную) и пропаганды. Без такой «подготовки» не было бы и массивизирующей роли медиа: пресса XIX века формировала читающую публику, но не массу... Всякое массовое производство (в том числе, информационное) эффективно потому, что обращено к стандартизованному «среднему» потребителю (то есть к стандартному набору его типов и запросов).

Притом основа всякого массового современного производства – не только высокий уровень техники, но достаточно высокий уровень организации, специализации, производственной дисциплины и деловой этики, а также квалификации и образования работников. Процессы «массивизации» общества и человека не размывают, а скорее даже усиливают требования ко всем этим формам организованности. Как по происхождению, так и по природе своей, массы – не продолжение толпы, а скорее дополнение к социальной организации, нечто вроде «надстройки» над ней. Если толпа, как уже отмечено, извечна и может существовать заново в «порах» самых разных социально-исторических образований, то масса – явление сугубо современное, характерное для XX века.

Появление массы – массового потребителя, избирателя, читателя – отнюдь не устраняет ни профессиональных, ни статусных, ни индивидуальных различий между людьми, но формирует особый тип социального пространства (или, скажем, новую сцену социального действия). Люди выступают как масса и, соответственно, могут рассматриваться в таком качестве за пределами личных, семейных, специализированных контактов. Вопрос, конечно, в том, насколько важна «массовая» сфера в человеческой или общественной жизни, насколько она может давить на иные сферы деятельности или испытывать их влияние (эмпирический индикатор здесь – мера опосредования массовых воздействий личными, групповыми, социокультурными, локальными и прочими «фильтрами»).

Отсюда, между прочим, следует, что гуманитарно-философские ламентации по поводу гибели и растворения человека в массе – не столько критика массового общества (поскольку серьезный анализ его проблем отсутствует), сколько капитуляция перед ним, оправдание безответности и безответственности человека в этом обществе.

Отметим некоторые особенности *структуры* массы как современного социального феномена. (Масса кажется однородной и бесструктурной только с дальнего расстояния или в рамках методологического противопоставления какой-нибудь организованной общности.) Масса структурируется поведенческими и вербальными стереотипами. Практические отношения к ним различают лидеров, активных и пассивных последователей, аутсайдеров, эскапистов и тому подобное; в отличие от толпы, в массе может существовать оппозиция, то есть альтернативная система стереотипов и ролей, в том числе лидерских. Специфическая функция лидерства в массовой структуре – поддержание стереотипного образца. Если лидеру приписывается также и формулирование этого образца, то ему могут придаваться сверхобычные функции и надсоциальная роль типа пророческой. Поэтому социальный контроль в массе не может быть «жестким»: преобладающий образец навязывается не всем, но статистическому (или достаточно, относительно) большинству, санкции в отношении отклоняющихся меньшинств носят характер неприятия и тому подобное. Наконец, в массе, в отличие от толпы, может существовать и «предельное» – и чаще всего предельно незаметное – меньшинство, то есть отдельный человек. «Человек массы» – в отличие от «человека толпы» и «человека организации» – может *выбирать* образец поведения, кумиров, кандидатов. (Конечно, процедуры массового выбора столь же далеки от романтических иллюзий свободных действий свободных личностей, как ситуация равенства массовых потребителей от эгалитаристских мечтаний утопистов.) В массе можно опуститься до уровня толпы, можно – и

«принято» – держаться около некоторого среднего уровня, но иногда кое-кому удается и подняться до возможно высокого уровня индивидуализации человека.

И отсюда, естественно, возникает целая серия проблем, подлежащих исследованию и осмыслению: о факторах и рамках следования принятым образцам, об условиях статусного продвижения и обособления человека, о характере возможных лидеров и элиты в условиях массового общества.

Толпа и масса: два «стадионных» примера

Вот как описывал классический процесс «толпизации» поведения человека один пронизательный старый автор. Речь идет о римлянине, который питал отвращение к кровавым играм гладиаторов, но однажды был приведен друзьями в амфитеатр, где «все вокруг кипело свирепым наслаждением... И душа его была поражена раной более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он захотел посмотреть... Он был уже не тем человеком, который пришел, а одним из толпы, к которой пришел... Он смотрел, кричал, горел и унес с собой безумное желание, гнавшее его обратно»⁴. (Толпа, которая описана в этом тексте – зрительская, то есть участвующая в действии как психологический соучастник и вдохновитель.)

Другой пример, также имевший связь с территорией стадиона, относится к процессу, направленному в противоположную сторону. В первый период демократических сдвигов (и в еще большей мере – иллюзий) «ранней» советской перестройки до 300 тысяч людей собирались на массовые митинги на территории Лужников. Поначалу высказывались опасения, что человеческое множество без жесткой организации и внешнего (полицейского) контроля легко может превратиться в смертельно опасную толпу «ходьинского» образца (более свежим напоминанием была ситуация сталинских по-

⁴ *Августин А.* Исповедь. Кн. 6. Гл. VIII, 13. М.: Республика, 1992. С. 75.

хорон 1953 года). Опасения не оправдались, охваченные общим приподнятым настроением разумные, интеллигентные люди оставались взаимно предупредительными, никакой давки не возникло. Ощущение непривычной человеческой общности, как признавали очевидцы, было одним из самых ярких тогдашних впечатлений. Когда спустя немногие месяцы пришлось прощаться с человеком, который был символом демократических надежд (А.Д. Сахаровым), над длинной очередью был поднят, в числе прочих, плакат с такими словами: «Мы уже не толпа, но мы еще не народ»...

Рынок или псевдорынок в переходной ситуации

Как известно, «вторжение» рыночных механизмов в постсоветское общество происходит таким образом, что отдельные инструменты (и признаки) высокоразвитого рыночного общества с его социально-нормативными структурами, появляются в обществе, не прошедшем подготовительных стадий формирования соответствующих структур. Поэтому инструменты конкуренции, рекламы, маркетинга и пр. не только постоянно соседствуют, но и переплетаются с советским наследием монополистической «командной» общественной системы. Это видно не только в чисто экономической сфере (впрочем, далеко не полностью освободившейся от государственной опеки), но и в сферах социальной и политической рекламы, массовой коммуникации, общественного мнения, профессионального и брачного выбора и прочее. Причем такой симбиоз проявляется на разных уровнях общественной организации, в том числе и на уровне социальной личности.

Создавшаяся «неклассическая» ситуация представляет довольно сложный предмет социального анализа, который должен разделить неоднородные структуры, оценить их реальное и потенциальное значение. В частности, как представляется, весьма важно отделить «переходные», симбиотические механизмы от собственно «рыночных», учитывая к

тому же, что последние далеко не просты и не однородны. Кроме того, в противоречивых переходных условиях во всех сферах действуют многообразные псевдорыночные структуры – вплоть до криминальных.

Рассмотрим подробнее два типа масс-коммуникативных процессов, которые привлекают к себе чрезвычайное внимание – как общественное, так и исследовательское.

Избирательная кампания: конкуренция или мобилизация?

Возвращаться к принципиальным урокам выборов 1995–1996 годов нам придется еще не раз, в том числе и для того, чтобы понять, что же происходило – и вновь может произойти – с нашим общественным мнением в очередной экстраординарной ситуации.

Для сторонних и дальних наблюдателей указанные выборы (речь будет идти только о них) внешне вполне соответствовали общепринятым электоральным стандартам, поскольку налицо были острая предвыборная конкуренция, активная пропаганда и в результате – победа сильнейшего. Но, по данным исследований, решающее значение имели совсем иные процессы. Б. Ельцину пришлось напряженно бороться не с соперником (к тому же, единственным), а апатией и недоверием в стане своих бывших сторонников⁵. Избирательный успех был связан в первую очередь не с тем, что Ельцин перетянул на свою сторону голоса оппонентов и колеблющихся (это тоже было, но уже в последний период кампании, когда ее исход уже определился), – а с тем, что демократически настроенные избиратели 1990–1991 годов, напуганные возможностью коммунистической реставрации, вынуждены были сделать выбор в его пользу. Стоит припомнить, что ко-

⁵ См.: Президентские выборы 1996 г. и общественное мнение. ВЦИОМ, 1996. С. 85.

манда Ельцина с успехом использовала в своей пропаганде жупел Зюганова, но никогда не рассматривала его как равноправного соперника (отказ от теледебатов, неравная доступность каналов ТВ – не просто выражения произвола, но отражение реальной, то есть монополистической расстановки общественных сил). Электоральный процесс весны и лета 1996 года – это не столько конкурентная борьба, сколько политическая *мобилизация*.

Понятно, что в поле зрения социологического исследования общественного мнения попадают только те факторы политической мобилизации, которые связаны с массовыми процессами; за пределами анализа оказывается такой важный компонент описываемых событий, как организация поддержки кандидата со стороны политических, экономических, локальных и других элит, достигаемой с помощью иных средств (сделки, трансферты и так далее).

Данные исследований позволяют выделить следующие характерные черты политической мобилизации, которые проявились в эти месяцы:

- кампания была ориентирована не на силы «противника» и не на колеблющихся или безразличных, но на «своих»;
- наибольшее значение придавалось «негативной» пропаганде (не представлению своих успехов или программ, но обличению соперника);
- электоральная ситуация выступала как противостояние «вчерашнего» дня – «сегодняшнему», апелляции к перспективе, к будущему времени практически отсутствовали;
- условием эффективности кампании была монополия влияния на основные каналы масс-коммуникации (прежде всего – телевизионные).

По всем этим позициям политическая мобилизация российского образца принципиально *отлична* от «нормальной» (для других условий, разумеется) политической конкуренции и ее рыночных аналогов.

Параметры политической мобилизации

Напомним некоторые данные электорально-политического мониторинга ВЦИОМ.

Таблица 1

Намерения голосовать за Б. Ельцина в январе и в июне 1996 года (в % от числа опрошенных)*

	13 января**	20 июня**
«Женщины России»	5	47
НДР	11	65
«Яблоко»	6	62
ДВР	14	80
КПРФ	2	5
КРО	0	45
ЛДПР	2	27
ПСТ	2	63
Другие	12	44

* Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек). Респонденты из электората партий во время выборов в Госдуму 1995 года, намеревавшиеся голосовать и проголосовавшие за Б. Ельцина в 1996 году.

** Указаны даты окончания опросов.

Чем объясняется этот поворот в настроениях электората в пользу Ельцина?

Расхожее предположение о решающей роли неистовой пропагандистской кампании, в значительной мере построенной по образцам западного политического маркетинга, – никак нельзя считать убедительным. Во-первых, энергичная фаза пропагандистской кампании («голосуй, а то проиграешь!») началась в мае, а поворот обозначился раньше – в конце апреля – как раз когда в окружении президента усили-

лись опасения в отношении результатов выборов и появились планы их отмены. Во-вторых, сами избиратели оценили роль электоральной пропаганды весьма сдержанно.

Таблица 2

«Что повлияло на Ваше решение голосовать за этого кандидата?»

*(в % от числа опрошенных)**

	5 июня**	12 июня**	20 июня**
Программа кандидата, его выступления по ТВ	18	23	9
Понял, к чему приведет избрание этого кандидата	10	13	15
Понял, что у России нет другого выбора	42	39	15
Убедили последние действия кандидата	19	11	54
Убедили выступления специалистов	6	4	3
Убедили актеры, музыканты	2	1	1
Произвели впечатление рекламные ролики	5	3	1
Убедили простые люди, агитировавшие за него	2	4	3
Узнал, что за него будут голосовать близкие люди	7	5	4
Понял, что у того, за кого собирался голосовать ранее, нет шансов	4	3	2
Разочаровали действия кандидата, за которого раньше собирался голосовать	2	2	1
Другое	3	4	5
Затруднились ответить	3	4	2

* Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек). Мнения

голосующих за Б. Ельцина, 1996 год. Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли отметить более одной позиции.

** Указаны даты окончания опросов.

Как видим, чаще всего указывались два фактора: «нет другого выхода» и (в последние недели «действия кандидата»). И тот и другой – это факторы рационального поведения, соотносящего средства и цели, затраты и предполагаемый выигрыш и тому подобное. Другое дело, что рациональность может быть примитивной, недальновидной, даже просто ошибочной. (Уровень рациональности массового действия, в принципе, определяется рациональностью наиболее слабого, «средне-массового» участника, и потому по определению не может быть высоким. Кроме того, любой «вынужденный» выбор – а именно таким был электоральный выбор 1996 года – примитивен и предполагает столь же примитивный уровень рациональности действия.)

Усилия специалистов по «эмоциональной» мобилизации, актеров, создателей нашумевших роликов, большого эффекта как будто не дали, если, конечно, иметь в виду эффект, осознанный самими избирателями.

Ориентации на «своих» и на «всех»

Другой принципиально важный вопрос – о роли поведенческих образцов разного уровня в ориентации избирателей. Выделим три таких уровня: «близкие люди» (семья, друзья, круг постоянного общения и личного опыта), более или менее знакомые жители «своего» города, села, и, наконец, воображаемое благодаря СМИ «большинство» населения страны.

Как видно из приведенных выше показателей (см. табл. 2), лишь небольшая доля решивших голосовать за Б. Ельцина руководствовалась мнением *близких* людей. Другие материа-

лы прошлогодних опросов позволяют сопоставить электро-намерения респондентов с их ожиданиями относительно поведения *большинства* населения («кто все-таки будет президентом»), и поведения «*локального*» большинства («за кого проголосует большинство избирателей в том городе, поселке, деревне, где Вы живете?»).

Таблица 3

«Если бы во втором туре пришлось делать выбор между Ельциным и Зюгановым, за кого бы Вы проголосовали?»
(в % от числа опрошенных)*

Дата опроса**	За Ельцина	За Зюганова
13 января	18	33
13 февраля	24	32
27 марта	29	30
24 апреля	31	29
22 мая	40	29
5 июня	43	28
10 июня	47	29
20 июня	46	30

* Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек).

** Указаны даты окончания опросов.

Таблица 4

«Кто, по-вашему мнению, станет президентом России?»*

Дата опроса**	В % от всех опрошенных		В % от сторонников данного кандидата	
	Б. Ельцин	Г. Зюганов	Б. Ельцин	Г. Зюганов
13 января	13	18	39	42
13 февраля	29	24	66	56
27 марта	35	23	72	56
24 апреля	41	19	74	49
22 мая	49	17	77	52

Дата опроса**	В % от всех опрошенных		В % от сторонников данного кандидата	
	Б. Ельцин	Г. Зюганов	Б. Ельцин	Г. Зюганов
5 июня	60	18	83	52
10 июня	59	18	84	51
20 июня	67	14	91	42

* Исследования типа «Экспресс» ($N = 1600$ человек).

** Указаны даты окончания опросов.

Сопоставим сначала данные табл. 3 и 4. Как видим, ожидания в отношении избрания Б. Ельцина (то есть мнения о позиции большинства избирателей) с февраля устойчиво растут и все более опережают собственные намерения респондентов. Можно полагать, что представления о неминуемом успехе Ельцина на выборах являлись одним из факторов роста его поддержки.

В то же время на сторонников Г. Зюганова, видимо, давило представление о неизбежности его неудачи. Поэтому процент уверенных в успехе этого кандидата (то есть в соответствующей ориентации большинства избирателей) несколько вырос только в феврале–марте, в начале электоральной кампании, а в другие месяцы оставался практически стабильным. Кроме того, процент ожидавших успеха оппозиционного кандидата на всем протяжении кампании был заметно ниже процента собиравшихся голосовать за него.

Нетрудно заметить, что уже с февраля около двух третей сторонников Ельцина полагали, что большинство населения поддержит их выбор; из сторонников Зюганова подобные надежды разделяли около половины. По всей видимости, ожидания относительно того, как поведет себя большинство населения (те самые «все», которые представлены человеку через масс-медиа) служат сильным фактором ориентации людей в социальном пространстве.

Сопоставим приведенные выше показатели с предположениями о поведении «местного» большинства. (Приводятся данные только об ожиданиях относительно голосования за Б. Ельцина.)

Таблица 5

Общее и «местное» большинство в оценках избирателей
(в % от числа опрошенных)*

	5 июня	10 июня	20 июня	12 июля**
<i>Считают, что большинство населения за Ельцина</i>				
Все голосующие	60	59	67	–
За Ельцина	82	84	91	–
<i>Считают, что «местное» большинство за Ельцина</i>				
Все голосующие	42	45	49	56
За Ельцина	64	68	67	78

* Исследования типа «Экспресс» ($N = 1600$ человек). Пропуски означают, что вопрос не задавался.

** Опрос проводился после выборов.

Получается, что представления о «локальном» большинстве заметно слабее «давят» на воображение избирателей, чем мнения относительно общенационального большинства. Избиратели равняются скорее на воображаемое большинство населения, чем на непосредственно известные им настроения жителей своего поселения.

Это предположение требует проверки. Если в последующих исследованиях его удастся подтвердить, придется внести коррективы в представления о двухступенчатой схеме действия массовой коммуникации (Э. Катц–П. Лазарсфелд) и в предложенную Э. Ноэль-Нейман концепцию «спирали умолчания».

Реклама как парадигма масс-коммуникативного влияния

Мир современного общественного мнения представляется – особенно в период наблюдаемого нами «прорыва» – заполненным шумной, агрессивной, всепроникающей рыночной или квазирыночной рекламой, которая как будто уравнивает бренд-маркетинг с партийной агитацией, поэтическое вдохновение с рынком рукописей, спрос на лекарства, напитки, сексуальные услуги и так далее⁶.

Социологический анализ рекламы как специфической системы приемов (парадигматики) массовой коммуникации пока практически отсутствует; бизнес в ней вряд ли нуждается, а «серьезная» социология как будто гнушается опуститься до низменных примитивов. Между тем примитивность (точнее, элементарность) приемов и эффектов может представлять немалый интерес для объяснения процессов массового влияния⁷.

Несомненный факт, что значительная часть населения, особенно из числа активных покупателей интересуется рекламой и в определенной мере доверяет ей. Согласно исследованию 1994 года («Советский человек-2»), следили за рекламой и ориентировались на нее при покупках только 15%. А в

⁶ «Рекламирование, – писал Ю. Хабермас, – захватило публичную сферу, в которой господствуют масс-медиа. Поэтому партии и подчиненные им организации вынуждены влиять... на электоральные решения таким образом, который аналогичен рекламному давлению на покупательские решения. Так возникает ...индустрия политического маркетинга. ...Получается, что представление лидера или лидерской команды играет центральную роль; этот товар нужно упаковать и выставить так, чтобы сделать его пригодным для продажи». *Habermas J. The Structural of the public sphere. An inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1989. P. 216, 218.*

⁷ «Индивида убеждают, массе внушают» (*Московичи С. Указ. соч. С. 62*). Впрочем, уровень рациональности индивида – тем паче усредненного – тоже не стоит переоценивать.

1997 году (март) обращали внимание на рекламу уже около половины опрошенных, из них более 60% ей доверяли. Пользовались рекламой при покупке (от числа покупавших)⁸:

косметики, парфюмерии, украшений	51%
лекарств	50%
бытовой техники	45%
электронной техники	44%
одежды, обуви	29%
недвижимости	25%
автомобилей	14%

Уже отмечалось, что сходство используемых рекламных приемов (конвергенция: этот одиозный еще недавно термин означает в биологии лишь сходство формы при различии механизма деятельности или природы организмов) возможно при существенном различии социальных структур и процессов. Само же сходство, как представляется, связано с разложением рекламного воздействия на элементарные компоненты.

Очевидно, например, различие двух ступеней в рекламной акции – обобщенной (ориентированной на некоторый тип потребности, запроса, деятельности) и конкретной (предлагающей уже определенный вид товара, услуги); «хитрость» рекламной акции состоит при этом в том, что соединительное звено, переход между ступенями часто отсутствует. Допустим, рекламируется жевательная резинка или мятные таблетки. Первая ступень рекламы – апелляция к набору якобы очень важных для человека социально-значимых потребностей (свежее дыхание, здоровые зубы, приятный вкус, релаксация). Последняя ступень – демонстрация определен-

⁸ См. статью Тамары Зурабишвили «Потребительская реклама и ее потребители» (Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 1997. № 3. С. 50).

ной марки (бренда), который, де, эту потребность наилучшим образом удовлетворяет. Промежуточная ступень – то есть объяснение, почему именно эта марка чем-то лучше других – пропущена (для этого нет времени, да еще правила запрещают критику конкурента); просто внимание зрителя приковано к изображению или упоминанию рекламируемого товара. Функциональное разделение рекламных ступеней практически универсально: скажем, для уверенности в себе будто бы непременно требуются такие-то дезодоранты, прокладки, шампуни, а неотразимую привлекательность обеспечивает запах некоего одеколона (кстати, сугубо энтомологическая модель сексуальной ориентации на запах).

Подобную структуру рекламных текстов можно обнаружить в политической агитации: хотите «...» (порядка, мира, победы, свободы, спокойствия) – голосуйте за «...». Никто, естественно, не объясняет, почему и как имярек или его партия способны отстоять желаемые ценности, то есть промежуточная ступень и здесь подменена апелляцией к личному имиджу или ностальгии и тому подобное.

Зримое сегодня различие, однако, в том, что торговая реклама – особенно в условиях ее «прорыва» в новое социальное пространство – стремится навязать неискушенному потребителю целый набор необычных для него потребностей и на этой основе пробудить его интерес к незнакомым товарам. (Видимо, для преодоления барьера незнакомости, когда идут в ход потешно-эротические модели, напиме, «овладения» банкой напитка и прочее.) Тогда как рекламная кампания политической мобилизации строится на апелляции к уже известным, привычным ценностям и старому кругу их сторонников.

Простейшая, «оперативная» реклама навязывает потребителю определенный товар; политическим аналогом служит агитация за кандидата. Перспективная, «стратегическая» (латентная, может быть, ненамеренная) реклама задает обобщенный образец, стиль потребительского поведения. Она,

видимо, работает в механизме распространения обобщенной моды – то есть не фасона, разработанного кутюрье, а стиля поведения, самоутверждения, контактов. Внерыночный аналог – утверждение и смена социальных идеалов.

Утверждение механизмов современного массового общества, нередко сопоставляется с механизмами распространения моды. Как отмечал Ю. Хабермас, ссылаясь на американских исследователей, мода и потребительские привычки распространяются в наши дни «горизонтально» по социальным слоям, в то время как «течение общественного мнения направлено вертикально, от более высоких статусных групп к низшим; «лидеры мнения в публичной сфере» – это обычно более богатые, лучше образованные, занимающие лучшие общественные позиции по сравнению с группами, на которые они влияют»⁹.

* * *

Не всегда зримая для читателя ось, вокруг которой строятся представленные его вниманию суждения о массе, толпе и механизмах массового влияния, – это проблема статуса *человека* в современной массовой ситуации.

XX век начинался с иллюзий относительно социального и технического прогресса, в разных вариантах которых противопоставлялась либеральная (индивидуалистическая, косвенно восходившая к христианской доктрине личного спасе-

⁹ *Habermas J.* Op. cit. P. 213. Можно было бы предложить одно уточнение к этому суждению: мода и потребительские привычки (стили потребления) распространяются по *своим* «вертикалям» – от инициаторов через посредников к массовым потребителям. На «вершине», то есть в точке инициирования соответствующего образца в таких механизмах оказываются не держатели власти и богатства, а совсем иные общественные группы – молодежные, средние, маргинальные и другие. Многообразие иерархий (траекторий движения поведенческих или социокультурных образцов) можно считать характерной чертой современных массовых обществ.

ния) и социальная (коллективное спасение) модели человеческого существования. Однако после глубокого цивилизационного кризиса, связанного с мировыми войнами, тоталитарными диктатурами и первыми этапами деколонизации, как будто утвердилась в качестве прагматического образца некая компромиссная (условно говоря, поскольку речь идет не о воображаемом компромиссе идеалов) модель массового более или менее либерального общества с развитыми системами потребительского выбора и социальных гарантий, многообразными механизмами массового влияния – и все-таки с определенными возможностями человеческого выбора, индивидуального и группового.

Трудно предположить, что несбывшиеся иллюзии торжества рационального индивидуализма или трансформации общественных обстоятельств в «человечные» достанутся в наследство наступающему веку. Можно понять исторические и духовные корни, пафос благородно гуманистической критики массовых процессов и влияний¹⁰ – но нельзя считать ее практически действующей парадигмой.

Каждая эпоха создает (и придумывает) свой тип и свой образец человека. Если использовать известную формулу, можно сказать, что человек – это не только «мир человека», но «миф человека». Массовое общество формирует то и другое на свой лад, с этим приходится считаться, и в этой данности искать лучший вариант, выбирать и отвечать за последствия выбора.

Обращение к некоторым общим рамкам понимания массы и массовых процессов представляется важным в нынешних условиях общественного перелома на постсоветском пространстве. Мы ведь все еще живем в мире разбитых иллюзий,

¹⁰ К ним можно причислить и позицию такого мыслителя, как Э. Канетти. По его мнению, растворяющей человека массу и всем видам власти над ним противостоит «единственное решение...: творческое одиночество, ведущее к бессмертию, – это решение лишь для немногих». *Канетти Э. Масса и власть / Пер. с нем. М.: Ad Marginem, 1997. С. 502.*

в том числе иллюзий относительно человека, общества, массы и прочее. (И – добавим – в мире разбившихся социальных элит, которые выступали носителями таких иллюзий, но это особая тема.) Иллюзий, которые одними связывались с советским обществом, другими – с каким-то обновлением этого общества, третьими – с его крушением после 1991 года, четвертыми – с возвращением к «корням»; иногда, впрочем, эти позиции последовательно разделяли одни и те же люди. Между прочим, это объясняется широким распространением романтического идеала «естественного» («подлинного», «освобожденного») человека, противопоставляемого массе, власти и всяческим «искусственным» (техническим, организационным) системам.

«Мониторинг...» 1997. № 5

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

Анализ развития социальной ситуации в обществе и накопление эмпирического материала показали, насколько велико значение элитарных структур и групп в переходных условиях. Поэтому обратимся к более широкой теоретической рамке исследования этой социальной группы.

Исходные определения

Элитой можно считать такую социальную группу, которая, *во-первых*, обладает некоторым уникальным социально-значимым ресурсом – властью, культурным потенциалом (сакральное, потом рационализованное знание, оперирование символическими структурами – «языками» культуры), профессиональным опытом и прочее. *Во-вторых*, элита способна реализовать этот потенциал для поддержания нормативных образцов, символических структур и опорных социальных «узлов» данной общественной системы. И, *в-третьих*, она обеспечивает хранение и «воспроизводство» своего ресурса из поколения в поколение. Это значит, что далеко не всякая группа носителей уникального ресурса (власти, культуры) может исполнять функции элиты в строгом смысле слова.

Скажем, классические сословия всадников, духовенства, дворянства, джентри (шеньши, то есть грамотеев в старом Китае) и прочих явно обладали признаками элит, а вот такие «краткосрочные», хотя и весьма значимые для определенных исторических ситуаций, группы, как опричники, приближенные Петра, гуманисты, просветители этих признаков не имели. Сословие – «длящаяся», институционализируемая группа, ее значение и функции сохраняются при постоянной смене «человеческого материала» из поколение в поколение. «Краткосрочные» группы завершают свою работу за несколько или десятков лет (в пределах одного поколения) и не

выдерживают смены «материала»; по определению, они не составляют элит. Не всякая правящая или поддерживающая «верхушка» общества, особенно в период быстрых перемен, может именоваться элитой.

Конечно, эти определения неизбежно упрощают, схематизируют реальное многообразие социальных конструкций; существуют группы, которые в определенной мере исполняют функции элит, бывают переходные, вырожденные и тому подобные типы.

В закрытых, сословных обществах элитами являются замкнутые привилегированные группы. В открытых современных обществах строго замкнутые группы невозможны, все межгрупповые грани проницаемы. Институциональный порядок поддерживается общезначимыми социальными институтами, вокруг которых группируются элитарные структуры. Процесс, приводящий к такому соотношению, можно охарактеризовать как *институционализацию элит*. Элитарные группы вторичны по отношению к социальным институтам, они сохраняют свое значение преимущественно в тех сферах, где важны непосредственные доверительные связи и личные каналы передачи опыта.

Отсюда простой и весьма принципиальный вывод: современные проблемы элит, в том числе отечественных, связаны с переходом от закрытого общества к открытому, то есть с процессами модернизации обществ.

Элитарные кризисы в России

Обе пережитые Россией в XX веке ситуации радикального перелома – после 1917 и после 1991 годов – определялись не тем, что «низы не хотели», а тем, что «верхи не могли» сохранять не только свои позиции, но и свою собственную организованность, в том числе «историческую», межпоколенческую. Причем, если перед первым переломом наблюдался определенный подъем разнородных социальных про-

тестов (гораздо более слабых, впрочем, по сравнению с 1905 годом), – то перед вторым переломом их почти не было, если не считать национальных движений на северо-западной периферии бывшего Союза и ряда забастовок. Главный внутренний фактор краха общественной системы в обоих случаях – кризис «верхов», то есть господствующих элитарных структур, притом имевший очевидные исторические корни примерно одинаковой глубины (несколько десятилетий).

В пореформенной России (1861–1917) старые элитарные слои – дворянство, духовенство, офицерство, двор – не выдержали февраля 1917 года, потому что не смогли приспособиться к процессу модернизации, утратили влияние на общество и уверенность в собственном будущем. По существу, крах элиты наступил раньше, чем ударил колокол безвыигрышной мировой войны. Предложенный пришедшим к власти большевизмом проект нового общества декларировал уничтожение сословности и привилегий, а на деле означал попытку утвердить новые замкнутые элитарные структуры в качестве основы общества и орудия его предполагаемого реформирования. Претензия на сосредоточение реальной диктаторской власти и нормативного контроля («ума, чести и совести») в централизованной иерархической структуре партаппарата и его силовых опор привели к созданию квазисословного общества с назначаемыми сверху квазиэлитами власти, экономики, науки, культуры, армии.

Подчеркнем указанные оговорки: общество было квазисословным и квазиэлитарным. Выношенная российским радикальным утопизмом идея «новых людей», которые призваны создать новое общество, получила организационное воплощение в партократической утопии («дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию» – исходная формула ленинизма), а государственную реализацию в сталинской бюрократической диктатуре. Новой устойчивой и воспроизводящейся элиты не возникло. Правящая группа не могла сохраниться в качестве закрытой. Железный «рычаг»,

предназначенный поначалу служить орудием всемирного переворота (практически – костяком мировой державы) оказался слишком примитивным, малоэффективным, подверженным быстрой коррозии. После ликвидации старых элитарных сословий появились новые привилегированные группы – партгосаппарат и приближенные к нему образования, в число которых позже, в 30-е годы, были включены также ведомства науки и культуры. Все эти группы с самого начала были неустойчивы на верхних этажах, не уверены в своем выживании на средних, нравственно все более коррумпированы утилитаризмом и двоемыслием на всех уровнях. Юридически и физически уничтожая наследие элитарного общества, советская система наследовала и умножала худшие черты барства, холопства, все проникающего бюрократизма; ко всему этому добавлялась жесточайшая взаимная борьба за самоутверждение и выживание.

Только в последние десятилетия, при новом (послереволюционном, фактически – послесталинском) поколении руководящей верхушки правящей квазиэлите пришлось предпринять попытки самореформирования. Носителями высших властных полномочий все чаще становились технически грамотные и «директорски» ограниченные кадры. (С их появлением лет 30–40 назад связывались надежды некоторых советологов на приход «технократов» к власти.) В отличие от других государств социалистического лагеря, например, Польши или Венгрии, в Советском Союзе не могла сложиться никакая альтернативная или независимая элитарная группа. Поэтому судьба попыток реформирования советской системы после 1985 года попала преимущественно в руки «выкрестов» из состава партгосноменклатуры – М. Горбачева и довольно узкого круга высших чиновников, поддерживавших и подталкивавших его действия. Реальную организационную опору этих попыток – притом, довольно слабую – составлял старый полуразложившийся партаппарат, отчасти связанный послушанием, отчасти надеявшийся на то, что со

временем все колебания затухнут, как это бывало обычно. (Здесь принципиальное отличие отечественной ситуации от китайской, где расчетливо-осторожное реформаторство Дэн Сяопина опиралось на железную партийно-полицейскую диктатуру, лишь отчасти затронутую коррупцией.)

«Элитарная перестройка»?

Показательная – и в то же время, показная, демонстративная – особенность политической сцены времен перестройки состояла в ее *квазипубличности*. Закрытая, подкованная традиция формирования политических решений сохранялась полностью, но в сложной борьбе со своими коллегами по руководству М. Горбачев оказался *вынужден* время от времени апеллировать к такому, во многом условному и искусственному, референту, как демократические силы и настроения. В этом русле проходило насаждение гласности (на деле, полугласности и полусвободы мнений) в СМИ, полусвободные выборы при отсутствии многопартийности и так далее. В свою очередь, разнородные и разрозненные носители демократических настроений *вынуждены* были поддерживать линию горбачевской перестройки. В принципе, так сформировалась донныне действующая расстановка сил, определяющих политическую ситуацию в стране сверху донизу: вынужденные реформы и вынужденная поддержка, то есть реформы без реформаторов и демократизация без демократов.

В этом же ряду амбивалентных и «двоемысленных» феноменов перестройки – псевдоинтеллигентность лидеров (то есть, как отмечено выше – вынужденное обращение части властвующей бюрократии к интеллектуальным и нравственным символам), с одной стороны, и иллюзия политического участия интеллигентской верхушки – с другой. Никакой особой социальной силы в период перестройки – как, впрочем, и в предшествующие периоды после 1917 года – российская

интеллигенция не могла представлять. Наличие ярких талантов и высоконравственных образцов поведения в интеллигентской среде никогда и нигде не превращало эту среду в социальную, тем более политическую, силу. Если разные группы правящего аппарата *вынуждены* были обращаться за символической поддержкой к демократически (или почвеннически) настроенным интеллектуалам, это означало глубокий кризис официальной идеологии, но не создавало интеллектуальной программы или – тем паче – интеллектуальной элиты перестройки. Иллюзия существования последней поддерживалась непривычным эффектом дозволенной гласности, которая и формировала демонстративный эффект.

Отметим два побочных эффекта переходной ситуации. Группа, скажем так, интеллектуального прикрытия первых шагов перестройки состояла из высокопрофессиональных специалистов, которые выступали преимущественно как публицисты, популяризаторы, трибуны – вне своей специальности¹. Это был очевидный всплеск не только иллюзий, но способов активности, свойственный российской интеллигентской традиции.

В то же время разложение и распад жестких рамок социально одобряемых действий и авторитетов вывели на поверхность коммерциализирующейся общественной жизни (политики, публицистики, социальных наук, социально-политического «полусвета» и тому подобного) целую плеяду фигур, наделенных лишь одним свойством – ловкостью и пронырливостью².

¹ По замечанию известного филолога С. Аверинцева (в те годы - народно-го депутата), «становление и конец тоталитаризма одинаково бьют по профессионализму и поощряют дилетантизм: всем приходится делать то, чему не учились» (Новое литературное обозрение. М., 1997. № 27. С. 175).

² Как писал в 80-е годы, когда видны были еще только цветочки этого человеческого феномена, пронизательный критик И Дедков: «Лучше всего чувствуют себя те, кто сделал ставку на приспособление и приобретение.

Люди никогда не выбирают социальный период, в котором им приходится действовать (согласно известной поэтической формуле, «время – дано, это не подлежит обсуждению»). Но каждое время, то есть каждая социальная ситуация «выбирает» – поддерживает, пестует, продвигает – подходящий для нее тип человека. Если на поверхности советской системы находился человек послушно-карьерный, то с ее распадом на переднем плане (в политической жизни, бизнесе, медиа, социально-научной сфере и около них) оказался человек ловкий, ориентированный на ближайший успех и не связанный ни ценностными, ни социально-групповыми рамками ответственности.

Прагматическая стабилизация

Период послеперестроечных реформ и метаний не формирует устойчивых социальных институтов и элитарных структур. Временные социальные конструкции лишь становятся более привычными, причем демонстративно-критический фон общественных настроений фактически содействует этому (меньше иллюзий – меньше разочарований, больше вынужденного привыкания-приспособления...).

Власть концентрируется в руках противоречивой коалиции адаптированной старой номенклатуры, верхушки нового бизнеса и прагматически ориентированных экономистов при поддержке локальных лидеров. Пройдя через полосу тотального разочарования и скептицизма, медиа и публицистика превращаются в орудия сведения счетов между различными группами этой коалиции (точка принципиального поворота – президентские выборы 1996 года). Интеллигентская верхушка, пережившая годы всеобщего разочарования и увлечений

На наших глазах эти люди все больше разворачиваются, их становится больше, и они уже не стесняются... Время шустрых людей». (Дедков И.А. Из дневников. 1979–1985 гг. // Свободная мысль. М., 1997. № 11. С. 19.)

новыми политзвездами (Явлинский–Лебедь–Немцов...), начинает, как кажется, искать в это время пути самоутверждения в своих собственных профессиональных сферах.

Социальная элита как общественный слой

Как показывают опросные данные, социальная элита по образу жизни, мышления, установкам и пр., как правило, довольно мало – всего лишь на один «шаг» – отличается от среднемассовых показателей. Но именно этот шаг представляется исключительно важным. Можно полагать, что заимствование «отдаленных» символических образцов (поведения, статуса) в значительной мере опосредуется через восприятие «ближайших» поведенческих стандартов. Массовый человек ориентируется практически не на те «звездные» образцы (политкумиров, шоузвезд, нуворишей), которые ему предъявляют масс-медиа, а на куда более скромные, но реально достижимые уровни, известные ему по контактам с социальной элитой. Это соображение можно подтвердить постоянно проходящими в опросах ВЦИОМ данными о соотношении реальных и желаемых уровней доходов или потребления. То есть практический ориентир – средний («не хуже, чем у других») и несколько более продвинутый образец.

Состав социальной элиты

Эмпирическую базу этого очерка составляют данные объединенного мониторинга 1994–1997 годов, а также результаты других исследований ВЦИОМ. В общем массиве опрошенных (58 075 человек) руководители и специалисты, составляющие социальную элиту, насчитывают 10 278 человек (17,7%) или почти треть (30,7%) работающего населения страны. В их числе 2539 человек – занимали руководящие должности (24,7%) и 7739 человек (75,3%) – специалистов с высшим или средним специальным образованием, не яв-

ляющихся руководителями. Данные мониторинга позволяют также рассмотреть некоторые особенности позиций отдельных компонентов социальной элиты – руководителей, владельцев предприятий, независимых хозяев, обладателей крупных личных библиотек.

Доходы и запросы социальной элиты обычно ненамного выше, чем средние. Так, в октябре 1997 года денежная зарплата руководителей и специалистов составляла 108% от средней, представления о прожиточном минимуме у ее представителей – 112, а о доходе, необходимом для «нормальной» жизни, – 115% от средних показателей (данные исследования типа «Мониторинг», ноябрь 1997). Неудивительно поэтому, что самооценки материального положения в этой группе практически не отличаются от среднемассовых.

Таблица 1

Оценки собственного материального положения
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего (58 075 человек)	Руководители и специалисты (10 278 человек)
«Живем хорошо, без особых материальных забот»	5	4
«Живем более-менее прилично»	40	41
«Едва сводим концы с концами»	45	47
«Живем за гранью бедности»	7	6
Затруднились ответить	3	2

* Исследование типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997.

В то же время в среде социальной элиты чаще ссылаются на новые возможности улучшения собственной жизни.

Таблица 2

«Как Вы считаете, такие люди, как Вы, получили возможность повысить свой уровень жизни?»
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего (58 075 человек)	Руководители и специалисты (10 278 человек)
«Да, получили»	5	8
«Скорее да»	12	18
«Скорее нет»	28	33
«Нет, не получили»	43	31
«Затруднились ответить»	12	10

* Исследование типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997.

Таблица 3

Оценки материального положения семьи
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

	Всего (58 075 человек)	Руководители и специалисты (10 278 человек)	Бизнесмены (900 человек)	Фермеры (1265 человек)	«Книжники» (1392 человека)
Очень хорошее	0	1	2	1	1
Хорошее	4	6	20	12	9
Среднее	44	49	49	55	49
Плохое	37	34	23	23	31
Очень плохое	12	9	4	6	8
Затруднились ответить	2	2	2	4	2

* Исследование типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997. Выделены группы: руководители и специалисты, вла-

дельцы предприятий, индивидуальные хозяева и фермеры, «книжники» (обладатели 1000 и более книг).

Здесь социальная (субъективная) дифференциация выражена довольно слабо: частники выделяются на общем уровне, но руководители и специалисты, равно как и «книжники» в оценках собственного положения мало отличаются от средних данных.

Отличительная особенность рассматриваемой группы – более высокий уровень образования. По данным ноябрьского мониторинга 1997 года, руководители и специалисты в среднем учились 14,2 лет при среднем показателе в 10,9 лет.

Таблица 4

К какому слою относят себя...

*(в % от числа опрошенных по выделенным группам)**

Слой	Руководители и специалисты	В среднем по выборке
Низший	5	14
Рабочие	22	38
Средний	58	38
Высший	2	1
Затруднились ответить	14	10

** Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).*

Руководители и специалисты сознают себя преимущественно как принадлежащими к среднему слою или к рабочим и только малая часть относит себя к социальной верхушке.

Самочувствие – индивидуальное и социальное

Таблица 5

«Каково Ваше настроение в последнее время?»
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего (58 075 человек)	Руководители и специалисты (10 278 человек)	Бизнесмены (900 человек)	Фермеры (1265 человек)	«Книжники» (1392 человека)
Прекрасное	3	3	6	8	7
Нормальное	36	39	46	47	37
Напряжение	41	43	35	31	41
Страх, тоска	11	7	3	5	8
Затруднились ответить	9	8	10	10	8

* Исследование типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997.

Получается, что показатели индивидуального самочувствия у различных групп социально-активного (что важно) населения весьма мало отличаются. Несколько повышенные позитивные индикаторы у частных хозяев объясняются, конечно, не только использованием экономических возможностей, но и социально-демографическими и социально-психологическими характеристиками этой группы.

Таблица 6

Общая оценка «сложившейся ситуации»
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего (58 075 человек)	Руководители и специалисты (10 278 человек)	Бизнесмены (900 человек)	Фермеры (1265 человек)	«Книжники» (1392 человека)
«...Можно жить»	10	13	6	8	18
«...Можно терпеть»	47	48	46	47	45
«Терпеть...невозможно»	36	32	25	31	31
Затруднились ответить	7	7	3	5	6

* Исследование типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997.

На табл. 6 уже несколько иная картина: социальная элита заметно отличается от всех выделенных для сравнения групп по наиболее *позитивным* оценкам ситуации в целом (можно полагать, что у нее в ответах на традиционный вопрос о том, какое высказывание больше соответствует «сложившейся ситуации», сочетаются оценки индивидуального и социального положения). Но еще сильнее выражены позитивные установки у «книжников», то есть у наиболее образованных и культурных представителей элиты. Очевидно, здесь начинает доминировать социальная позиция.

Обратимся к самому сложному и потому трудно интерпретируемому показателю социального мироощущения (см. табл. 7).

Таблица 7

**«Чувствуете ли Вы себя в нашем обществе
свободным человеком?»**

*(в % от числа опрошенных по выделенным группам)**

Варианты ответа	Всего (58 075 человек)	Руководители и специалисты (10 278 человек)	Бизнесмены (900 человек)	Фермеры (1265 человек)	«Книжники» (1392 человека)
Да	13	10	19	15	14
Скорее да	19	20	14	31	16
Скорее нет	27	34	32	32	30
Нет	27	26	17	16	22
Затруднились ответить	14	9	13	8	12
Индекс**	32:54	30:60	33:48	45:48	30:52

* Исследование типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997.

** Индекс представляет собой соотношение суммы позиций «да» и «скорее да» и суммы позиций «нет» и «скорее нет».

Создается впечатление, что уровни дохода, образования, статуса, экономической самостоятельности либо вовсе не влияют сколько-нибудь заметным образом на осознание себя в качестве «свободного человека», либо даже имеют обратную корреляцию с этим субъективным показателем. Дело, видимо, в том, что в более самостоятельных и ресурсно богатых группах чаще представлены более высокие уровни притязаний в отношении свободы человека и, соответственно, сильнее ощущаются различного рода ограничения.

Отношение к экономической реформе

Рассмотрим более подробно характерные черты отношения социальной элиты к самому «говорящему» индикатору состояния общественного мнения – суждению о необходимости продолжения или прекращения рыночных реформ (см. табл. 8).

При такой постановке вопроса социальная элита далеко отрывается в своих мнениях от среднего уровня и уступает лишь группам, непосредственно выигрывающим в рыночной ситуации.

Таблица 8

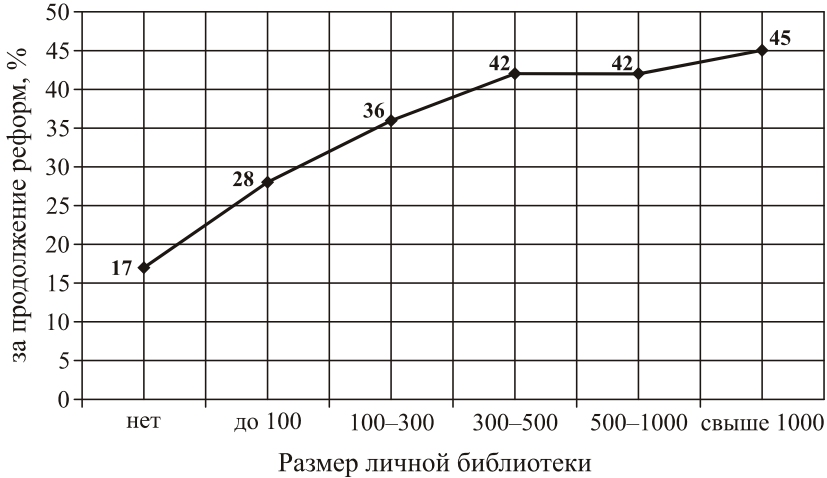
«Экономические реформы нужно...»
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего (58 075 человек)	Руководители и специалисты (10 278 человек)	Бизнесмены (900 человек)	Фермеры (1265 человек)	«Книжники» (1392 человека)
...продолжать	32	45	57	50	45
...прекратить	27	19	17	18	19
Затруднились ответить	41	36	26	32	36

* Исследование типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997.

Наблюдается, кстати, прямая линейная зависимость между размером личных библиотек (уровнем «книжности») и отношением к продолжению экономических реформ.

Отношение к реформам и размер личных библиотек*

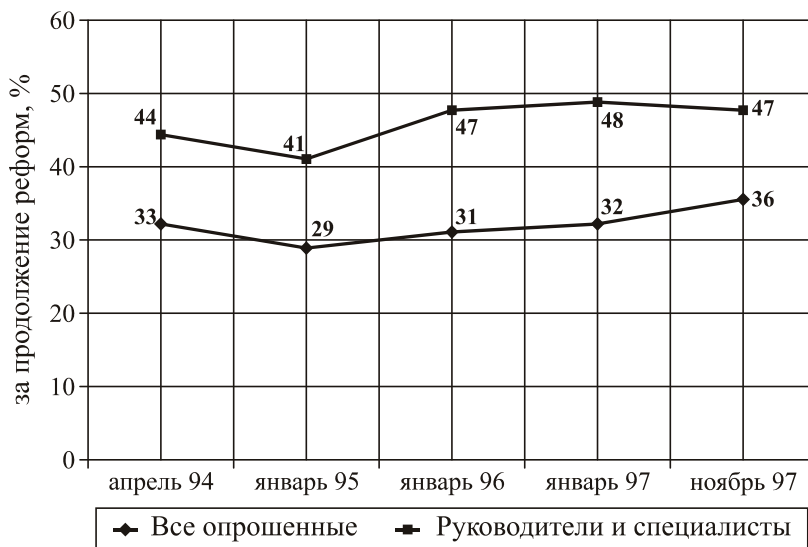


* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Стоит вкратце припомнить хронику оценок реформы за последние годы (см. график 2).

Как видим, за весь выделенный период наблюдений социальная элита отличается уверенной поддержкой курса реформ – даже в наиболее сложные годы массовых сомнений (см. данные за 1995 год) в этой среде было примерно вдвое больше сторонников, чем противников продолжения реформ. Соответственно в этой среде несколько больше надежд на то, что массы смогут выдержать тяготы реформ.

Динамика отношения к реформам*



* Исследования типа «Мониторинг», 1994–1997.

Таблица 9

«Когда терпение населения будет исчерпано?»
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего	Руководители и специалисты
Не больше года	7	6
От года до 5 лет	14	18
От 5 до 10 лет	4	5
Более 10 лет	3	4
Никогда не будет	14	22
Уже исчерпано	21	16

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Политические интересы и позиции

Декларируемый *интерес* к политике в группе руководителей и специалистов довольно невысок и отличается от средних показателей, в основном, лишь меньшей политической незаинтересованностью.

Таблица 10

«В какой степени Вас интересует политика?»
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего	Руководители и специалисты
В очень большой степени	4	5
В большой степени	5	8
В средней степени	28	37
В малой степени	33	22
Совершенно не интересует	29	13
Затруднились ответить	1	1

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

В то же время принципиальные политические ориентации в среде социальной элиты не только более определенно выражены, но и более очевидно направлены в пользу перемен текущего времени. Одно из самых глубоких противоречий общественного мнения этих лет – сочетание попыток адаптации к новой социально-экономической ситуации с ностальгией по советскому прошлому. В этом пункте «элитарные» позиции резко, даже диаметрально отличны от среднemasсо-вых.

Таблица 11

**«Было бы лучше, если бы в стране оставалось так,
как было до 1985 года?»**

*(в % от числа опрошенных по выделенным группам)**

Варианты ответа	Всего	Руководители и специалисты
Согласны	48	33
Не согласны	31	45
Затруднились ответить	21	22

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Понятно, что именно поэтому социальная элита более активно поддержала кандидатуру Б. Ельцина на президентских выборах 1996 года по сравнению со средним уровнем.

Таблица 12

Голосование на президентских выборах 1996 года, II тур

*(в % от числа опрошенных по выделенным группам)**

Варианты ответа	Всего	Руководители и специалисты
За Б. Ельцина	34	44
За Г. Зюганова	26	19
Против обоих	3	5
Не голосовали	33	28
Затруднились ответить	4	4

* Исследование типа «Мониторинг», сентябрь 1996 (N = 2400 человек).

При этом как в массе избирателей, так и в среде социальной элиты в период выборов сохранялся довольно высокий фон общего недоверия к деятельности президента.

Таблица 13

**Доверие к президенту Б. Ельцину и голосование
на выборах 1996 года, II тур***

*(в % от числа опрошенных по выделенным группам)**

Варианты ответа	Всего	Электоральное поведение				Затрудни- лись отве- тить
		за Ель- цина	за Зю- ганова	против всех	не уча- ствова- ли	
<i>Все опрошенные</i>						
Доверяли Ельцину	39	59	8	2	28	2
Не доверяли	46	16	41	4	35	5
<i>Руководители и специалисты</i>						
Доверяли Ельцину	44	69	6	1	21	2
Не доверяли	45	20	34	7	34	5

* Исследование типа «Мониторинг», сентябрь 1996 (N = 2400 человек).

По доверию и недоверию к президенту Ельцину социальная элита на пике политической мобилизованности общества делилась на две равные части. Но в этой группе не доверяющие президенту чаще, чем в среднем, считали нужным все же поддержать его. *Вынужденный* выбор здесь выступает особенно наглядно.

Социальные ориентации

Экономико-достижительские предпочтения выражены в рассматриваемой элитарной группе довольно слабо, и они ненамного отличаются от среднemasсовых.

Таблица 14

«Что бы Вы предпочли, если бы смогли выбрать?»
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего	Руководители и специалисты
Небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне	53	47
Много работать и хорошо зарабатывать без особых гарантий	29	33
Иметь собственное дело	7	10
Небольшой заработок, но больше свободного времени, более легкую работу	2	1
Затруднились ответить	10	7

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Ценности гарантированной малооплачиваемой работы по-прежнему доминируют в сознании населения, в том числе и несколько более продвинутого по образованию и статусу. Можно добавить к этому, что 66% руководителей и специалистов «совершенно согласны», а еще 22% «скорее согласны» с тем, что «государство должно обеспечивать каждому прожиточный минимум» (при том, что средние показатели – 69 и 20%). Весьма близкое распределение мнений существует также относительно обязанности государства «обеспечивать работой каждого, кто хочет работать»: с этим совершенно согласны 70%, скорее согласны еще 21% из числа руководителей и специалистов (средние данные – соответственно 75 и 18%). *Патерналистские* ожидания по-прежнему доминируют в среде социальной элиты, несмотря на преобладающую приверженность к рыночным реформам.

Сопоставим некоторые наиболее характерные мнения элитарного слоя относительно препятствий на пути экономи-

ческих реформ. 22% считают, что сами люди «разучились работать», а 26% – что многие люди не заинтересованы в переходе к рынку (средние данные соответственно 17 и 22%). Здесь позиции руководителей и специалистов несколько отличны от средних. 28% отмечают сопротивление чиновников, бюрократии, а 42% – «слабость власти» (средние данные соответственно 22 и 36%). Очевидно, что позиция власти значительно более интересует или беспокоит социальную элиту. Наконец, на «отсутствие продуманной программы реформ» указывает почти половина (48% при среднем показателе 36%), а на некомпетентность нынешних руководителей – 34% (29%). Примечательно, что «фактор власти» занимает в мышлении социальной элиты значительно большее место, чем у «среднего» респондента.

Таблица 15

«Что сегодня важнее для достижения успеха в жизни?»
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Варианты ответа	Всего	Руководители и специалисты
Власть	25	35
Образование	14	10
Богатство	47	43
Затруднились ответить	14	12

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Не вызывает удивления то, что в обоих столбцах доминируют ссылки на богатство, равно как и то, что в среднемассовых данных таких ссылок несколько больше. Но показательно, что руководители и специалисты значительно чаще упоминают власть как источник успеха, а «масса», напротив, выделяет – хотя и не в такой мере – образование.

Социальная элита, представленная в массовых опросах, как и ожидалось, является довольно широким слоем, практически мало отгороженным от остальной массы. Она определяет «ближний», доступный многим поведенческий и нормативный образец, который реально воздействует на массовое поведение и воображение. Тем самым она выступает в качестве посредника, или промежуточного звена, между обществом и «дальними» элитарными структурами. В перспективе именно эта группа может стать эмбриональной формой искомого «среднего класса» в России. «Дальняя», то есть далеко оторвавшаяся от массовых образцов, элита скорее всего останется запредельной, экстравагантной, недоступной для массового подражания. Демонстративные (передаваемые через СМИ) потребительские и поведенческие образцы, которые могут провоцировать массовое любопытство, интриговать, эпатировать и так далее, по всей видимости, останутся «экранными», отгороженными рамкой некоего шоу (игровой рамкой) от реального массового поведения.

«Героических» элит, которые своим примером и устрашением могли бы навязывать обществу некие чуждые ему ценности и типы поведения, сейчас нет ни «в эмбрионе», ни в какой угодно перспективе. Нынешняя фаза модернизации не может осуществляться по старым рецептам насильственной ломки массовых стереотипов («Россию вздернув на дыбы»), которые предполагали закрытость, понуждение, выбор наименее вероятных форм социального развития. Независимо от желания и понимания проводников модернизации сегодня речь может идти только о большей открытости, большей доступности уже существующих, признанных, выработанных образцов. Отсюда и ролевая функция «ближней», социальной элиты.

Рассмотренные выше данные позволяют представить некоторые особенности нынешней российской социальной эли-

ты – слоя, в некоторых важных моментах (например, ориентация на перемены) стоящего на шаг или на полшага впереди «среднего» человека. И, в то же время, слоя, разделяющего основные традиционно-советские, патерналистские, бюрократические установки этого человека.

«Мониторинг...» 1998. № 1

«СРЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК»: ФИКЦИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Вопрос о существовании и роли некоего «срединного» образования (слоя, «класса», группы, статуса...) в современном обществе и, в особенности, в нашем нынешнем, – достаточно давний предмет дискуссий. В последнее время широко распространились суждения о неустойчивости «социальной середины», ее размывании в связи с нарастающей дифференциацией доходных и других групп¹. Как представляется, с такими мнениями прямо или косвенно связаны предложения относительно необходимости «создать», организовать в обществе новый средний слой, например, из мелких предпринимателей.

Такой внешний фон дает добавочный и «внешний» стимул для обращения к обозначенной в заглавии проблеме; основным, естественно, остается продолжение опытов анализа социальных (социально-антропологических) типов современного российского общества. В соответствии с такой исследовательской ориентацией предметом рассмотрения прежде всего становится человек (как респондент массового исследования), а лишь затем возникает проблема социально-групповой типологии. Неизбежными также оказываются обращения к некоторым более общим методологическим и историческим темам.

Субъективный статус как индикатор

Основной материал для настоящего анализа составляют прежде всего регулярно получаемые в мониторинговых опросах данные о распределении статусных позиций респон-

¹ См.: *Гордон Л. и др.* Опыт многомерного описания материально-экономической дифференциации населения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1998. № 1. С. 43-54.

дентов. (Первое обращение к иерархии таких позиций было предпринято нами в 1989 году в рамках исследовательской программы «Советский человек».) Использованы также применявшиеся в некоторых опросах ВЦИОМ оценки респондентами того социального слоя, к которому они себя относят.

Анализ регулярных мониторинговых данных постоянно убеждает в том, что надежность «субъективной информации», с которой постоянно имеют дело массовые опросы, весьма высока, – не меньше, чем надежность той социальной статистики, которая дала мощный толчок социологической мысли с конца прошлого века. Останавливаться специально на этом моменте исследовательской методологии поэтому нет надобности. Более сложен в данном случае другой вопрос: почему в качестве исходного материала берется субъективно определяемый статус, а не более привычные данные о размерах, распределении, оценках доходов или иные, в принципе, объективно проверяемые показатели (например, обладание имуществом, недвижимостью, структура расходов и прочее). Попытаемся ответить на него.

Формулировка «базового» для нас регулярного вопроса мониторинга такова: *«В нашем обществе есть люди, занимающие высокое общественное положение, и люди, занимающие низкое общественное положение. Какое место, по Вашему мнению, Вы занимаете в настоящее время?»* Респондентам предлагается десятипозиционная шкала. Для оценки статусной динамики в аналогичной форме ставятся вопросы о месте, которое респондент занимал на этой шкале ранее (два года или, в последних опросах, пять лет назад), и о месте, которое он предполагает занять через пять лет. В данном случае рассматриваются преимущественно «современные» статусные шкалы.

Сопоставим данные исследований типа «Мониторинг» за 1989–1998 годы (для удобства рассмотрения материала из 24 полученных шкал статусов взяты данные только за некоторые годы этого периода).

Таблица 1

«Какое место Вы занимаете в настоящее время?»
(в % от числа опрошенных, по столбцу)*

Позиции шкалы	Декабрь 1989	Апрель 1994	Ноябрь 1994	Ноябрь 1995	Ноябрь 1996	Ноябрь 1997	Средний показа- тель**
I (высшая)	1	1	1	1	1	1	1
II	1	1	1	1	1	1	1
III	3	4	3	2	3	3	3
IV	6	5	6	4	7	6	5
V	21	20	24	21	19	19	20
VI	17	11	15	14	13	13	12
VII	18	13	14	16	16	15	15
VIII	12	16	15	15	16	18	15
IX	9	11	10	10	10	10	9
X (низшая)	8	17	13	16	15	14	14
Средний статус	6,26	6,97	6,75	6,97	6,85	6,91	6,53
СКО***	6,9	6,5	7,0	7,0	7,1	6,4	6,3

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400 человек).

** Среднее значение по объединенному массиву данных (исследования типа «Мониторинг», 1994-1997.).

*** Среднее квадратичное отклонение.

Очевидна и подтверждается простейшим математическим анализом значительная – даже поразительная на первый взгляд – *устойчивость* общей картины «статусной лестницы» за весь период наблюдений, столь насыщенный экономическими и социальными переменами. Как видно из *табл. 1*, изменение (снижение) величины среднего статуса респондента в различных исследованиях наблюдается в пределах чуть более половины «ступенек» статусной иерархии. Вторая линия индикаторов показывает, что дисперсия (отклонение от средних значений) внутри последовательно наблюдаемых статусных шкал также незначительная.

Показатели статусных позиций, изображенные на той же таблице, распределяются по трем укрупненным блокам – с 1 по 4 «верхний», с 5 по 8 – «средний», 9 и 10 – «нижний». Можно показать, что основные параметры такого распределения сохраняются с небольшими изменениями на протяжении всего периода наблюдений.

Таблица 2

Распределение статусных позиций
(в % от числа опрошенных)*

	Высокие	Средние	Низкие
Декабрь 1989	11	66	20
Апрель 1994	11	58	27
Ноябрь 1994	9	63	22
Ноябрь 1995	7	62	24
Ноябрь 1996	11	62	24
Ноябрь 1997	12	64	24
Всего*	11	64	24

* 23 исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1989–1997.

Таким образом, регулярно замеряемые субъективные оценки показывают существование устойчивого распределения статусных позиций в обществе за прошедшие годы. При всех сдвигах и катаклизмах этого времени, при общей тенденции снижения уровня самооценок различными группами населения (о чем речь пойдет ниже) обнаруживается как будто некоторая константа такого распределения, – речь идет, напомним, о рамках массового субъективного восприятия такого распределения. Причем эти рамки сохраняются относительно стабильными при довольно интенсивном перемещении «материала» (то есть людей, групп) между такими рамками.

Можно, конечно, ожидать возражений такого примерно

рода: изложенное относится к субъективной информации, к восприятию людьми своего положения, которое может быть искаженным, ложным, во всяком случае, ненадежным показателем «действительного» положения вещей. Ответом на них служит ссылка на то, что восприятие людьми – а выборочная совокупность репрезентирует население страны – своего собственного положения является одним из непреложных «социальных фактов» (в терминологии Э. Дюркгейма), рамками такого восприятия задаются рамки любого социального действия.

Статусная динамика

В наиболее общем виде изменения статусных позиций («статусная миграция») за ряд лет наблюдений представлена в следующей таблице.

Таблица 3

Динамика статусных позиций 1994–1997 годов
(в % от числа опрошенных, по столбцу)*

Прошлый статус	Статус в настоящее время									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
I	33	5	7	4	17	4	4	5	3	17
II	3	24	12	11	18	7	9	8	4	5
III	1	4	26	12	20	10	10	8	5	5
IV	0	2	6	28	20	14	13	10	4	34
V	0	1	3	5	51	10	11	9	4	6
VI	0	0	2	4	12	42	16	15	6	4
VII	0	0	1	2	8	10	45	18	10	5
VIII	0	0	1	1	5	6	10	55	14	8
IX	0	0	0	0	3	3	6	8	64	15
X	0	0	0	0	3	1	3	3	4	86

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997 (N = 58 000 человек).

Здесь сведены показатели ответов одних и тех же людей на вопрос об их статусе в недавнем прошлом и в текущее время. Значительная часть опрошенных оценивает собственный (на момент опроса) статус ниже по сравнению с тем, который они имели ранее (два года или пять лет назад).

Для удобства рассмотрения используем снова укрупненные статусные позиции.

Таблица 4

Динамика укрупненных статусных позиций
(в % от числа опрошенных)*

Прошлый статус	Статус в настоящее время		
	высокий	средний	низкий
Высокий	41	49	10
Средний	6	82	13
Низкий	1	13	86

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997 (N = 58 000 человек).

Как видим, наименее устойчивым оказывается положение *высших* статусных групп: менее половины их представителей сохранили его, в то время как в наиболее многочисленных низших и средних группах на тех же (укрупненных) ступеньках осталось более 80%. В целом же доля высших групп заметно уменьшилась (с 17 до 11%), низших – выросла (с 16 до 23%), средние понесли наименьший урон (с 67 до 62%).

Обратимся к динамике статусных *ожиданий*. Суждения о том, на какой статусной ступеньке респонденты надеются увидеть себя через пять лет, в принципе, не более субъективны и не менее информативны, чем соотнесение с прошлым или нынешним статусом.

Таблица 5

Статусные ожидания*

Нынешний статус (укрупненные статусные группы)	Ожидаемый статус через пять лет		
	высокий	средний	низкий
Высокий	80	14	1
Средний	12	74	9
Низкий	2	13	80

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997 (N = 58 000 человек).

Добавим к сказанному общую картину распределения прошлых, нынешних и будущих статусов (укрупненных), как она представляется респондентам.

Таблица 6

«Три времени» статусной иерархии
(в % от числа опрошенных)*

Укрупненные статусные группы	Прошлое	Нынешнее	Будущее
Верхние	17	11	16
Средние	64	62	51
Нижние	15	23	24

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997 (N = 58 000 человек).

«Объективные» параметры статусов

Обратимся теперь к проблеме «материального наполнения» субъективно-статусных групп.

Таблица 7

Занятия и статусные позиции
(в % от числа опрошенных по выделенным группам)*

Социально- профессиональные группы	Укрупненные статусные группы		
	верхние	средние	нижние
Руководители	29	62	7
Специалисты	15	70	12
Квалифицированные рабочие	10	69	18
Неквалифицированные рабочие	7	59	30
Служащие	12	67	18
Бизнесмены	32	57	7
Фермеры	21	63	22
Учащиеся	11	63	22
Пенсионеры	5	54	36
Домохозяйки	12	61	23
Безработные	9	55	32

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997 (N = 58 000 человек).

Получается, что во всех без исключения социально-профессиональных группах от более половины до двух третей респондентов относят свой статус к средней позиции. Сильнее всего это выражено у специалистов, квалифицированных рабочих и служащих, но от них не слишком отличаются пенсионеры, безработные.

Доход и статус

Связь между показателями субъективной оценки респондентами своего статуса и их реального дохода явно слабее, – что, впрочем, и можно было ожидать. Доходы в нестабильной общественной ситуации изменчивы, экономическому

кризису «все статусы покорны», статусные рамки более устойчивы, потому что люди в меняющейся внешней ситуации стремятся сохранить социальные рамки самоидентификации.

Таблица 8

Доход и статусные группы
(в % от числа опрошенных)*

Статусные группы	Доход на момент исследования**				
	Март 1994	Январь 1995	Январь 1996	Январь 1997	Ноябрь 1997
I	177	100	103	253	168
II	112	96	103	112	112
III	135	193	133	124	138
IV	139	144	188	158	134
V	123	142	157	120	105
VI	110	133	123	117	103
VII	114	102	95	95	82
VIII	86	82	86	73	97
IX	81	86	86	70	68
X	100	74	100	73	64

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400 человек).

** Душевой доход в % от среднего на данный месяц.

Следует заметить, что показатели доходов высших статусных групп, особенно первых двух, ненадежны из-за малочисленности самих групп и разнообразия источников доходов. Более наглядную картину дает укрупнение статусных групп (см. табл. 9).

По понятным соображениям измерять показатели дохода в какой-либо валюте за ряд лет имело бы мало смысла. «Срединное» положение средних статусных групп достаточно ясно прослеживается по всем показателям, относящимся к доходам. Заслуживает внимания, что наибольший разброс значений наблюдается в реально полученных доходах, в то время как он минимален при субъективных определениях про-

житочного минимума и несколько более – в представлениях относительно «нормального» уровня. Проблема «усредненного» (ориентированного на середину) массового воображения заслуживает особого внимания.

Таблица 9

Желаемые и реальные доходы по статусным группам*

Сумма денег*	Укрупненные статусные группы		
	верхние (6142 человек)	средние (36074 человек)	нижние (13471 человек)
Чтобы «жить нормально»	127	100	85
Прожиточный минимум	108	99	102
Реальный доход	156	104	69

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997 (N = 58 000 человек).

** В % от среднего значения за весь период исследований.

Оценки положения семьи

Во всех статусных группах оценки респондентов относительно положения своих семей тяготеют к «средним». Можно предположить также, что низкие оценки собственного положения у высших групп связаны не только со стремлением «укрыться» за среднемассовым уровнем, но и с более высокими критериями оценок богатства и бедности.

Таблица 10

Показатели материального положения семьи
(в % от числа опрошенных)*

Оценка	Укрупненные статусные группы		
	верхние	средние	нижние
Очень хорошее	1	0	0
Хорошее	11	4	2

Оценка	Укрупненные статусные группы		
	верхние	средние	нижние
Среднее	53	48	30
Плохое	25	36	44
Очень плохое	7	9	22

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1997 (N = 58 000 человек).

Статус и «слой»

В данном случае речь идет о «слое», который столь же субъективно определяется, как и рассматриваемый статус. В ряде исследований ВЦИОМ последних лет в различном контексте респондентам предлагалось отнести себя к какому-либо «социальному слою» из определенного перечня.

Таблица 11

Социальные слои (в % от числа опрошенных)*

Слой	Время исследования	
	Май 1997	Ноябрь 1997
Самый низший слой	17	12
Рабочие	29	34
Нижняя часть среднего слоя	13	–
Средний слой	31	43
Верхняя часть среднего слоя	2	–
Высший слой	0	1

* Исследования типа «Экспресс», май 1997 (N = 1691 человек) и типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек). Пропуски означают, что данные позиции не были включены в инструментарий опроса.

Данные ноябрьского мониторинга 1997 года позволяют сопоставить представления респондентов об их принадлежности к определенным слоям и статусным группам.

Таблица 12

«Статус» и «слой»
(в % от числа опрошенных)*

Слой	Укрупненные статусные группы		
	верхние	средние	нижние
«Высший»	69	32	0
«Средний»	18	66	15
«Рабочие»	6	66	24
«Низший»	2	47	49

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Бросается в глаза, что «лобовой» вопрос о принадлежности респондентов к определенному слою дает более резкую поляризацию крайних позиций по сравнению с обычно предлагаемой в мониторинге «лестницей» статусов. Как видно из кросстаблицы, треть отнесших себя к «высшему слою» и две трети «рабочих» размещают себя на средних ступенях статусной лестницы.

Кстати, к «рабочему слою» отнесли себя опрошенные из различных социально-профессиональных групп: собственно работающие рабочими составили 35% этого слоя, пенсионеры, домохозяйки, безработные – 41%, руководители, специалисты, служащие, учащиеся – 21%.

Представляет интерес еще один набор показателей, относящихся к проблеме субъективно определяемых слоев. Оказывается, можно обнаружить удивительную близость параметров таких слоев в сравнительных исследованиях. Вот как выглядят «субъективные социальные классы» – по сути дела,

речь идет о слоях или группах – в опросе, проводившемся в ряде стран в 1994 году.

Таблица 13

«Субъективные» социальные классы
(в % от числа опрошенных)*

Классы	США (1435 человек)	Россия (1827 человек)
Низший	5	6
Рабочий	45	47
Средний	46	47
Высший	4	2

* Исследования проведены по программе ISSP: в США фирмой NORC (N = 1435 человек), в России – ВЦИОМ (N = 1800 человек).

Получается, что вся разница только в размерах «высшего класса». Разумеется, эти данные заставляют не только удивиться устойчивости рамок социального воображения, но и вспомнить древнее изречение: «Если двое делают (говорят) одно и то же, это не одно и то же» (Si duo faciunt idem, non est idem). «Реальное» наполнение рамок (доходы, имущество, притязания) различны, но субъективно воспринимаемые их параметры почти идентичны.

Социальные оценки и установки

По своим социальным позициям средние статусные группы почти всегда оказываются близки к среднестатистическим для всего населения.

Таблица 14

Социальные и политические установки укрупненных статусных групп

*(в % от числа опрошенных, по столбцу)**

Варианты ответа	Всего (58 000 человек)	Укрупненные статусные группы		
		верхние (6142 человек)	средние (36074 человек)	нижние (13471 человек)
<i>Оценка положения</i>				
«Все не так плохо и можно жить»	10	18	10	4
«Жить трудно, но можно терпеть»	47	49	50	40
«Терпеть ... уже невозможно»	36	27	33	49
«Затрудняюсь ответить»	7	6	7	7
<i>Экономические реформы...</i>				
«Нужно продолжать»	32	42	34	22
«Следует прекратить»	27	22	25	34
«Затрудняюсь ответить»	41	36	40	43
<i>Получили ли такие люди, как Вы, возможность повысить свой уровень жизни?</i>				
«Да, получили»	5	11	5	2
«Скорее да, чем нет»	12	22	14	5
«Скорее нет, чем да»	28	25	31	22
«Нет, не получили»	43	29	39	61
«Затрудняюсь ответить»	12	13	12	10
<i>Согласны ли Вы с тем, что... единственный выход из положения, в котором оказалась страна, установление диктатуры?</i>				
«Согласен»	24	23	24	27
«Не согласен»	42	44	43	39

Варианты ответа	Всего (58 000 человек)	Укрупненные статусные группы		
		верхние (6142 человек)	средние (36074 человек)	нижние (13471 человек)
«Не могу сказать определенно»	34	31	33	34
<i>...было бы лучше, если бы все в стране оставалось так, как было до 1985 г.?</i>				
«Согласен»	48	41	44	56
«Не согласен»	31	38	33	23
«Затрудняюсь ответить»	21	20	22	20

* Исследования типа «Мониторинг», объединенный массив, 1994–1999 (N = 58 000 человек).

В позициях «среднего» респондента (да и не только «среднего») можно обнаружить огромное число логических противоречий и несообразностей: сожаление о положении дел «до 1985 года» и поддержка экономических реформ, тоска по «сильной руке» и уважение к демократическим свободам, признание открытости страны и ориентации на ценности имперской великодержавной политики и так далее. Но в социальной реальности логическими категориями редко удастся оперировать.

«Двойственность» привычек и ожиданий самой массовой части населения составляет источник статистической и социальной устойчивости этого множества (причем речь идет о *внутренней устойчивости*, то есть о сохранении и воспроизводстве условий, порождающих именно такое человеческое множество). При анализе данных массовых опросов неоднократно приходилось отмечать, что видимая парадоксальность одновременного принятия одними и теми же людьми проти-

воположных позиций – не исключение, а *правило* массового поведения. Оно действует в ситуациях сосуществования на разных «уровнях» практических ориентаций и идеологизированных ценностей и так далее. Отсюда чрезвычайно широкая – чуть ли не безграничная – адаптивность «среднемассового» множества к различным социальным и политическим условиям. Это всегда было важнейшей предпосылкой выживания (или воспроизводства) феномена «среднего человека». Но было бы довольно трудно считать приспособляемость человека к разным системам и режимам опорой их стабильности.

Притяжение середины

Чем объяснить, что около двух третей населения – безотносительно к чинам, рангам и доходам – привычно, упорно, настойчиво относят себя к некой «середине»?

Самое универсальное (и потому неспецифичное для отечественных условий) объяснение: человек хочет быть «с большинством», поступать «как все», ибо так уютнее, безопаснее, «безответственнее». Конечно, в его распоряжении нет цифровых показателей, но – в обычных условиях – имеется устойчивое представление о том, чего хотят эти воображаемые «все».

Более специфическое, «наше» – это боязнь «высовываться». Боязнь, сформированная в обстановке слабоструктурированного (об этом речь пойдет чуть ниже), запуганного и скованного круговой порукой общества. Нарушитель этой неписанной нормы – в какую бы сторону такое отклонение ни происходило – сталкивается не только с моральными, но и с насильственными санкциями.

Если «среднее» представляется всеобщим эталоном («нормальное»), в общественном мнении не находится места для «белой» зависти (быть, как лучшие), остается лишь «черная» (стремление «окоротить» этих лучших). Попытки

демонстративного введения соревновательности в предыдущие социально-политические времена никогда не давали реального эффекта. Действительно работавшая – и, по всей видимости, работающая ныне установка – это *равнение на середину*. Появление новых элитарных слоев, «новых» и «новейших» русских, пока мало изменяют общую ситуацию, в частности потому, что задаваемые ими поведенческие образцы скорее отталкивают, чем привлекают «среднее большинство».

Привлекательность среднемассовых стандартов – одна из главных опор того безграничного массового терпения, которое составляет нашу национальную гордость и беду.

«Класс», слой или «середина без границ»?

Все данные, с которыми мы имели дело, относятся к некоторому множеству отдельных индивидов, которые стремятся считать себя «средними». Возникает вопрос, как эту «середину» («серединную позицию») определить. Между какими «крайностями» эта середина располагается? Как видно из *табл. 14*, здесь можно обнаружить средние, промежуточные *позиции*. Но говорить о сколько-нибудь определенных средних социальных группах практически нельзя. Та часть населения, которая не относит себя к средним статусным позициям, невелика, разнородна, по декларируемым установкам (даже и по доходам, поскольку они демонстрируются) мало отличается от считающих себя «средними». По сути дела, в статусной структуре нашего общества обнаруживаются лишь две крупные общности – средние и низшие. Но различия между ними, как видно из приведенных выше показателей, размыты. Можно сказать, что те, кто относит себя к низшим статусным позициям – это неудачливые «средние»; тогда немногочисленные «высшие» – это более удачливые средние. (Разумеется, вне рассматриваемой статусной иерар-

хии остаются аутсайдеры всех типов, от новых богатых до бомжей и тому подобное.)

Получается, что середина (средний человек, его ориентиры и прочее) существует, – и в то же время середины (как социальной группы) *нет*. Не только как «класса» в его привычной для нас традиционно марксистской определенности, но и как «слоя» или социальной группы. Как отмечено выше, «середина» в нашем обществе имеет внутренние определения (среднемассовые ориентации как всеобщий эталон), но не имеет определений внешних, то есть границ, отделяющих ее от «соседей» сверху и снизу. Самая общая и самая глубокая причина такого состояния – слабая структуризация общества.

Экскурс в прошлое: попытка преодолеть «середину»

Советская общественная система в ее «героический» формообразующий период (примерно до середины 30-х годов) строилась под лозунгами принижения и преодоления «мелкобуржуазной» деревенской и городской («обывательской», «мещанской») среды – во имя авангардных социальных идеалов правящей элиты. Считалось официально, что «верх» в борьбе против «середины» должен получить неограниченную поддержку тех самых «низов», которым нечего терять. Вся эта борьба и лежавший в ее основе идеологический расчет потерпели неудачу. Власти пришлось искать опоры не в «низах», а в новой (подновленной) бюрократии и новой «середине», отягощенной определенным уровнем благосостояния, имущественными и семейными интересами и прочее.

Ориентация «на середину», то есть на терпение и безразличие среднемассового советского человека, утвердилась где-то к 40-м годам и сохранялась до развала системы. Но был ли настоящей опорой системы этот человек, терпеливо сносивший тяготы советского существования и спокойно

принявший перелом начала 90-х? Этот вопрос растворяется в более широком – о правомерности использования «классовых» категорий при анализе социальной реальности – причем, не только советской и не только современной.

Создать «средний класс»?

Как мы видели, в нашем обществе реально существует многочисленная «серединка», которая себя таковой осознает. Она не составляет никакого класса и не может им быть. Искусственно создать, вырастить такой (или какой-либо иной) «класс» невозможно, да и не нужно. Деятельность мелких бизнесменов, фермеров, ремесленников заслуживает признания и поддержки, – но это не сделает их средним классом. При всех социальных и экономических пертурбациях, которые могут произойти, «середину» общества составят прежде всего специалисты, работники, служащие, то есть люди наемного труда. Переносить в XX и XXI века ситуацию Американских штатов, где большинство граждан составляли свободные фермеры, – бессмысленно и невозможно. Вопрос в том, каково положение этих людей – не только в смысле их уровня жизни, но в смысле ее качества, уверенности в себе, знания своих прав и обязанностей и так далее.

Если нынешнему российскому обществу недостает стабильности и – особенно – уверенности в будущем (в будущей стабильности), то это не потому, что в нем мало «средних», а потому, что в нем нет *структуры*, которая связывает в одно общественное целое людей разных профессий, слоев и состояний, задает правовые и моральные рамки социального действия, короче говоря, превращает человеческое *множество в народ*, а стабильную инертность «середины» – в динамическую устойчивость мобильной развивающейся структуры. «Средний» человек, который стремится выжить, оставаясь средним – фактор той стабильности, которой, фигурально выражаясь, обладают лежачий камень или стоячее

болото. В обществе такая стабильность недостаточна и ненадежна: если люди просто хотят выжить, они будут готовы адаптироваться к любому режиму и любой его перемене.

Устойчивость общества и, тем более, общественного прогресса не может опираться на пассивное терпение большинства. Общество стабильно, когда оно организовано, когда люди и группы знают и умеют отстаивать свои права, ориентироваться на более высокие образцы, когда есть место для «середины», но есть и механизм, который может преодолеть ее ограниченность.

«Мониторинг...» 1998. № 2

ИНДИКАТОРЫ И ПАРАДИГМЫ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ

Механизм и «терминалы» культурных процессов

Регулярные опросы дают огромное количество данных, относящихся к массовому потреблению (в том числе к массовому пониманию и применению) этических, эстетических, когнитивных ценностей, норм, знаний, умений, интересов, привычек, рамок деятельности человека в определенных социальных ситуациях и процессах. Сравнительный анализ таких данных весьма важен для понимания общественных перемен. Понятно, однако, что на уровне эмпирических данных (в том числе и сравнительных, например, временных рядов) нельзя получить ни целостной картины, ни объяснения наблюдаемых явлений. Нужен какой-то переход к теоретическому уровню анализа, построению работоспособных гипотез и моделей культуры (или, как было предложено Т. Парсонсом, *культурной подсистемы общества*). Притом, не просто переход, совершаемый в творческом воображении исследователя, а переход *эмпирический*, то есть такой, который исходил бы от накопленных данных и давал бы ключ к их пониманию.

Попытка обозначить некоторые возможности такого перехода и составляет содержание настоящего очерка.

Исходное предположение состоит в том, что получаемые исследователями (в массовых опросах, глубоких интервью, статистике) данные относятся к состоянию видимых «терминалов» скрытого от невооруженного глаза сложного и в определенном смысле целостного «механизма» культуры. В известной когда-то книге А. Эйнштейна и Л. Инфельда «Эволюция физики» использовался такой образ: мы наблюдаем стрелки часов, не зная их механизма, но зная, что такой механизм существует и действует. Причем, правомерность до-

пущения о существовании единого «механизма» вселенского масштаба подтверждается реконструкцией его генезиса (общезвестная модель большого взрыва и так далее).

Имеющиеся данные истории и теоретически реконструируемого генезиса социальных институтов позволяют представить некоторые фазы и закономерности развития культурной подсистемы общества как «структурной дифференциации» (термин Парсонса), в ходе которой обособляются и приобретают свое значение компоненты ранее единого нормо- и целеполагающего «механизма» общества. И именно в таком процессе – в том числе в тех его фазах, которые разворачиваются на глазах исследователей в нашем веке, – обретают определенный смысл и определенное единство сдвиги, принадлежащие как будто совершенно разным культурным феноменам.

Перемены социальные и культурные: разные шкалы времени

Понятно, что все феномены и процессы культуры могут существовать реально только в социальном «теле» общества, то есть в социальных структурах, институтах, группах, действиях. Если социальные структуры могут изменяться сравнительно быстро, «на глазах» (за годы или десятки лет), то для закрепления глубоких культурных перемен нередко требуются столетия. Быстрые – «революционные» или «скачкообразные», как говорили раньше – перемены в культурных параметрах общества весьма редки. (За два последних тысячелетия в европейском мире они несомненно связаны с христианством и его протестантской реформацией, другие точки перелома, по меньшей мере, дискуссионны. Те акции, которые именовались «культурной революцией» в СССР в 30-е годы или в Китае в 60-е относились скорее к социально-политическим условиям существования культуры.)

Поэтому в большинстве стран и регионов очевидны мно-

гообразные феномены социокультурного симбиоза – сочетания и сращивания относительно новых социальных структур и норм со «старой» культурной, в том числе и человеческой, социально-антропологической, матрицей. (В остальных обществах такие феномены не так очевидны, но могут быть обнаружены.) Так, универсальный процесс модернизации социально-технических, социально-экономических, социально-правовых инфраструктур в разных обществах приводит к разным последствиям, поскольку реализуется в различных культурно заданных структурах, при различии человеческого «материала», групповых привычек и национальных установок¹. С этим в значительной мере связаны едва ли не все катаклизмы модернизационных процессов XX века в России, Германии, Иране и так далее.

Стоило обратить внимание на эти, достаточно известные, понятия, поскольку они служат предпосылками для дальнейшего рассмотрения интересующей нас проблемы.

Два «кризиса» культуры

Написание слова кризис в кавычках использовано в данном случае для того, чтобы отделить исконный смысл термина – кризис как перелом, переход к иной фазе, иной структуре процесса – от популярно-газетного словоупотребления, где кризис отождествляется с катастрофой, гибелью.

Фиксируемые в наших исследованиях сдвиги в сфере культуры являются результатом совместного действия двух различных по своей природе кризисов: во-первых, общемирового, связанного с утверждением механизмов массовой

¹ Лет 40 назад Ч.П. Сноу писал о наличии «двух культур» в каждом обществе – однообразной для всех «культуры аэропортов» (то есть того, что можно назвать социально-технической инфраструктурой) и национально-своеобразной (см.: *Сноу Ч. Две культуры*. М.: Прогресс, 1973). Вероятно, в любом обществе можно найти и более двух разнозначных «этажей» культуры.

культуры и соответствующей переоценкой механизмов культуры элитарной (точнее, иерархической), во-вторых, специфически «нашего», постсоветского, то есть связанного с переходом от директивной культуры к открытой и массовой. Переломная – и прежде всего в этом смысле кризисная – культура XX века лишь в последнее его десятилетие начала вторгаться в наше социокультурное пространство, где ни социальные институты, ни человек не были готовы ее должным образом воспринять и освоить. К этому, разумеется, добавляются еще такие факторы, как развал старых и отсутствие новых экономических механизмов, идейное и политическое замешательство культурной элиты.

Подошедший к концу век можно считать первым веком господства «массовой» культуры на всем пространстве европейской цивилизации, – если понимать этот термин в широком и серьезном (не оценивающем, но аналитическом) смысле. Чисто технические его признаки – культура, транслируемая через системы массовой коммуникации – принципиально важны, но не достаточны для объяснения происшедших перемен в культурной ситуации. Они касаются положения «держателей» культуры и ее «потребителей», способов трансляции и закрепления нормативно-ценностных структур.

«Держателем» культуры выступает не элитарная группа творцов или жрецов, а обезличенные и дегероизированные социальные институты (образования и масс-медиа в первую очередь). Культурная элита удерживает за собой монополию лишь на определенный (верхний) уровень культурных образцов; вне его рамок элита обслуживает массовую культуру.

Десакрализация культуры, начатая в просветительскую эпоху, доводится до своего логического завершения: ценностным ориентиром становится не предельный (священный) авторитет, не просвещенный авангард, сочинявший идеальный образ Человека, а среднemasсовый человек – в частно-

сти, тот, что представлен в массовых опросах². Работая на своего массового потребителя, масс-культура во всех своих видах формирует этого потребителя (получателя, пользователя).

Ценности массовой культуры – любого свойства, от этических до когнитивных – по природе своей не могут быть навязаны потребителю так же авторитарно, как это происходило с ценностями предшествующих, авторитарных и авторитетных культур. Подобно продуктам иных массовых производств, они навязываются через системы «необязательного» понуждения типа рекламы или пропаганды, подкрепляемых массовым вкусом. С этим связаны, в частности, широкие и как будто расширяющиеся рамки терпимости к различным вкусам и взглядам.

Неизбежный итог таких перемен – явное, даже демонстративное отстранение массовой культуры от социально-воспитательных функций, обособление культуры и социальной педагогики. (На деле происходит переход от прямого поучительства к латентному и косвенному, то есть к ситуации, когда, например, поведенческие образцы задаются в той же «ненавязчивой» форме.)

В начале XX века взрывное – по тогдашним критериям – распространение масс-культуры (кино и печать, массовая реклама и пропаганда) многим представлялось катастрофой, гибелью культуры и цивилизации. Сейчас подобные представления чаще всего можно встретить на нашем постсоветском пространстве или в странах бывшего третьего мира, недавно вовлеченных в потоки модернизации.

Культурные структуры советского общества были предельно жестки (дихотомия позитива–негатива, то есть «правильного» и «неправильного» или «своего» и чужого» и тому

² «Масса – это «средний человек»... это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип». (*Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. М.: Весь Мир, 1997. С. 45*)

подобного в этических, эстетических, когнитивных стандартах), предельно авторитарны (обязательны к исполнению под угрозой суровых санкций, отклонение от стандарта расценивалась как антиобщественная акция – «извращение», «лженаука», «антинародная музыка» и прочее) и предельно санкционированы (на уровне абсолютного авторитета непогрешимого квазисакрального учения и его держателей). Конечно, такова лишь идеальная модель, декларативный, но никогда полностью не реализуемый образец. Да и в таком качестве он мог действовать только в условиях строго контролируемой и закрытой от внешних воздействий социальной системы, предполагавшей, помимо прочего, строгое разделение обязанностей между «наставниками» и «послушниками». Простота, жесткость и покорность составили главные опоры всей советской модели культуры – они же определили и рамки «советской» модернизации.

Долго назревавший и быстро свершившийся распад этих рамок порождает культурный кризис, куда более сложный и, скорее всего, более длительный, чем кризисы экономические или политические. Советско-российское общество оказалось неготовым к «вторжению» ценностей, допускающих сомнения, к влиянию среднemasсовых вкусов, необязательных норм и неавторитарных механизмов их распространения. Причем наименее подготовленной к такому повороту обстоятельств оказалась именно культурная элита общества, привыкшая к роли монопольного держателя культуры под недремлющим оком абсолютного государственного авторитета.

Культура «зрелищная» и «зрительская»

С утверждением массовой культуры сформировалось то универсально-значимое распределение общественных ролей, в котором среднemasсовому человеку отведена роль зрителя, точнее – «зрительского участия». Это в равной мере относит-

ся к массовой политике, массовому спорту, массовому искусству и прочему. Мелькнувшая где-то на прошлом переломе столетий иллюзия относительно возможности замены элитарной, сословной и прочей закрытости публичных сфер деятельности (государства, политики, искусства, спорта) массовой самодеятельностью, «творчеством масс» давно развеяна. Во всех сферах действуют вполне профессиональные исполнители и группы, но при непременном «зрительском участии». Последний термин, как мне представляется, означает особый, характерный именно для массового века, тип человеческой активности. Зритель в театре, на стадионе, как и участник толпы, слушающей оратора на площади, исполнял определенную роль в соответствующем действии в разные далекие времена; зритель, читатель, слушатель масс-медиа, воспринимающий через них подобные действия, – исключительный феномен XX века. Это новый тип социальной активности (и соответственно – интересов), занимающий довольно важное место в жизни людей и общества.

Зрители – отнесем к их числу, для простоты, также слушателей, фанатов, последователей, сторонников – не только соучаствуют в зрелищном действе, поддерживая, осуждая, переживая поступки актеров, но образуют некое собственное «игровое поле» со своими правилами игры. В обычных условиях массовые зрители влияют на актеров, в исключительных ситуациях они могут и сорвать игру. (В условиях нашего политического поля не всегда, правда, можно отделить рутинные ситуации от чрезвычайных, но это предмет особого разговора.)

Наиболее универсальной и относительно простой структурой «зрительской игры» можно, наверное, считать ту, которую дает массовый (то есть массово-зрительский, а точнее даже – массово-телевизионный) *спорт*. Здесь предельно наглядны, упрощены, часто поддаются подсчету параметры – а также и функции – зрительского участия («боления» за своих – против «чужих»). С определенным приближением «зри-

тельский спорт» может служить образцом любого типа зрительской игры.

Воспользуемся для иллюстрации этого положения результатами всемирного сравнительного исследования, осуществленного в 1997 году.

Таблица 1

«Спортивное участие» в течение года
(в % от числа опрошенных)*

Виды участия	США	Россия	Чехия	Венгрия	Польша
Принимали участие**	67	42	75	57	67
Посещали соревнования	55	21	45	34	30
Смотрели по ТВ	82	74	80	78	78

* Исследование 1997 года «Roper Starch Worldwide» в 40 странах мира, в России проведено ВЦИОМ (N = 1000 человек в каждой стране).

** Хотя бы в одном из 54 перечисленных в анкете видов спорта и физкультуры.

Таким образом, зрительское участие доминирует повсеместно, в России – даже более всего. Лишь в отдельных видах спорта массовое занятие им сопоставимо по размерам со зрительским участием.

Таблица 2

Типы участия в спортивной активности
(в % от числа опрошенных по России)*

Вид спорта	Участие	Посещение	Просмотр ТВ
Баскетбол	8	4	17
Футбол	10	11	34
Теннис	5	2	9

Вид спорта	Участие	Посещение	Просмотр ТВ
Волейбол	7	3	6
Бег/ бег трусцой	5	0	1
Лыжи (на равнине)	7	2	13
Шахматы	4	1	2

* Исследование 1997 года «Roper Starch Worldwide» в России проведено ВЦИОМ (N = 1000 человек).

Общий знаменатель – телевидение?

В конце века телесмотрение – абсолютно преобладающий, самый универсальный канал приобщения человека к политике, культуре, информации. Данные упомянутого международного исследования позволяют судить о распространенности различных форм массового участия в различных видах так называемых досуговых занятий.

Таблица 3

Распространенность занятий в свободное время (% ответивших, что «часто» заняты...)*

Виды досуга	США	Россия	Казахстан	Чехия	Венгрия	Польша
Просмотр телевидения	51	57	51	43	49	47
Просмотр видеозаписей	23	14	15	8	15	11
Прослушивание музыки по радио	45	25	35	46	50	46
Прослушивание записей	38	23	27	28	34	33
Чтение	39	33	32	41	46	38
Видеоигры	8	3	3	3	4	6

Виды досуга	США	Россия	Казахстан	Чехия	Венгрия	Польша
Посещение концертов	4	2	1	4	5	3
Посещение театров	5	1	1	7	4	3

** Исследование 1997 года «Roper Starch Worldwide» в 40 странах мира, в России проведено ВЦИОМ (N = 1000 человек в каждой стране).*

Как видим, приобщенность населения к телеэкрану у нас примерно такая же, как в других странах. Однако заметна существенная разница в «культурном контексте» ТВ-потребления в разных обществах.

Телевизор вводит в рамки семейно-домашней жизни самые разнообразные и удаленные от дома типы деятельности, как бы «одомашнивает» их – так, как это не под силу газете или радио. Телевизор же создает и наиболее эффективную иллюзию приобщения к «реальной», «большой» жизни (к тому самому «наслажденью битвой жизни», которое недоступно не только гагарам, но и массовому зрителю). В России вообще масс-медиа, особенно телевидению («в целом», как некоему единому источнику) доверяют больше, чем политикам, партиям, государственным институтам. В общественном мнении обозреватели газет, радио и телевидения занимают сейчас четвертую позицию в списке 11 структур, влияющих на жизнь России (после преступников, банкиров и чиновников), а «должны занимать» вторую позицию, уступая лишь образованным специалистам. (Всероссийский опрос ВЦИОМ, март 1998, N = 1500 человек.)

Можно полагать, что доверие к эффектам и глашатаям масс-медиа обратно пропорционально действительному по-

ниманию общественных явлений и реальным возможностям влияния на них. Гипервлияние массовой телекультуры в нынешнем российском обществе – показатель социальной неразвитости общества. Практически-политическая эффективность массового телевизионного влияния (которое оказалось, естественно, весьма поверхностным и краткосрочным) была опробована в предвыборной гонке 1996 года.

Телевизионное (или аудиовизуальное) участие человека в политике, спорте, искусстве, жизни своей страны и всего мира – особый вид социальной игры – одно из главных достижений XX века, вероятно, сопоставимое по значению с открытиями рисунка и письменности, не говоря уже о театре, спорте и прочем. Его результат – человек-зритель, который стремится «видеть все» в заданных ему рамках телеэкрана, и... довольствуется этим.

«Реальность» и «фантазия»

В принципе, любой вид социальной игры создает определенные рамки (или новое поле) человеческого воображения, фантазии, которое является неременным конструктивным элементом любого действия. Всякое зрительское переживание, перевоплощение, смена ролей и масок – независимо от значимости процедур подражания или отражения по отношению к каким-то внешним для данной игры феноменам – это работа направленного, социально- и личностно-организованного воображения. Включение человека в некую игру теней на громадном (кинотеатр) или маленьком (ТВ) экране требует длительного онто- и филогенетического формирования такого воображения, в частности в игровых полях литературы³. В этом смысле масс-медиа ничего нового не

³ «Чем вызвано желание читателя участвовать в приключениях литературы? Наверное, это вопрос не столько к литературоведу, сколько к антропологу», – пишет один из современных теоретиков фикциональности В. Изер (см.: Новое литературное обозрение. М., 1997. № 27. С. 42).

создали – они «лишь» дали новые средства и стимулы.

Поэтому различие «реальности» и «фантазии» применительно к массово-зрительской игре – весьма условно; глубоко информационные или просветительские функции медиа в данном случае мы оставляем в стороне.

Массовые игры на спортивных и политических «полях» – это преимущественно участие в борьбе «своих» против «чужих», где действуют факторы идентификации, противостояния, напряжения, происходит мобилизация сил, проекция своих пороков на противника, самоутверждение и преодоление собственного комплекса неполноценности и так далее. (Напомню, что в данном случае нас интересует только сопоставительный анализ механизмов, а не социального значения соответствующих игровых структур.)

Другие виды (или другие «поля») массово-зрительской игры предоставляют ее участникам более разнообразный – и не столь определенный – набор возможностей погружения в игровые ситуации. В соответствии с собственными (впрочем, стандартизованными) интересами и вкусами зрители находят в них образцы рационализации или генерализации индивидуального опыта, снятия или сублимации эмоциональной напряженности и так далее. Можно допустить, что для большей части таких игр основной узел действия – трансформация ролей своего/чужого: чужой опыт переживается как «свой», а свое переживание выносится вовне, экстериоризуется в соответствии с заданными общими образцами. Такие перевоплощения могут по-разному восприниматься или осознаваться, оцениваться зрителем.

Относящиеся к такому игровому полю данные исследований общественного мнения позволяют рассмотреть лишь некоторые моменты отмеченных трансформаций.

Таблица 4

Интерес к «вымышленному» и «реальному»
(в % от числа опрошенных)*

С каким из суждений Вы более согласны? **	США	Россия	Казахстан	Чехия	Венгрия	Польша
А-1	72	67	71	74	79	63
Б-1	27	33	29	26	21	37
А-2	48	36	36	43	36	21
Б-2	52	64	64	57	64	79

* Исследование 1997 года «Roper Starch Worldwide» в 40 странах мира, в России проведено ВЦИОМ (N = 1000 человек в каждой стране).

** Респондентам были предложены следующие варианты ответа:

А-1. Меня более всего интересует то, что связано с моей повседневной жизнью, что помогает мне принимать решения и справляться со своими проблемами.

А-2. Меня больше интересует то, что не связано с моей повседневной жизнью, что позволяет мне просто расслабиться и уйти от решений.

Б-1. Мне больше нравится вымысел – такие книги, кинофильмы, телепрограммы, которые основаны на фантазии.

Б-2. Мне больше нравятся такие книги, кинофильмы, телепрограммы, в которых нет вымысла, которые основаны на реальных фактах.

Вряд ли можно заключить на основании таких данных, что в нашей стране больше «реалистов», чем в прагматичном американском обществе. Скорее всего, у нас больше готовы верить фантазиям, похожим на желанную реальность.

Вероятно, поэтому при разной постановке вопросов грани между «реалистами» и «фантазерами» оказываются подвижными. Согласно имеющимся данным (только по России),

связи между ответами на две приведенные выше группы вопросов не слишком жестки. Так, из интересующихся повседневными проблемами художественный вымысел предпочитают 30%, а из любителей «просто расслабиться» – 70%. Первая группа в большей мере предпочитает «семейные», «познавательные», «реалистические», «лишенные насилия» телепрограммы, вторые – «стимулирующие», «фантастические», «забавные». Различие между группами преимущественно возрастное.

Использованная в сравнительной анкете терминология представляется заведомо упрощенной: ведь всякий художественный (тем паче – фольклорный, мифологический) «вымысел» как-то связан с фактами. Нельзя сравнить, где «больше» или «меньше» вымысла – в «Кубанских казаках» или в «Солярисе», но может быть удастся обнаружить различия в рамке массового зрительского восприятия такого вымысла.

Суммируя ряды показателей, относящихся к излюбленному досугу респондентов из разных стран, организаторы указанного международного исследования сгруппировали их следующим образом.

Таблица 5

Группировка «досуговых занятий»
(в % от числа опрошенных)*

Функция досуга	США	Россия	Казахстан	Чехия	Венгрия	Польша
Культурное развитие	23	22	13	23	34	26
Приключения/ возбуждение	25	12	8	15	24	9

* Исследование 1997 года. «Roper Starch Worldwide» в 40 странах мира, в России проведено ВЦИОМ (N = 1000 человек в каждой стране).

Доминанта «среднего» вкуса

В восприятии массовой культуры доминируют, естественно, стандарты «среднего» вкуса. Вопрос лишь в том, какими элитарными, традиционными, просветительскими рамками такое влияние ограничивается.

Воспользуемся шкалой статусов, построенной на основе самооценок респондентов (см. с. 351 и сл. наст. изд.).

Таблица 6а

Любимые книги (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Всего	Укрупненные статусные группы		
		верхние	средние	нижние
Не читаю, редко читаю	35	36	39	45
Фантастика	15	17	17	11
Детективы	32	34	34	26
О любви	27	28	29	21
Классика	14	12	15	14
Религиозные	4	3	5	2
По домашнему хозяйству	16	15	18	15

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Таблица 6б

Любимые фильмы (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Всего	Укрупненные статусные группы		
		верхние	средние	нижние
Не смотрю, редко смотрю	8	9	8	8
О любви, мелодрамы	42	41	42	43
Детективы, боевики	47	51	47	42

Продолжение табл. 6б

Варианты ответа	Всего	Укрупненные статусные группы		
		верхние	средние	нижние
Комедии	62	68	61	60
Ужасы, мистика	22	33	23	15
Эротика	17	24	19	9
Фантастика	24	33	25	19
Исторические	38	40	38	36
О современной жизни	24	27	24	23
Музыкальные	15	14	17	11
Старые советские и зарубежные	59	52	58	63
Мультфильмы	25	24	26	25

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Таблица 6в

Любимая музыка
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Всего	Укрупненные статусные группы		
		верхние	средние	нижние
Симфоническая	7	8	8	4
Джаз	7	16	7	4
Рок	13	18	14	6
Романсы	30	24	31	31
Народные песни	49	34	48	59
Эстрада	66	70	67	62
Песни бардов	23	21	24	19
«Блатные» песни	13	17	13	10

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Дело не в том, что этой «середины» много, а том, что она оказывается практически *монопольной* – при размытости, разложении, деформации социокультурной структуры общества. Как видно из приведенных выше данных, культурные вкусы и запросы доступной исследованию, относительно многочисленной «социальной элиты» практически почти не отличаются от средних. Не видно позиций держателей «высокого» уровня. Показательно, что в сфере музыкальных интересов главным носителем массовой моды (эстрада, рок) оказываются «верхние» статусные группы.

Кризис культурных элит

Это кризис не только идейный, но в первую очередь институциональный: обрушилась система социальных связей, поддерживавших, контролировавших, ограждавших «элиту» – и обеспечивавших ее монопольное влияние на массы. Это относится ко всей «советской» элите – в том числе к той ее части, которая считалась не вполне официальной или почти независимой (реальной независимой или оппозиционной практически, как социально влиятельного фактора, тогда не было). Но еще раз стоит напомнить, что кризис нельзя отождествлять с катастрофой. Определенные пределы господству среднemasсовых стандартов все же существуют, хотя и более слабые, чем в странах с устоявшейся и дифференцированной социокультурной структурой.

На всяком массовом рынке – в том числе и на рынке масскультурного потребления – «тон» задает именно средний потребитель (при всей ограниченности его интересов и вкусов). Нет ничего удивительного, что этот рынок оказался заполненным аудиовизуальной и книжной продукцией, рассчитанной преимущественно на невысокий вкус (детективы, триллеры, любовные романы и тому подобное). Соблазн обличения такого вкуса по-прежнему доминирует в литератур-

ной публицистике и критике, утратившей свои социально цензурные возможности.

Наблюдаемое сейчас у нас «вторжение» массового человека в сферу формирования культурных стандартов (а значит и в сферу соответствующего производства) сродни тому «восстанию масс» против элитарной культуры, которое в начале века тревожило Х. Ортегу-и-Гассета и многих других мыслителей. Следует при этом учесть, что точка отсчета нашего культурного кризиса не совпадает с «европейской». Там это был кризис элитарно-иерархической культуры, у нас – разрушение госкультуры с ее принудительными образцами и табу. (В качестве образцов в этой госкультуре выступали довольно примитивные трактовки просветительского наследия.) Нынешнее «восстание массового человека» выводит у нас на культурную сцену того самого «обывателя», которого долго – и безуспешно – пытались отгородить от чуждых влияний и заставить стыдиться самого себя. Избавление от навязанных стандартов придает этому человеку ореол победителя, впервые в нашей истории дает ему легальное право утверждать свой уровень вкусов, наслаждаться ранее запретными для него плодами вроде примитивных ужастиков или эротического допинга.

Если «средний» уровень культуры в итоге (тут вряд ли возможны строгие измерения) снижается, – то не потому, что массовый уровень понизился, а потому что ослабло влияние держателей «высокой» культуры и массовый уровень стал определяющим. Надо принять во внимание, что сегодняшние читатели массовой литературы среднего уровня – это преимущественно люди, которые ранее просто ничего не читали «на ходу», в метро или в электричках.

Около ста лет назад Г.К. Честертон отстаивал законность детектива и его право на популярность, утверждая, что ро-

мантика детектива – человечна⁴. В его трактовке примитивные образцы литературы представляли назидательными и оптимистичными. Переносить такие мнения на современную российскую ситуацию можно лишь с большими оговорками – происходит уже упомянутый бунт против назидательности, но схемы наказания злодеев и удачного замужества по-прежнему работают в качестве универсального хеппи-энда, самого примитивного и желанного образца. (Это, наверное, можно представить как возвращение к простейшим назидательным образцам, только не социально-утопическим, а обывательским: массовый читатель не принимает «советского» или «постсоветского» декаданса переходных лет.)

«Необязательность» нормативных предписаний как универсальный феномен

Основная проблема культурного кризиса постсоветского периода – все же не в разрушении или размывании определенных образцов, а в коренном изменении *механизма* их воздействия. Культурная реальность советского времени как бы стояла на «трех китах»: прямой назидательности предлагаемых образцов (культура как школа образцового поведения), категоричности предписаний (ни шага влево или вправо) и незыблемости авторитета, от имени которого такие предписания делались (абсолютная власть, непогрешимый лидер, всесильное учение). В каких-то формах все эти конструкции европейцы проходили лет двести назад, но одновременно с формированием социального типа индивидуально активного и ответственного человека, – от чего мы были счастливо избавлены. Поэтому распад жестких внешних рамок и строгих санкций многим представляется чем-то вроде апокалиптиче-

⁴ См.: *Честертон Г.К.* Эссе. В защиту детективной литературы // Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX в. Вып. 2. М.: ИНИОН, 1980. С. 100.

ской катастрофы. («Если Бога нет, то какой же я капитан?» – в этом вопросе персонажа Достоевского вся картина статусного и ценностного порядка, который невозможен без предельно высокой санкции.)

В первые годы либеральных веяний перестройки приобрело значение некоего жупела понятие «вседозволенность» – явный продукт того типа социального мировоззрения, которое делит человеческие акции на «дозволенные» и «недозволенные». Сейчас эти термины вспоминаются редко, видимо, потому что сам «поезд» (возможность позволять/запрещать) ушел. Место жестких предписаний занимают менее определенные и подверженные сомнениям рамки «допустимого», «терпимого», «желаемого» и тому подобного.

Повторяющиеся исследования как будто показывают устойчивый рост общественной толерантности по отношению к преступникам и девиантам, к чужим мнениям, другим культурам и этническим группам. По крайней мере отчасти такие сдвиги в общественном мнении можно связать с утверждением гуманистических и демократических ценностей; подтверждением этому служит тот факт, что носителями более толерантных взглядов чаще выступают более молодые и более образованные слои.

Очевидно, что проблемы гуманной терпимости здесь не при чем, если вынести за скобки то, что относится к личным делам. На первом плане оказывается самая распространенная установка (более четверти опрошенных) на то, что человек вправе – или даже вынужден обстоятельствами – обманывать государство, которое всегда обманывало его самого.

Наряду с этим, видимо, действует и третий фактор: заметно выросшая отчужденность людей друг от друга. Это наглядно показано в ряде исследований. Люди реже ходят в гости, едят, звонят друг другу и так далее, и это нельзя объяснить только удорожанием жизни. Можно предположить, что происходит (точнее, продолжается, поскольку это давний процесс) распад принудительных коллективностей,

которые были связаны со сложными семьями, коммунальными квартирами, с коллективным заложничеством («один за всех» и так далее).

В результате происходит утверждение более индивидуалистических привычек и ценностей. Но, как видно по многим показателям и наблюдениям, это – как и все остальное у нас – индивидуализм особого рода. Главная его особенность в том, что он ориентирован на изоляцию и замкнутость человека («закрытый», пассивный индивидуализм). Принудительная коллективность (вынуждены «выживать сообща») сменяется замкнутостью (каждый «выживает в одиночку», все меньше интересуясь делами, доходами, проблемами другого). Если такое наблюдение верно, это значит, что важной составной частью возросшей общественной терпимости является растущее общественное *безразличие*.

В заключение вновь обратимся к данным уже приводившегося международного сравнительного исследования. Из обширного списка наиболее важных ценностей представлена лишь часть позиций. Прямые вопросы о предпочтениях – не самый лучший инструмент анализа ценностной структуры общества, но некоторые ее моменты он все-таки позволяет выделить. Только по двум позициям наша страна оказывается «лидирующей»: ценности здоровья и социального порядка упоминаются чаще, чем в других странах. Скорее всего это указание на то, чего явным образом не хватает. Если же взять весь набор позиций, то видно, что ценности, связанные с открытостью и развитием распространены значительно меньше, чем ценности самосохранения (см. *табл. 7*).

Таблица 7

Наиболее важные ценности
(в % от числа опрошенных)*

Ценности	США	Россия	Казахстан	Чехия	Венгрия	Польша
Власть	3	2	1	1	1	1
Богатство	6	11	6	3	22	5
Статус	5	5	3	4	6	4
Обеспеченность	22	24	21	21	45	22
Открытость мышления	16	3	3	8	14	12
Честность	45	22	12	13	36	31
Самоуважение	39	14	11	19	24	29
Творчество	14	5	5	9	12	7
Независимость	29	15	14	14	21	15
Свобода	36	17	18	25	24	25
Индивидуальность	13	6	7	3	9	5
Любознательность	27	18	18	23	16	18
Социальная справедливость	27	18	18	23	16	18
Социальная ответственность	11	2	4	2	3	3
Социальная терпимость	23	5	7	6	7	12
Социальный порядок	11	26	19	7	7	5

* Исследование 1997 «Roper Starch Worldwide» в 40 странах мира, в России проведено ВЦИОМ (N = 1000 человек в каждой стране).

Приведенная таблица может быть объектом специального обстоятельного анализа. Поэтому отмечу лишь бросающиеся в глаза особенности нашей системы ценностей: выше ценится то, чего не хватает (социальный порядок, богатство, обеспеченность), ниже – все, связанное с активностью человека как личности (индивидуальность, ответственность, терпи-

мость, любознательность, творчество, открытость мышления).

«Мониторинг...» 1998. № 3

ФЕНОМЕН ВЛАСТИ: ПАРАДОКСЫ И СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ

В предыдущих исследованиях общественного мнения рассматривались различные аспекты отношения населения к деятельности властных структур, динамика доверия к политическим партиям, лидерам и так далее. При этом за пределами внимания оставались сами особенности представлений о *природе и функциях* российской власти, присущие массовому сознанию. Между тем оценки властных структур и власть имущих во многом определяются теми ожиданиями, теми стереотипами и мифами восприятия этих социальных феноменов, которые устойчиво сохраняются.

Проведенный в феврале–марте 1998 года ВЦИОМ в сотрудничестве с Московской школой политических исследований опрос «Власть и общество» дает возможность подойти к более обстоятельному теоретическому анализу некоторых аспектов этой проблемы.

Необходимые разграничения

В нашем общественном мнении обычно слабо различаются механизмы и функции власти, структура властных институтов, роли и действия конкретных лиц, наделенных властью. Для теоретического анализа такие различия являются необходимыми предпосылками. Самое очевидное ограничение: предметом настоящего исследования является государственная власть (власть семейная, групповая, педагогическая и тому подобная специально не рассматриваются, хотя некоторые их атрибуты в общественном восприятии приписываются государственным институтам). Притом, преимущественно центральная. Многочисленные опросные данные относительно доверия к социальным институтам, регулярно публикуемые в журнале «Мониторинг», показывают существ-

венные различия в отношении населения к власти федерального «центра» и к властям своего региона, города, района. Дело здесь, по всей видимости, не в масштабах власти (100 тысяч или 100 миллионов подчиненных), а самом способе ее восприятия. В одном случае это конкретные, «свои» люди (в разной мере квалифицированные или коррумпированные) и «свои» конкретные проблемы (жилье, дороги, снабжение и прочее), лучше или хуже решаемые. В другом случае – это безликие структуры или лица, представленные через медиа, некие «те, которые там, наверху, в Москве, в Кремле». Все линии ответственности и вины за происходящие в стране события в общественном мнении сходятся в этой гипотетической высшей точке, именно вокруг нее строятся и воспроизводятся стереотипы массового восприятия власти.

Общественное мнение постоянно персонализирует власть, и на этой основе смешивает отношение к властным институтам и оценки деятельности конкретных лиц – исполнителей или инициаторов каких-то акций. Власть практически отождествляется с «начальством». Понятно, что исследователи вынуждены искать способы провести такое различие. И наконец, если в массовом восприятии власть не ограничивается от политики, то в данном случае мы попытаемся отделить эти понятия друг от друга. Государственную власть составляют институционализированные формальные структуры и механизмы, которые обеспечивают (должны, призваны обеспечить) определенный нормативный порядок и оперативное управление в обществе. К сфере политики относятся, с одной стороны, управляющая («вертикальная») деятельность государственных структур, а с другой – «борьба за власть» (электоральная конкуренция, парламентская и массовая активность, направленная на достижение определенных властных позиций и оказание давления на них). В нашей политической действительности наибольшее внимание медиа и публики обычно привлекает именно политика как «борьба»; отчасти, видимо, это наследие времен, когда вся обще-

ственная жизнь обозначалась в агрессивно-конфликтной терминологии (борьба за урожай, с уклонистами и тому подобное).

Властная вертикаль как «осевая» структура общества

На протяжении примерно полутора последних столетий, с середины XIX века, общественно-политические конфликты в России концентрируются вокруг вопроса о власти как главном, «осевом» общественном институте. По сравнению с ним все проблемы выяснения отношений между различными социальными группами, классами, экономическими формами, правовыми и идеологическими принципами неизменно отходили на второй план. По сути дела, это признак слабой структурной дифференциации общества, в котором оставались недоразвитыми или подавленными горизонтальные (прежде всего, экономические) связи, а главной опорой оставалась властная вертикаль. Поэтому, в частности, и в досоветские, и в советские времена политика, экономика, идеология, жизнь частная и публичная были доступными прямому контролирующему вмешательству со стороны власти, а все формы общественных, профессиональных, политических организаций – слабыми и практически беспомощными перед государственным Левиафаном.

Как известно, Россия была последним в Европе оплотом безгранично авторитарной, самодержавной власти, но в то же время – родиной самых радикальных концепций анархизма, отрицавшего необходимость государства и права. (Менее известно, по-видимому, что находились утопические теоретики, которые видели в авторитарной власти возможное средство осуществления своих планов: например, К.А. де Сен-Симон обращался с таким предложением к папе римскому, а О. Конт – к Николаю I). Дискредитация государственности и права, которую начали в России П. Кропоткин, М. Бакунин, толстовцы, опираясь на патриархальное неприятие этих ин-

ституты, имела ограниченное значение, но в руках большевиков идея «уничтожения государства» стала орудием дискредитации государства правового, демократического, парламентского, – и средством создания жесточайшей бюрократической диктатуры. Традиция неуважения к правовым и демократическим институтам не прервалась с крахом партийного режима, но продолжилась – притом не только в деятельности властных структур, но и в общественном мнении.

Все формы «абсолютной» критики власти – от патриархальных до анархистских и большевистских – прямо или косвенно исходили из признания решающего значения властной вертикали в обществе. Одно из самых кричащих противоречий современного состояния российского общества – сочетание авторитарной структуры власти (правда, неспособной практически использовать свои полномочия) с элементами независимых представительских институтов и свободы слова. Общественное мнение в такой ситуации бьется в пароксизме безграничного отрицания властных структур. Но в основе такой установки чаще всего лежат весьма примитивные патерналистские и абсолютистские ожидания в отношении власти.

Главное качество власти – «слабость»?

Властные структуры советского периода оценке со стороны населения не подлежали. Первые характеристики власти, которые появились в общественном мнении около десяти лет назад, сразу же оказались резко отрицательными. В представлениях населения о политической обстановке на протяжении почти десяти лет наблюдений абсолютно преобладают мнения о том, что в стране царит *анархия*, безвластие.

Таблица 1

Политическая ситуация: «анархия»
(в % от числа опрошенных)

Характеристика обстановки в стране	Ноябрь 1990*	Июль 1994*	Март 1998**
«Утрата порядка», «безвластие», «анархия»	58	52	48

* Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек).

** Исследование «Власть и общество» (N = 1500 человек).

Стоит обратить внимание на то, что еще в конце 1990 года, при первых же признаках кризиса еще достаточно прочной – как казалось – советско-партийной системы, большинство оценивало положение как «безвластие, анархия». В последующие годы это большинство даже уменьшилось, скорее всего не потому, что стало больше порядка, а просто потому, что к беспорядку привыкли. Несколько позже, в июле 1991-го, сразу после президентских выборов в России, когда солидное большинство респондентов (58%) еще одобряло деятельность М. Горбачева, а еще больше (82%) – деятельность Б. Ельцина, почти девять десятых (88%) жаловались на то, что люди «устали от политики». В этом так же сказалось неявное сопоставление текущей ситуации с привычными – на тот момент – ожиданиями.

«Отчужденная» власть

Один из важных показателей отношения к власти – представления о мере *ответственности* рядового человека за действия власти. Сопоставим данные, полученные в 1998 году в указанном исследовании, с более ранними.

Таблица 2

«Несет ли человек моральную ответственность...»
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	1989	1994	1998
... за действия своего правительства			
Безусловно несет	14	8	9
В какой-то мере несет	29	31	38
Безусловно не несет	37	42	45
Затруднились ответить	28	19	8
... за происходящие в стране события			
Безусловно несет	22	9	11
В какой-то мере несет	42	35	33
Безусловно не несет	17	33	34
Затруднились ответить	19	24	12

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400 человек).

Получается, что за девять лет наблюдений заметно уменьшилась доля населения, которая чувствует какую-то близость к власти, ответственность за ее действия. Но то же самое относится и к чувству «ответственности за события в стране»: вдвое выросло число считающих, что они за эти события никак не отвечают. (Как видно из табл. 2, наиболее серьезные перемены произошли за период 1989–1994 годов; данные 1998-го не показывают заметных сдвигов, но важны для того, чтобы убедиться в основательности замеченной ранее тенденции отдаления, отчуждения человека от власти, а также и от собственного государства.)

Оценить эти перемены можно только в контексте процессов, которые затронули наше общество за годы наблюдений. В советский период действовали не только идеологические символы (вроде «нерушимого единства партии и народа»), но и реальные социальные механизмы, которые обеспечивали тесную связь жизни и судьбы отдельного человека с обществом, государством, то есть в конечном счете, с властью

– монополия партийно-государственного контроля, воспитания, информации, а также, конечно, устрашения. В свое время (с середины 30-х годов, когда происходил процесс стабилизации государственных и идеологических форм монопольной власти) были заданы такие эмоционально-пропагандистские императивы отношения к властным структурам, как «родное правительство», «любимый вождь» и тому подобное; правда, к концу периода, то есть к началу 50-х, эмоциональное напряжение было сосредоточено только на фигуре верховного вождя. Когда эти механизмы обветшали, а затем почти в одночасье рухнули, – как реальные, так и символические связи человека с властными структурами оказались разорванными. Со времен Н. Хрущева и Л. Брежнева первые лица стали предметом всеобщих насмешек, а в годы правления Горбачева, потом Ельцина – все более резкого и публичного порицания.

Растущее обособление человека от всеобъемлющей власти играет определенную позитивную роль: создает условия для того, чтобы люди могли каким-то образом относиться к власти, оценивать и осмысливать ее действия. (Другой вопрос, как люди умеют этими условиями пользоваться.)

В числе данных, полученных в ходе исследования «Власть и общество», имеются сопоставимые оценки советской и нынешней власти.

Наиболее существенными и требующими анализа представляются такие сопоставления: старая власть кажется более «законной» 32% опрошенных, нынешнюю власть считают таковой только 12%; более «справедливой» – соответственно 16 и 3%; гораздо более «своей» – 32 и 3%; «близкой народу» – 36 и 2%. По сути дела, все эти характеристики вертятся вокруг одной оси: противопоставления «своей» и «не своей» власти. Старая, советская система властвования одним кажется «своей» и «законной» прежде всего потому, что она была привычной, другим – потому, что была более «справедлива» по сравнению с нынешней. Наиболее высокий

показатель одобрительного отношения к старой власти – несколько более одной трети опрошенных.

Обратимся к данным о том, какие качества приписывают прошлой и нынешней власти различные социальные и политические группы (ограничимся немногими позициями).

Таблица 3

Оценки качества власти: по возрастным группам
(в % от числа опрошенных)*

Качества власти	18–24 года		25–39 лет		40–54 года		55 лет и старше	
	Советская	Нынешняя	Советская	Нынешняя	Советская	Нынешняя	Советская	Нынешняя
«Своя», привычная	21	5	34	5	40	3	30	2
Близкая народу	22	2	32	2	41	2	43	3
Законная	18	9	28	13	35	11	39	14

* Исследование «Власть и общество», 1998 (N = 1500 человек).

Ничего удивительного в том, что люди старших поколений заметно лучше относятся к советской власти, чем более молодые. Но оказывается, что старая власть выигрывает даже в глазах самых молодых, практически никакого опыта и знания жизни при этой власти не имевших. Более того, свои предпочтения отдавали советской власти голосовавшие за обоих соперников на президентских выборах 1996 года (второй тур).

Таблица 4

**Оценка качества власти: группы по голосованию
во втором туре выборов 1996 года
(в % от числа опрошенных)***

Качества власти	Респонденты, голосовавшие за Б. Ельцина		Респонденты, голосовавшие за Г. Зюганова	
	Совет- ская власть	Нынеш- няя власть	Совет- ская власть	Нынеш- няя власть
«Своя», привычная	30	5	52	1
Близкая народу	24	3	52	2
Законная	28	30	44	6
Коррупцированная	19	55	4	68

* Исследование «Власть и общество», 1998 (N = 1500 человек).

Избиратели Г. Зюганова, конечно, более склонны порицать нынешнюю власть. Но характер оценок власти двух эпох в обеих половинах расколотого общества принципиально такой же: и сторонникам, и противникам сегодняшних властей старая система все еще кажется более привычной, «своей». Поэтому можно полагать, что объяснение невыгодных для сегодняшнего политического строя сравнений следует искать не столько в ностальгии по прошлому, сколько в негативном отношении к современной ситуации. Советское прошлое потому и кажется привлекательнее, что сегодняшнее воспринимается критически: массовое воображение приписывает ему те атрибуты, которых лишена нынешняя реальность. (Получается своего рода «обратная перспектива», если пользоваться термином П. Флоренского – удаленное преувеличивается и приукрашивается. В противоположность утопическому мышлению, которое относит идеал к конструируемому будущему, ностальгический «утопизм наоборот» наделяет его чертами прошлое.)

Дело здесь не только в бесчисленных тяготах жизни, фальшивых обещаниях, ошибочных и непопулярных акциях, реакции на которые отслеживаются в текущих опросах. За все годы своего существования российская постсоветская власть не смогла создать себе сколько-нибудь надежной массовой опоры – ни путем привлечения широких слоев населения к соучастию в принятии решений, ни путем убеждения людей в том, что власть понимает и решает беспокоящие их проблемы. Смена вывесок и лиц не изменила характера бюрократического аппарата, но лишь сделала его значительно менее компетентным и более безответственным, а потому и значительно более коррумпированным. Это отражается во многих текущих исследованиях общественного мнения.

Фальшивая точка отсчета – «своя» власть

Обсуждаемая проблема имеет, однако, и другой уровень. При сравнении феноменов, принадлежащих разным социальным периодам – как, например, власти советских лет и нынешней – смысл ключевых понятий может изменяться. Содержание самого термина «власть», например, в 40-е и 90-е годы в нашей стране существенно различно. Изменились объем претензий и реальные возможности властных институтов, власть утратила тотальный характер, оказалась возможной оценка и критика ее действий и так далее. Но вместе с этим утратила смысл (или ряд смыслов) атрибутика «своей» власти.

Очевидно, что когда власть характеризуют как «свою», это далеко не тождественно простой ссылке на юридический, «паспортный» статус отношений между человеком и государственной машиной. Имплицитно присутствует иная ссылка – на партикуляристский принцип «своего» как предельно близкого и потому не подлежащего какой бы то ни было оценке; тем самым «свое» противопоставляется всему «чужому». В закрытой системе ценностей, поле действия ко-

торой организовано вокруг «своей» семьи, племенной, сословной группы, категории справедливости, честности, долга и прочего, как известно, относятся к «своим», но никак не к «чужим». Советская общественная система, согласно официальной доктрине, противопоставлялась (не без некоторого дипломатического лукавства) всему остальному миру, на этом держались все оправдания «самого передового» строя. Понятие «своей» власти – существеннейший элемент партикуляристского социального мировоззрения. Оно имело определенный массовый успех, поскольку опиралось на давнюю традицию противопоставления страны остальному миру, на информационную и нравственную закрытость общества. «Свое» изображалось – и многим казалось – лучшим уже потому, что оно «свое» (а все иное оставалось просто неизвестным), всякая критика «своего» означала предательство («сор из избы...»), – на этом, кстати, строились и кампании против диссидентов. При всех прорехах «своя» рубашка неизменно оставалась более близкой к телу и душе (если использовать более строгую терминологию, партикуляристская этика была интериоризованной, а в какой-то мере и сакрализованной, в личностной структуре «человека советского»).

Стереотип «своей власти» держался в массовом сознании на двух опорах – безальтернативности властной системы внутри страны и закрытости общества снаружи. Падение обеих обрекло на неизбежную гибель и сам стереотип. Когда стало возможным сравнение и противопоставление разных политических и государственных систем, его сохранение стало невозможным, а достаточно обоснованный критический напор на нынешнюю власть при отсутствии видимых населению политических альтернатив стимулировал формирование упомянутой мифологемы «обратной перспективы», тенденцию псевдосакрализации прошлого за счет развенчания современного положения вещей. Лишившись ореола «священной» исключительности и непогрешимости, власть, естественно, вынуждена сама искать оправдания не только

своим действиям, но и собственному существованию.

Политические и правовые режимы современного типа в развитых обществах противопоставляют партикуляристским рамкам социального самоопределения по осям «свое—чужое» универсалистские рамки «законного—незаконного», то есть признают абсолютный приоритет общеобязательных императивов закона. Но такая перемена точки отсчета в нашем обществе лишь намечена.

Легитимность: между «привычкой» и «целесообразностью»

В условиях стабильных режимов, воспроизводящих свою структуру на протяжении ряда поколений, устойчивость во времени – а точнее, просто привычность – выступает критерием легитимности системы правления или, скажем, династии. Устойчивость вытесняет из актуального (юридического и массового) сознания в историческую память процедуру – и проблему – «изначального» утверждения каждой такой системы. В начальной же точке практически каждой системы властвования можно обнаружить акты заведомо нелегитимного насилия или сомнительного изъявления «воли народа». В этом плане начало правления большевистской «династии» не отличается принципиально от утверждения династий Рюриковичей, Романовых, Бернадотов и других. Но, как известно, с середины 20-х годов революционный по происхождению режим был признан (большинством тогдашних «держав») легитимным – по причинам сугубо прагматическим, поскольку он осуществлял реальный контроль над территорией бывшей империи. Череда последовавших поколений советско-подданных придала режиму своего рода налет давности и воспринимала его как единственно возможный.

Легитимность нынешнего российского политического строя формировалась несколько иначе. На протяжении 1991–1993 годов страна пережила ряд потрясений в верхах, кото-

рые приводили к перераспределению полномочий и переделу власти между различными группами одной и той же, по существу, правящей элиты. Легитимизация результатов происходивших сдвигов, оформлявшаяся, как правило, задним числом через решения представительских институтов (легитимность которых вызывала сомнения) или через наспех организованные референдумы, не придавала неустойчивому политическому строю ауры законности. Свою роль играла и активная трактовка частью оппозиции – в том числе и «системной», то есть как-то встроенной во властную иерархию – существующей власти как нелегитимной. Фактор «привычности» не вступил в действие. Видимо, все эти обстоятельства (плюс рассмотренный выше стереотип «не своей» власти) препятствует утверждению в общественном мнении представления о законности власти.

Правда, в направлении какой-то легализации властной системы изначально были задействованы, по крайней мере, два других фактора. Во-первых, чисто прагматический: как раз в первый период формообразования нынешнего государства его институты и лидеры пользовались поддержкой относительного, а порой и абсолютного, большинства населения. Это особенно видно было в периоды «двоевластия» – осени 1991 года (август–декабрь) и осени 1993-го (сентябрь–октябрь). В первом случае Б. Ельцин отвоевывал власть у М. Горбачева, во втором – у Верховного Совета. Преобладающие симпатии – а точнее, иллюзии – населения оба раза были на стороне Ельцина. Прагматический расклад сил и придавал его власти некоторую фикцию «революционной» легитимности. Причем такое соотношение сил и симпатий складывалось в обоих случаях прежде всего вследствие практической слабости и дискредитации «старых», формально легитимных институтов. По опросам сентября–октября 1991 года, большинство на первых порах поддержало акции Б. Ельцина, полагая их более целесообразными в сложившейся обстановке.

Вторая и, возможно, более важная компонента определенной легитимизации действующей властной системы связана с ее (гораздо менее фиктивной) преемственностью по отношению к старой, советской системе. В этом плане фигура и деятельность Ельцина предстает в русле продолжения партийно-советской номенклатурной традиции. Если в международно-правовом плане российская власть была признана легитимным преемником Союза ССР, то в государственно-политическом плане формирующийся режим мог восприниматься как более или менее «законный» наследник президентства Горбачева. Поэтому переходная фигура Ельцина в течение нескольких лет играла особую роль в придании власти легитимистского имиджа. (Некоторые аналогии – в отношении функции «переходности» – можно искать, например, в роли президента Л. Свободы в период пресловутой «нормализации» Чехословакии 1968–1969 годов.)

«Демократия неучастия»

Одна из принципиальных особенностей постсоветской политической системы в России – отсутствие не только механизмов, но даже тенденций или хотя бы фикций массового участия. В ряде восточноевропейских стран, в Прибалтике подобный переход на первых порах обеспечивали или подкрепляли движения типа «народных фронтов», в ходе российских перемен ничего подобного не появлялось. Видимо, это связано с тем, что монополию на переходные («перестроечные») функции сохраняла бюрократическая иерархия, а факторы массовой общенациональной мобилизации просто отсутствовали.

Поэтому во всех списках определений демократии, которые составляют опрошенные в ходе исследований, массовое участие в управлении не играет заметной роли. Демократия чаще всего воспринимается в общественном мнении прежде всего как дозволенная свобода слова и действий. Ответы на

вопрос, в какой степени связаны с понятием «демократия» различные права и ценности распределились следующим образом (приводятся только доли по позиции «в значительной степени»; Исследование «Власть и общество», 1998, N = 1500 человек):

1. Равенство всех граждан перед законом	64
2. Свобода слова	53
3. Улучшение экономических условий	52
4. Сокращение безработицы	50
5. Равноправие женщин	49
6. Сокращение коррупции и блата	47
7. Большее социальное равенство	35
8. Право граждан на участие в делах государства и общества	43
9. Контроль государства за банками и крупными частными предприятиями	40
10. Многопартийная система	37
11. Политические и административные решения на местном и региональном уровнях	34
12. Сексуальная свобода и свобода нравов	16

Близкие результаты дает распределение мнений респондентов относительно важности и соблюдения в современной России прав человека.

Таблица 5

«Какие из прав человека более важны...»
(в % от числа опрошенных)*

Перечень прав	Наиболее важны	Не соблюдаются
Право на жизнь, безопасность	63	41
Гарантированное рабочее место и оплата труда	52	61

Продолжение табл. 5

Перечень прав	Наиболее важны	Не соблюдаются
Право на бесплатное образование, медицинское обслуживание	34	42
Право на жилище	25	16
Право на собственность	25	9
Право на социальное обеспечение	23	27
Неприкосновенность личности, жилища	21	13
Право на гарантированный прожиточный минимум	15	29
Свободный выбор места жительства	6	4
Свобода совести, вероисповедания	4	2
Свобода высказывания	4	2
Право избирать в органы власти	3	2
Право уехать в другую страну	3	2
Право на получение и распространение информации	2	2

* Исследование «Власть и общество», 1998 (N = 1500 человек).

Как видим, право избирать представителей оказывается на двенадцатом месте в длинном списке; его нарушения не привлекают заметного внимания населения. С этим связан и стабильно низкий уровень участия населения в политических акциях. Так, по данным одного из опросов 1995 года в демонстрациях за предшествующий год участвовало всего 8% респондентов, по данным 1998-го – 9%, в митингах – соответственно 11 и 6, а в деятельности политических партий – 3 и 2%.

Чаще всего респонденты в исследовании 1998 года «Власть и общество» указывали на свое участие в следую-

щих политических действиях (приводятся суммы позиций «очень часто» и «часто»):

1. Обсуждают политические события с друзьями	31
2. Читают о политике в газетах	30
3. Стараются убедить друзей голосовать так же, как голосуют сами	13
4. Решают местные проблемы вместе с жителями своего района, города	6
5. Участвуют в политических собраниях, митингах	3
6. Встречаются с политиками, должностными лицами	6
7. Принимают участие в деятельности политической партии или помогают кандидату от партии	2

Согласно распространенному мнению, «обычные» люди сейчас меньше влияют на деятельность властных структур, чем в советские времена. В 1995 году так полагали 25% опрошенных, и только 9% считали, что влияние людей на власть возросло. В 1997 году это соотношение почти не изменилось (22:11), причем в обоих случаях более половины опрошенных не усматривали заметных перемен.

В данном случае мы имеем дело с определенным продуктом массового воображения, который объясняется уже упомянутым эффектом «обратной перспективы». В свое время показная «советская демократия» воспринималась населением как данность, не подлежащая обсуждению. Нынешнюю власть обсуждают, осуждают и предъявляют к ней определенные претензии. Отсюда и представление значительной части населения о том, что оно участвует в осуществлении власти еще меньше, чем при прошлом политическом режиме.

Неравновесный баланс: кто с кем больше лукавит

Значительная часть жителей страны, как показывают опросы, полагает, что власти постоянно ведут с ними нечестную игру, не выполняя собственных обязательств и обещаний, облагая людей несправедливыми поборами, неправильно информируя и так далее. Самое существенное – причем, не только для текущих симпатий–антипатий, а для формирования устойчивых черт социального характера «нашего» человека – в том, что такое поведение властей вызывает скорее не возмущение и протест, а стремление приспособиться к ситуации: уклониться от исполнения собственных обязанностей (сегодня – прежде всего от уплаты налогов), скрыть доходы и тому подобное. Представление о том, что в нашей стране «нельзя жить, не нарушая закон», трактуется в общественном мнении как допустимость и даже необходимость постоянно «обманывать обманщиков», то есть власть.

Исследование «Власть и общество» выявило одну показательную черту в таких представлениях: в массовом сознании поддерживается мнение, что государство лукавит с населением в большей мере, чем население с государством.

Таблица 6

«В какой мере выполняют свои обязанности...» (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Государство перед гражданами	Граждане перед государством
В полной мере	1	4
По большей степени	4	15
Отчасти да, отчасти нет	24	36
По большей части нет	45	31
Совершенно не выполняют	25	9

Варианты ответа	Государство перед гражданами	Граждане перед государством
Затруднились ответить	2	5
«Баланс»**	5:70	19:40

* Исследование «Власть и общество», 1998 (N = 1500 человек).

** Соотношение мнений о «выполнении» (1 и 2 позиции) и «невыполнении» (4 и 5 позиции) своих обязанностей.

Время зависимости

В 1990 году (исследование «Бюрократия») и в 1998-м (исследование «Власть и общество») выяснялся вопрос, зависимость от каких лиц и организаций тяготит людей. Ответы распределялись следующим образом.

Таблица 7

Какая зависимость скорее тяготит людей (в % от числа опрошенных)

Варианты ответа	1990*	1998**
От государства в целом	21	29
От местных властей	21	25
От начальства на работе	24	23
От семьи, родственников	18	16
От служащих государственных учреждений	11	13
От работников торговли и обслуживания	28	7
От своего трудового коллектива	6	4
От соседей, окружающих	5	4
От своих друзей, своей компании	3	3
Не ощущаю зависимости ни от каких лиц и учреждений	27	26

Варианты ответа	1990*	1998**
Не могу сказать определенно	18	24

* Исследование «Бюрократия», 1990 (N = 1650 человек по России).

** Исследование «Власть и общество», 1998 (N = 1500 человек).

Не требует объяснений ослабление зависимости людей от сферы бывшего дефицита. Возросшее внимание к такому источнику зависимости как «государство в целом», скорее всего, связано с более критическими оценками государственной власти. Если в 1990 году зависимость от государства отмечали прежде всего более молодые (пиковые значения – 30% в возрасте 25–39 лет и только 15% старше 55 лет), то в 1998-м жалуются уже более пожилые (32%), сельские жители, сторонники коммунистов. Все остальные изменения практически незначительны: это позволяет считать, что мы имеем дело с устойчивой системой установок, а не просто с набором актуальных на данный момент позиций.

«Кто есть кто»: стоящие у власти

Сопоставим ответы на одни и те же вопросы в трех исследованиях, повторявшихся каждые четыре года.

Таблица 8

Мнения о «людях, наделенных большой властью» (в % от числа опрошенных)

Варианты ответа	1990*	1994**	1998***
Это люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами	18	39	57
Для этих людей главное – сама власть	23	41	49

Варианты ответа	1990*	1994**	1998***
Это образованные, знающие специалисты	18	14	19
Это люди, которые заботятся о благе народа	40	17	16
Это организаторы-практики, умеющие работать с людьми	17	10	12
Это люди идейные, убежденные	7	5	9
Это защитники старых, доперестроечных порядков	5	8	7
Другое, затруднились ответить	18	19	12

* Исследование «Бюрократия», 1990 (N = 1650 человек по России).

** Исследование по программе «Советский человек», 1994 (N = 3000 человек).

*** Исследование «Власть и общество», 1998 (N = 1500 человек).

В исследовании 1994 года по программе «Советский человек-2» выяснялось соотношение мнений о «старых» (до 1985-го) и нынешних руководителях. Как оказалось, только 30% опрошенных против 48 согласны с тем, что «старые» деятели были более честными; 40% против 41 – что они больше заботились о людях; 44% против 34 – что они были более авторитетными, 30% против 41 – что они были более сильными, решительными. Явное преимущество прошлых деятелей – только в их большей авторитетности (представление о «сильной власти»...).

Люди, наделенные «большой властью», вызывают у населения в основном негативные чувства (по данным исследования «Власть и общество»):

1. Недоверие	34
2. Интерес	21

3. Подозрение	19
4. Уважение	17
5. Неприязнь	13
6. Благодарность, надежда на помощь	10
7. Ощущение их особенности, значительности	10
8. Чувство скованности, несвободы	9
9. Сочувствие	8
10. Доверие	7
11. Страх	5
12. Восхищение	3
13. Зависть	1
Не вызывают никаких особых чувств	22

Негативные реакции (недоверие, подозрительность, неприязнь, скованность, страх) явно доминируют над позитивными (интересом, уважением, доверием и прочим). Власть имущим мало доверяют, но еще меньше их боятся. При этом, меньше всех уважают и меньше всех боятся находящихся во власти самые молодые из опрошенных. Конечно, декларативные оценки не могут быть достаточно надежным мерилom реально действующих установок. Остановимся на двух примерах.

Законы и исполнители

На протяжении ряда лет в рамках различных исследований перед респондентами ставилась дилемма: «достойные руководители или надежные законы».

Таблица 9

«Что скорее может обеспечить благополучие народа...?»
(в % от числа опрошенных)

Варианты ответа	1990*	1998**
Достойные люди в руководстве	31	33
Надежные, реально действующие законы	54	54

Варианты ответа	1990*	1998**
Не могу сказать определенно	15	14

* Исследование «Бюрократия», 1990 (N = 1650 человек по России).

** Исследование «Власть и общество», 1998 (N = 1500 человек).

Устойчивость распределения позиций достойна удивления. Но вот иная серия данных из других исследований ВЦИОМ.

Таблица 10

Причины крушения советской системы
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	1995	1998
Система оказалась неэффективной	23	20
Руководители не смогли ее сохранить	55	63
Затруднились ответить	22	17

* Исследования типа «Экспресс», (N = 1600 человек).

В 1995 году две трети (66%) опрошенных соглашались с тем, что «сильный лидер» для страны важнее любых законов, не соглашались с этим мнением только 24%. В 1998-м соотношение позиций почти не изменилось: соответственно 67 и 21%.

Чем можно объяснить одновременное существование в общественном мнении столь противоречащих друг другу установок?

Скорее всего, дело в разной их модальности. Установка на доминирование законов относится к тому, что *должно* быть, а объяснение падения советской системы – к тому, что реально *было*, то есть к факту, а не должностованию. А при-

оритет «лидера» над законами – отражение того, что *есть* (или представляется наиболее вероятным для ближайшего будущего). Противоречие между «должным» и «сущим» носит здесь не кантианскую, а «оруэллианскую» природу: это одна из конструктивных опор традиционного отечественного двоемыслия. *В общем*, на уровне туманного пожелания, признаются ценности мировой цивилизации, демократия, законность, открытость и так далее, а *практически*, на уровне реального поведения и ближайших ожиданий – согласие с незаконным насилием, надежда на чью-то «сильную руку» и оправдание такого порядка ссылками на то, что общие правила нам не подходят. В этот лукавый тупик постоянно загоняет себя общественное мнение.

Если оно не столько легитимизирует «большую» власть, сколько персонализирует ее, возлагая все свои надежды на правящих деятелей, то на них же с неизбежностью ложится и вина за все неудачи и разочарования. «Высшие» легко превращаются в «крайних». Это превращение многократно отработано с 1917 года (или с гораздо более ранней отметки времени?) до последних дней.

Инструментальная ценность власти

Обратимся к другой стороне окол властного лукавства общественного мнения. Декларативно, как мы видим по данным исследования «Власть и общество», люди сурово судят о власти и ее носителях. Но в действительности они же не прочь эту власть использовать.

Таблица 11

**«Что сегодня важнее для достижения успеха в жизни:
власть, образование или богатство?»**
(в % от числа опрошенных)*

Группы	Власть	Образование	Богатство
В среднем	25	14	47
<i>По месту жительства</i>			
Москва и Санкт-Петербург	21	22	40
большие города	31	11	46
малые города	24	16	46
села	23	9	53
<i>По возрасту</i>			
до 25 лет	20	23	44
25–39 лет	24	12	51
40–54 года	28	10	48
55 лет и старше	28	13	44
<i>По образованию</i>			
высшее образование	35	13	40
среднее	23	13	51
ниже среднего	22	16	46
<i>По уровню дохода</i>			
низкий душевой доход	18	15	53
средний душевой доход	26	12	49
высокий душевой доход	29	14	47

* Исследование типа «Мониторинг», ноябрь 1997 (N = 2400 человек).

Получается, что из трех «китов» успеха, выделенных в данном случае, «богатство» занимает первое место во всех без исключения группах, но количественные соотношения изменяются. Власть как фактор прежде всего выделяют руководители (носители властных функций), специалисты, люди старших возрастов, более зажиточные и жители крупных нестоличных городов. Последние позиции требует особого объяснения. Можно предположить, что именно в больших

городах виднее всего характерная связь власти с богатством: современные крупные состояния образовались на основе монополии власти. В столицах это не столь заметно, в малых поселениях таких процессов не было. В старших поколениях власть оценивается относительно выше по старой привычке советского времени, когда иные факторы продвижения почти не действовали. (Другой интересный момент полученного распределения – «богатство» ценится выше всего не у тех, кто им обладает, а скорее, у тех, кто в нем нуждается, у рабочих, служащих, сельских жителей. Но это другая исследовательская проблема.)

Главная проблема: чего ждем от власти?

Всякая оценка власти или власть имущих в общественном мнении непременно (явно или скрыто – другой вопрос) начинается с тех ожиданий, которые имеют люди в отношении власти в определенных условиях места, времени, традиций и так далее, – а точнее, тех *моделей* власти, на которые они ориентируются.

В современных опросах можно без труда обнаружить установки на различные, противоречащие друг другу модели власти (точнее, модели структур «власть–общество»). С одной стороны, высказываются стремления избавить общество (человека, экономику) от опеки со стороны государственной власти. Их можно было бы отнести к *либеральным*, но с большими оговорками: они скорее связаны не с концепцией приоритета прав человека, а с более привычными попытками лукавого уклонения от обязанностей перед обществом. Представления о взаимно-обязательных отношениях между гражданами и властью довольно слабы¹. С другой стороны,

¹ Драматические конфликты вокруг невыплат зарплаты и неуплаты налогов наглядно демонстрируют эту особенность властных отношений в стране: они слабо опираются на закон и потому не могут регулироваться с помощью третьей, судебной власти.

имеются – и в большинстве случаев остаются доминирующими – установки на улучшение той же государственной опеки, заботы со стороны власти. Эта установка часто считается *патерналистской*, обращенной к советскому прошлому. Здесь тоже требуются существенные оговорки: советская система не столько была патерналистской, сколько изображалась (и сейчас некоторым кажется) таковой. По существу, советская модель – это *абсолютная* власть, которая заботилась прежде всего о себе самой, а не о своих гражданах. Она не обслуживала интересы людей, а диктовала им, какие именно интересы надлежит считать «подлинными». И наконец, отношения российской власти и населения с далекой древности неизменно носили определенный отпечаток «ордынской» модели: властные структуры требуют «дани», а подданные лукавят и по возможности уклоняются от уплаты.

Вряд ли можно сколько-нибудь строго «распределить» сегодняшнее общественное мнение по типам установок на модели власти. Отношение массового человека к государству строится на просьбе-требовании большей «заботы», и происходит это не столько под влиянием традиционно-советских установок, сколько из-за сохраняющейся – под иными названиями – зависимости экономики и общества от государственных монополий, неразвитости горизонтальных общественных связей.

Нелепо было бы упрекать общественное мнение страны в том, что оно «не знает», какую именно модель отношения с государственной властью предпочесть. Исторический опыт дает слишком мало накопленного материала, который позволил бы обоснованно сопоставлять взаимосвязанные и взаимоисключающие характеристики. Но и политическая элита общества никогда не имела разработанных программ или хотя бы заготовок, в которых обществу предлагались бы «на выбор» какие-то конкретные проекты властных структур в их отношениях к человеку, экономике, праву, мировому опыту. Это, кстати, один из важных показателей того, что

Россия «очутилась» в ситуации исторического перелома без серьезной подготовки как снизу, так и сверху.

«Мониторинг...» 1998. № 5

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ В «НОРМЕ» И В КРИЗИСЕ

Одним из эффективных средств изучения массивов социальной информации, получаемых в репрезентативных опросах, являются индексы различного типа, конструируемые на основе определенных данных, показателей соотношения между ними, тенденций изменения и так далее. В последнее время большую международную известность приобрел *индекс потребительских настроений*, который в нашей стране разрабатывается группой ИПН-Россия на основе регулярных мониторинговых исследований ВЦИОМ; его результаты широко освещаются в периодической печати, в том числе в журнале «Мониторинг общественного мнения»¹. По аналогичным методикам могут быть построены как частные, так и сводный индексы социальных настроений и установок.

По своей методологической природе любой сконструированный индекс – величина, искусственно полученная в результате определенной обработки ряда эмпирических данных. В принципе, такой индекс может служить показателем состояния или тенденции изменения изучаемого материала («массового сознания») как некоего целостного образования. Что, естественно, стимулирует постановку вопроса о принципиальной возможности подобного подхода. Ведь в рамках строго эмпирического, бихевиористского изучения массового поведения всякое допущение надиндивидуальных «целостностей» запрещено; в лучшем случае оно может трактоваться как наследие привычного социального антропоморфизма, который приписывает человеческим множествам способности понимания, оценки, намерения и тому подобное (или, в

¹ См.: Красильникова М. Результаты измерения индекса потребительских настроений в России, 1993–1996 гг. // Индекс потребительских настроений: технология, мониторинг, результаты. М., 1997.

духе социального психоанализа, апеллирует к коллективно-бессознательному началу).

Как известно из практики повторяющихся массовых опросов, имеется набор чрезвычайно устойчивых характеристик состояния общественного мнения, которые на протяжении ряда лет выражаются близкими величинами. По преимуществу такие характеристики относятся к сфере обобщенных самооценок или установок респондентов в отношении социальных ценностей.

Устойчивость можно объяснить «инерционным» воздействием действующих стереотипов восприятия, которые укладывают разнообразие внешние воздействия в стандартизованные рамки и минимизируют эффекты дестабилизирующих факторов. (В свою очередь стабилизирующее воздействие стереотипов можно объяснить матрицами культуры, личности и коммуникации.) При этом высокой степенью устойчивости обладают не только характеристики общественного мнения, непосредственно получаемые в опросах, но также и обобщенные индексы, то есть показатели соотношения и тенденций изменения этих характеристик.

В обстановке чрезвычайной нестабильности, созданной в России финансовым и политическим кризисом с августа 1998 года, особый интерес приобретает сопоставление долгосрочных тенденций и специфически кризисных феноменов общественного мнения. Всякий разлом обнажает, выводит наружу – и тем самым делает более доступными для изучения – те механизмы поддержания и разрушения социальных взаимодействий и социокультурной идентичности, которые структурируют общественные процессы. Такое сопоставление важно также для того, чтобы представить *пределы* устойчивости социальных структур и, соответственно, возможности обратимости/необратимости происходящих изменений – как долгосрочного, так и «кризисного» порядка.

Способ построения социальных индексов

Как уже сказано, в качестве методического образца построения индексов в настоящем очерке – в интересах сопоставимости результатов – использованы приемы, опробованные в распространенном индексе потребительских настроений (ИПН). *Частные* индексы строятся по данным определенных вопросов следующим образом: из числа (процента) позитивных ответов вычитается число негативных ответов, к полученному результату для удобства расчетов (устранения отрицательных величин) добавляется 100. Так создаются индексы настроения, терпения, отношения к реформам, которые подробно рассматриваются ниже. *Обобщенные* индексы (например, оценок положения в стране, собственного положения респондента, ожиданий на будущее) вычисляются аналогичным образом по средним значениям ряда выделенных показателей. Наконец, *сводный* индекс социальных настроений для каждого момента измерения может быть получен в результате суммирования показателей обобщенных индексов.

В порядке эксперимента предлагаются следующие типы социальных индексов: индекс *положения семьи* (ИС), индекс *положения России* (ИР), индекс *ожиданий* (ИО) и индекс *настроений* (ИН). Каждый из них вычисляется как арифметическая средняя разности положительных и отрицательных ответов по ряду выделенных анкетных вопросов; средние и несодержательные варианты ответов не учитываются. Арифметическая средняя от величин полученных индексов дает *сводный индекс социальных настроений* (ИСН).

Индексы строятся следующим образом (указаны тематические номера стандартных мониторинговых вопросов):

$$\text{ИС (индекс положения семьи)} = (A+B) : 2$$

А) 10. Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?

$$(1+2+3) - (4+5) + 100$$

Б) 13. Как Вы считаете, какое из приведенных ниже высказываний более соответствует сложившейся ситуации?

$$(1+2-3) + 100$$

ИР (индекс положения России) = (В+Г+Д) : 3

В) 12. Как бы Вы оценили экономическое положение России?

$$(1+2+3) - (3+4) + 100$$

Г) 14. Как Вы считаете, рыночные реформы сейчас нужно продолжать, или их следует прекратить?

$$(1-2) + 100$$

Д) 19. Как бы Вы оценили в целом политическую обстановку в России?

$$(1+2-4) + 100$$

ИО (индекс ожиданий) = (Е+Ж+З) : 3

Е) 22. Как Вы считаете, в течение ближайшего года наша жизнь более или менее наладится, или никакого улучшения не произойдет?

$$(1-2) + 100$$

Ж) 28. Как Вы думаете, что ожидает Россию в ближай-
шие месяцы в политической жизни?

$$(1+2) - (3+4) + 100$$

З) 29. Как Вы думаете, что ожидает Россию в ближайшие
месяцы в области экономики?

$$(1+2) - (3+4) + 100$$

ИН (индекс настроений) = (И)

И) 9. Что бы Вы могли сказать о своем настроении в по-
следние дни?

$$(1+2) - (3+4) + 100$$

**ИСН (сводный индекс социальных настроений) =
= (ИС+ИР+ИО+ИН) : 4**

Очевидно, что при таком способе получения все индексы различного значения и разной степени обобщенности показывают не абсолютные величины (то есть распространенность) соответствующих настроений, а лишь меру их «позитивности» (знака) в хронологических или социально-групповых сопоставлениях. Возможно, в дальнейшем следовало бы учитывать при построении индексов долю содержательных ответов по каждому показателю.

Динамика индексов социальных настроений

Обратимся сначала к динамике сводного индекса социальных настроений за последние годы. Представляет интерес сопоставление изменений этого индекса (ИСН) с соответст-

вующими изменениями индекса потребительских настроений (ИПН).

Таблица 1

Индексы социального настроения 1996–1998
(в % от числа опрошенных)*

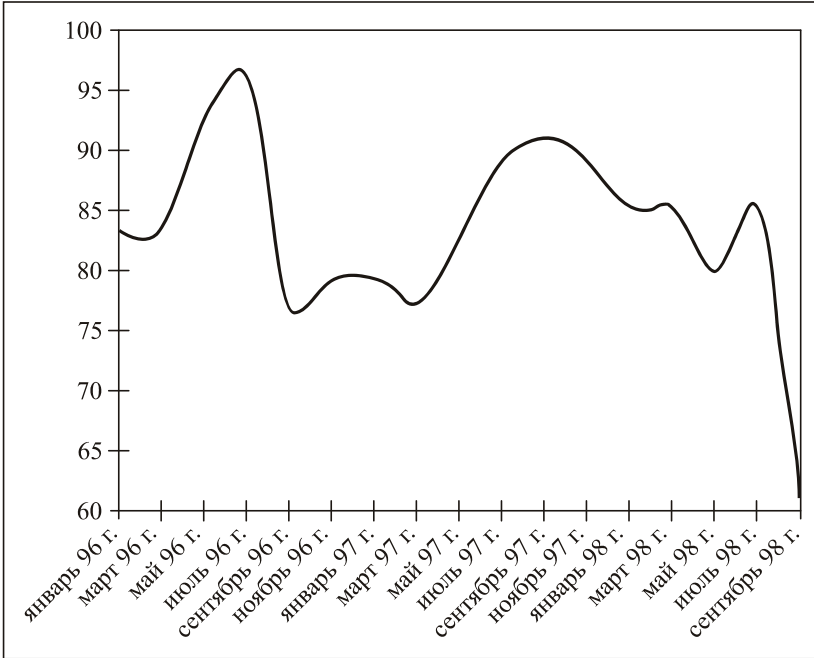
Индекс	1996					1997					1998						
	Месяц проведения исследования																
	I	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX
ИС	109	106	109	110	64	86	97	93	96	108	109	109	102	105	98	96	69
ИР	73	75	84	62	81	97	72	70	78	80	85	84	80	79	73	91	53
ИО	71	71	71	81	67	72	61	64	64	70	74	65	69	64	64	59	62
ИН	78	79	79	99	96	61	86	80	88	97	97	97	87	90	85	93	58
ИСН	83	83	92	96	77	79	79	77	82	89	91	89	85	85	80	85	61
ИПН	–	–	70	70	68	61	65	63	69	74	78	74	75	71	74	69	49

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400 человек). В столбце «Индекс» проставлены описанные выше аббревиатуры индексов.

Более наглядно динамику этих индексов можно представить по следующему графику (см. график 1).

Отметим наиболее очевидные особенности динамики рассматриваемых показателей. Во-первых, устойчивость практически всех показателей и относительно небольшие, плавные их изменения вплоть до обвала, обнаруженного в сентябрьском мониторинге 1998 года (последняя ситуация будет рассмотрена в конце очерка). Во-вторых, весьма высокая степень согласованности («параллельность») изменений всех социальных индексов – как в «нормальной», так и в «кризисной» ситуациях. И, в-третьих, столь же высокая согласованность динамики социальных индексов и индекса потребительского поведения.

Динамика индексов социального настроения, 1996–1998



Можно полагать, что устойчивость значений индексов в «нормальных» (привычных, то есть инерционных) условиях объясняется упомянутым выше механизмом действия стереотипов, который в значительной мере гасит резкие колебания. «Привычной» для общества ситуацией является именно та, в которой колебания и перемены (в том числе и перманентно-кризисные в политическом или экономическом плане) воспринимаются обществом, общественным мнением в относительно стабильных и общепринятых рамках. В ситуации же острого, обвального кризиса (новейший пример – переживание общественным мнением потрясений августа–сентября 1998 года) сами рамки и стереотипы массового вос-

приятия перемен обесцениваются, по крайней мере, на время. (Мы говорим лишь о рамках массового восприятия социальных феноменов, так как имеем дело с «субъективной» реальностью показателей общественных настроений.)

Близость количественных значений и высокую степень согласованности динамики всех представленных социальных индексов можно, видимо, объяснить тем, что они с разных сторон отображают восприятие «массовым», усредненным человеком своего положения в мире актуальных социальных структур и процессов. Исследования постоянно показывают, что респонденты собственное положение оценивают лучше, считают более стабильным, чем положение страны – это, кстати, один из факторов формирования инерционных рамок социального восприятия, о которых шла речь. Но колебания в ситуации, по видимости, действуют одинаково эффективно и однонаправлено на оценки семейного и государственного уровня. Напомним, что при избранном в данном случае способе построения индексов мы получаем данные относительно тенденций изменения оценок, но не об их размерности.

В принципе, сказанное относится и к проблеме соотношения социальных и экономических (потребительских) индексов: в исследовании оценок и намерений общественного мнения – особенно если это обобщенные оценки – мы имеем дело с одним и тем же набором реакций, который может рассматриваться под различными углами зрения – экономическим, политическим, потребительским, социальным, психологическим и прочими. Но введения такого сугубо аналитического дифференциатора вряд ли достаточно. Сферы социальной активности дифференцируются не только в аналитических схемах, но и в социально-исторических процессах. Одна из характеристик запаздывающей и противоречивой модернизация России – слабая дифференцированность общественных структур, сохраняющая зависимость экономики от политики, личности от государства, частной жизни от публичной и так далее. Поэтому политические потрясения непо-

средственно сказываются на социальном самочувствии и потребительских ориентациях населения. Этого нет в развитых современных обществах, где дифференциация сфер и структур человеческой деятельности утвердилась довольно давно, и колебания в одной из них мало сказываются на других и на ее восприятии людьми (примером может служить многолетняя череда политических кризисов в Италии при непрерывном экономическом росте).

Существуют и другие, более «экономические» варианты объяснения рассматриваемого феномена. На конференции по проблемам индекса потребительских настроений в России, проходившей в Санкт-Петербурге в июне 1998 года, Э. Ершов предположил, что за последние годы положение на потребительском рынке объясняется влиянием двух факторов: индексом потребительских цен и реальными доходами населения, а также сезонными спадами в динамике доходов. Отсюда, по его мнению, и все колебания общественных настроений. М. Красильникова отметила, что реакция российских людей на вопросы, которые ставятся в рамках исследования ИПН, весьма неструктурирована, существует как бы общий настрой, разложение которого влияет на политические, экономические, финансовые и прочие компоненты довольно условно. При этом, по приведенным ею данным мониторинга ИПН, положительные оценки в большей мере объясняются умением приспособиться и благоприятными семейными обстоятельствами, а отрицательные в большей мере связаны с такими факторами как неплатежи и рост цен.

Структурные компоненты (частные индексы) индекса социальных настроений

Обратимся теперь к тенденциям движения отдельных (частных) индексов социального поведения.

Таблица 2

Индекс настроения: группы по образованию и типу поселения
(в % от числа опрошенных)*

Группы	1997					1998				
	Месяц проведения исследования									
	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX
Общий индекс	80	88	97	97	97	113	110	115	107	58
<i>По образованию</i>										
высшее	81	104	114	100	112	97	104	102	105	64
среднее	90	92	97	106	98	89	92	92	98	62
ниже среднего	67	78	91	96	82	81	82	69	72	51
<i>По месту жительства</i>										
Москва, Санкт-Петербург	81	109	100	123	116	94	104	130	91	61
большие города	92	97	96	102	97	86	90	110	89	57
малые города	79	81	89	91	96	78	87	76	86	57
села	69	84	96	92	92	100	92	59	98	60

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400 человек).

Таблица 3

Индекс терпения: группы по полу и возрасту
(в % от числа опрошенных)*

Группы	1997					1998				
	Месяц проведения исследования									
	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX
Общий индекс	104	111	118	121	116	112	113	109	100	73
<i>По полу</i>										
мужчины	102	113	123	124	120	82	85	88	99	77
женщины	105	110	106	120	113	108	113	107	90	69
<i>По возрасту</i>										
до 25 лет	129	151	160	156	143	148	146	139	146	106
25–40 лет	101	122	130	127	124	111	124	117	113	78

Продолжение табл. 3

Группы	1997						1998			
	Месяц проведения исследования									
	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX
40–55 лет	99	96	95	97	97	105	93	100	72	72
55 лет и старше	96	91	98	101	103	105	101	92	84	50

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400 человек).

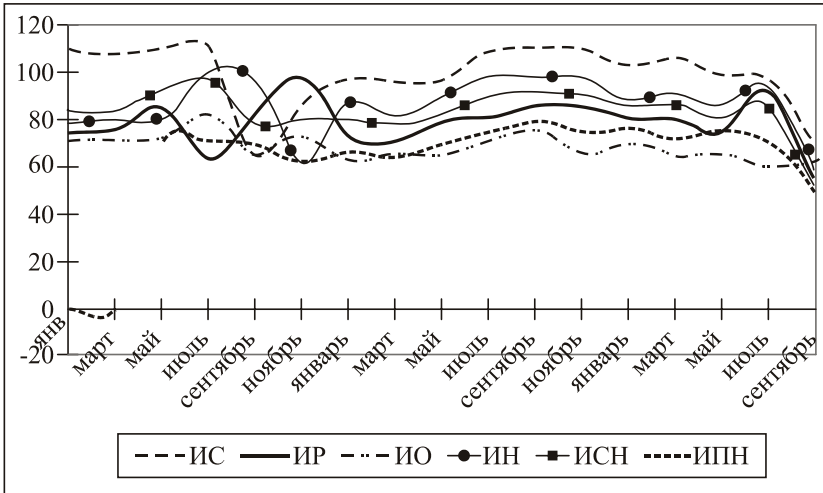
Таблица 4

**Индекс терпения:
группы по образованию и типу поселения
(в % от числа опрошенных)***

Группы	1997						1998			
	Месяц проведения исследования									
	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX
Общий индекс	104	111	118	121	116	112	113	109	100	73
По образованию										
высшее	115	124	134	141	129	126	132	129	106	72
среднее	105	116	120	121	117	113	115	113	77	
ниже среднего	99	101	110	112	102	106	105	98	90	64
По месту жительства										
Москва, Санкт-Петербург	131	138	134	161	144	136	140	141	136	95
большие города	125	117	131	116	124	117	116	108	102	83
малые города	91	108	103	108	114	98	108	110	92	67
села	95	98	119	112	100	88	90	97	100	63

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400 человек).

Динамика частных индексов социального настроения



Практически все показатели, отображенные на *графике 2*, изменяются в «нормальной» ситуации довольно плавно и более или менее взаимно согласованно. (Здесь налицо та же проблема единого «настроения» – или единого фактора? – определяющего динамику всего пучка показателей.)

Нетрудно заметить, что кривая индекса настроений (ИН) обнаруживает *сезонные* колебания, как будто слабо связанные с другими факторами. Отклонение от «нормальной» синусоидообразной кривой отмечается к концу 1996 года – послевыборный спад общественных настроений – и, естественно, в момент обвального падения всех индексов с сентября 1998 года.

Социальная анатомия «обвала»: некоторые особенности

Обвальное падение всех индексов социального настроения после кризисного взрыва августа 1998 года – наглядное

выражение шока (такая психологическая аналогия в данном случае представляется наиболее уместной), в котором оказалось российское общество. В этой ситуации, как уже отмечалось, выступили наружу многие слабые узлы всей социально-политической и социально-экономической структуры российского общества 90-х годов. В том числе – слабость постсоветских государственных институтов и того не очень определенного направления перемен, который принято именовать «курсом реформ».

Неоднократно приходилось отмечать, что примерно с 1993–1994 годов безоговорочная, советская по своему происхождению поддержка населением деятельности правящей верхушки сменилась «критическим терпением» – сочетанием недоверия и негативных оценок с практической адаптацией значительной части населения к новым условиям. Поддержка власти, в частности, выраженная на президентских выборах, стимулировалась не столько доверием или надеждами, сколько опасением новых переделов и перетрясок. Наиболее распространенной ценностью оказывалась умеренная стабильность. Именно эта далеко не идиллическая, но все же внешне спокойная ситуация оказалась разрушенной после «взрыва» 17–23 августа 1998 года.

В той или иной мере пострадавшими оказались почти все. Так, по данным опроса типа «Экспресс» за октябрь, 68% респондентов пришлось сократить повседневные расходы, 37% – отказаться от крупных покупок, поездок, 27% – потеряли в зарплате, у 19% – обесценились сбережения, 13% – остались без работы и так далее; лишь 4% респондентов заявили, что этот кризис их не затронул.

На политическом поле кризисный взрыв выразился прежде всего в том, что президентская вертикаль государственной власти обнаружила свою недееспособность, оказалась объектом обвинений – и притязаний – с разных сторон. Нараставшая многие месяцы волна критики деятельности и личности президента Б. Ельцина в этот момент превратилась в

шквальную после того, как президент оказался в положении «крайнего» обвиняемого. Основными виновниками слома ситуации население, по данным опросов, проводившихся в сентябре, сочло президента и старое правительство (В. Черномырдина).

Тем самым лишилось опоры и то реформаторское направление в российской политике, которое, не имея ни организационной, ни массовой базы, рассчитывало преимущественно на поддержку президентских структур. В одночасье оказался официально дискредитированным весь пучок экономических перемен последних лет вместе с их авторами и проводниками. Соответственно усилились опасения поворота к советскому прошлому или полного экономического коллапса. Создалась ситуация трудного испытания на прочность всех социальных институтов и структур, которые оформились в 90-е годы; это относится и к общественному мнению.

Индексы социального настроения и другие показатели состояния общественного мнения позволяют видеть некоторые существенные моменты кризисной ситуации в ее самой острой – по крайней мере, до сих пор – фазе.

Как видно из приведенных рисунков, обвальное падение социальных индексов в первую очередь наблюдалось у наиболее активных социальных групп – в возрасте 25–55 лет, образованных, жителей крупных городов. У более пожилых, жителей малых городов реакции, естественно, несколько притуплены, поскольку вовлеченность в экономическую жизнь была слабее и ожиданий было меньше.

Интереснее все же другое. Наиболее резко снизились «психологические» индексы (настроение, общие оценки собственной жизни) и значительно менее – «поведенческие», ориентированные вовне (отношение к реформам). В то время как индекс настроения упал на 49 пунктов, индекс реформ – в среднем на 7 пунктов, причем, как уже отмечалось, он несколько вырос у наиболее образованных и столичных групп населения. Это значит, что распространение самых тревож-

ных, вплоть до панических, настроений необязательно означает изменения в установившихся ориентациях, – более того, возможно, анализируемая ситуация стимулирует и какой-то потенциал сопротивления перемене «курса». Как известно, на протяжении последних лет доли сторонников и противников продолжения реформ изменялись незначительно в разных направлениях и были почти равны (грубо говоря, 30% к 30 при 40% воздерживающихся), поэтому кризисное обострение внесло мало нового в эту ситуацию.

Но расхождение между настроениями и намерениями может трактоваться по-разному. Иногда действует фактор «простой» инерции массового сознания, которое предпочитает держаться привычных рамок, отворачиваясь от «низких истин» ради привычного самообмана. Значительная часть населения, действительно, не сознает и пока не воспринимает глубины и долговременного характера финансово-экономического обвала, надеясь, что ситуация в ближайшие месяцы каким-то образом «рассосется». Так, вскоре после кризиса, в сентябре 1998 года 17% респондентов опроса типа «Экспресс» полагали, что трудности с покупкой товаров, вызванные ростом цен или дефицитом, будут преодолены через один-два месяца, а 31% – что для этого потребуется полгода, и только 38% – почувствовали, что проблемы окажутся долговременными. С такого рода надеждами (или иллюзиями) связано устойчивое предубеждение большинства против введения карточек и государственного контроля над ценами.

Действуют и другие, более сложные «инерционные» факторы, к их числу относится привычка значительной части населения к новым для нашей страны, способам экономической и социальной активности.

Возьмем такой показатель, как оценка респондентами приспособленности большинства населения к социальным переменам. (Если рассматривавшийся выше индикатор – ответы на вопрос «в какой мере Вас устраивает жизнь...» измеряет преимущественно внутреннюю, психологическую адап-

тацию, то вопрос о населении в целом относится скорее к адаптации объективированной, экстравертной.)

Таблица 5

«Как Вы думаете, большинство жителей России уже приспособилось к происшедшим в стране переменам?»
(в % от числа опрошенных, по столбцу)*

Варианты ответа	1995	1996	1997	1998			
	Месяц проведения исследования						
	X	XI	IV	I	VI	IX	X
Уже приспособились	27	29	19	27	22	18	21
В ближайшем будущем	25	32	28	32	24	28	22
Никогда не смогут	32	28	42	33	45	44	46
Затруднились ответить	16	11	11	9	10	10	12

* Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек).

Как видим, колебания показателей за самые кризисные месяцы практически не выходят за пределы динамики последних лет. Масштабы сдвигов объективированных (квази-экспертных) оценок ситуации несопоставимы с масштабами «настроенческих» перемен.

Еще один фактор сопротивления смене «курса» (в смысле массовых ориентаций) – относительная устойчивость социально-политических установок различных социальных групп (в период перед и после кризиса 1998 года).

Таблица 6

Политические симпатии населения
(в % от числа опрошенных)*

Позиции	Месяц проведения исследования			
	Январь	Август	Сентябрь	Октябрь
Коммунистам	23	27	25	21
Демократам	14	10	13	10
Патриотам	6	4	3	3

Позиции	Месяц проведения исследования			
	Январь	Август	Сентябрь	Октябрь
Партии власти	2	2	2	1
Другим центристам	2	3	4	3
Другим силам	3	3	4	3
Никому из них	40	41	40	45

** Исследования типа «Экспресс», 1998 (N = 1600 человек).*

Распределение партийных симпатий населения колеблется примерно в одних и тех же пределах. Никаких обвальных или просто значительных перемен в этой области за август–октябрь не отмечено.

Наконец, сопоставим суждения респондентов о ближней и дальней перспективе политического развития страны. В самый острый момент кризиса, в сентябре только 12% опрошенных (и только четверть из сторонников коммунистов) полагали, что через 10–15 лет в России будет восстановлен социализм; более половины были склонны думать, что общественный строй останется таким же или приблизится к западной демократии.

Понятно, что сохранение или изменение курса развития общества не определяется общественным мнением. Однако в обстановке политической неопределенности и неустойчивости его потенциал может играть существенную роль.

«Мониторинг...» 1998. № 6

ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БАЛАНСА ОБЩЕСТВА

Обширный эмпирический материал массовых опросов относительно распределения и динамики вербальных реакций, распознаваемых исследователями как «социальные эмоции» (страхи, радости и другие), нуждается в аналитической интерпретации, в адекватной рамке понимания. Недавно на это обратил внимание Л. Гудков¹. Высказанные им соображения о методологической слабости психологической трактовки распространенных в исследованиях общественного мнения – в том числе и проведенных ВЦИОМ – «перечней» различных страхов представляются вполне правомерными. Рассмотрим некоторые рамки социологического понимания «социальных эмоций»; приводимые эмпирические данные носят преимущественно иллюстративное или подсобное значение.

Представляется полезным обсудить прежде всего особенности природы и функций «социальных страхов» различных типов в их соотношении с другими компонентами эмоционального поля общества – например, интересами, радостями, позитивными оценками и переживаниями. Можно допустить, что в социальных системах даже самые сильные и острые эмоциональные раздражители в какой-то мере уравнивают, как бы «глушат» или трансформируют друг друга (точнее, уравниваются воздействия таких раздражителей на институциональную структуру общества), в результате и возникает своего рода *эмоциональный баланс* общества. Механизм, уровни, «цена» такого уравнивания заслуживают обстоятельного анализа. В конечном счете, этот анализ важен для понимания того, как общество и социальная

¹ Гудков Л. Страх как рамка понимания происходящего // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1999. № 6. С. 46-53.

личность способны «справляться» с различного рода эмоциональными перегрузками, сохраняя свою идентичность.

Первое и важнейшее различие, с которым приходится сталкиваться при работе с показателями, относимыми к «страхам», – это различие а) страха как определенного эмоционального *состояния* (настроения) и б) страха «предметного» (страха перед каким-то событием, действием).

Страх как состояние

Обратимся для начала к публиковавшимся ранее данным исследований ВЦИОМ.

Таблица 1

«Какие чувства появились, окрепли за последние годы...?»

(в % от числа опрошенных, по столбцу)*

Варианты ответа	«...у окружающих Вас людей»	«...у Вас лично»
Надежда	10	24
Усталость, безразличие	52	38
Одиночество	5	10
Страх	29	18
Чувство собственного достоинства	3	8
Обида	26	29
Растерянность	24	20
Зависть	8	2
Отчаяние	37	26
Уверенность в завтрашнем дне	3	6
Чувство свободы	4	7
Ожесточение, агрессивность	37	13

Варианты ответа	«...у окружающих Вас людей»	«...у Вас лично»
Ответственность за происшедшее в стране	2	5
Гордость за свой народ	2	3
Другое	2	3
Затруднились ответить	3	5

* Исследование по программе «Советский человек», 1999 (N = 2000 человек). Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли отмечать несколько позиций.

Легко заметить, что в этом сложном наборе эмоциональных оценок явно преобладают «негативные». Но при этом «личные чувства» заметно более оптимистичны, чем «чувства окружающих»: в правой колонке все позитивные оценки встречаются заметно чаще, а все негативные – реже (исключением служит лишь чувство обиды, которое чаще упоминают как личное переживание). Метка «страх», отнесенная к «окружающим» (или «другим») встречается гораздо чаще, чем отнесенная к «себе». Это наводит на предположение о том, что сама такая метка имеет значение только в определенном контексте, в соотношении с другими показателями соответствующего ряда. Возникает, однако, вопрос о природе такого ряда.

Практически все основные позиции приведенного выше списка характеризуют не эмоциональные реакции на определенную ситуацию, а *состояния* общественных настроений или обобщенных самооценок. «Страх» в таком ряду – распространенное состояние неопределенно-тревожного ожидания каких-то возможных негативных, неприятных событий или действий. В «ряду» с ним – другие типы общественных настроений: «негативных» (как обида, растерянность, отчаяние) или «позитивных» (надежда, ответственность, свобода);

заметим сразу, что некоторые состояния не укладываются в простую дихотомию позитивного–негативного.

Разумеется, такие термины, как «страхи», «эмоции» применительно к показателям массовых опросов имеют оттенок метафорических. «В этих случаях исследователь вообще не касается непосредственно психологических переживаний – аффектов, эмоций или более сложных психических процессов. Речь идет о совершенно ином – о способах массовой квалификации определенных состояний общественных отношений, типов взаимодействия с другими (прежде всего – с институциональными структурами), а значит – об интерпретации и объяснении взаимодействия индивида с этими структурами»².

Поскольку, как правило, в массовых опросах формулировки состояний задаются респондентам исследователями, возникает подозрение относительно известной доли субъективности или «артефактности» в получаемых результатах. Однако сама устойчивость таких результатов позволяет предположить, что респонденты достаточно ясно распознают предложенные термины и соотносят с ними определенные собственные настроения.

Сошлюсь на два динамических ряда общественных настроений, которые регулярно отслеживаются в исследованиях ВЦИОМ.

В рамках программы «Мониторинг» (выборка 2400 человек) каждые два месяца респондентам предлагается оценить *собственное* настроение «в последние дни». Ниже приводятся данные за последние два года.

² Гудков Л. Указ. соч. С. 47.

Таблица 2

«Каким было Ваше настроение в последние дни?»
(в % от числа опрошенных, по столбцам)*

Варианты ответа	1998						1999						2000
	Месяц проведения исследования												
	I	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX	XI	I
А	4	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	4	5
Б	35	37	36	37	24	33	33	34	36	34	37	40	45
В	42	41	43	41	48	43	44	42	39	45	40	39	33
Г	11	8	12	9	20	13	13	14	11	11	12	9	10
Д	8	8	6	8	5	9	7	8	10	6	7	8	7

* Исследования типа «Мониторинг» (N = 2400 человек).

А. «Прекрасное».

Б. «Нормальное, ровное».

В. «Напряженное».

Г. «Страх, тоска».

Д. Затруднились ответить.

Для дальнейшего анализа уместно представить средние показатели настроений по годам.

Таблица 3

Настроение респондентов в последние дни, по годам
(в % от числа опрошенных, по столбцам)*

Вид настроения	1994– 1996*	1997	1998	1999	Январь 2000
Прекрасное	3	4	4	3	5
Нормальное	36	38	34	36	45
Напряженное	41	40	43	41	33
Страх, тоска	10	11	12	12	10
Затруднились ответить	10	8	7	8	7

* Исследование типа «Мониторинг» (N = 2400 человек).

** Средний показатель за 3 года.

В рамках программы «Экспресс» (N = 1600 человек) ежегодно ставится вопрос о чувствах, которые, по мнению респондента, «появились, окрепли у (окружающих) людей за минувший год» (см. табл. 4). Отметим, что такая постановка вопроса ставит респондента в квазиэкспертное положение, предлагая ему оценить не собственное, а чужое («общее») настроение.

Таблица 4

«Какие чувства появились, окрепли у окружающих...?»
(в % от числа опрошенных, по столбцам)*

Варианты ответа	Год исследования							
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Надежда	17	15	16	21	20	17	13	28
Усталость, безразличие	55	52	40	41	43	42	45	39
Страх	26	22	22	19	17	16	24	18
Растерянность	24	20	18	17	16	18	24	17
Озлобленность	30	39	10	28	29	27	35	23

* Исследования по программе «Новый год» (N = 1600 человек).

Сопоставление данных, приведенных в таблицах, позволяет прежде всего сделать вывод о феноменальной устойчивости наблюдаемых показателей общественных настроений на протяжении ряда лет. Относительно стабильными являются и пределы колебания доли опрошенных, определяющих собственное состояние в терминах страха.

Ранее (см. табл. 1) мы уже видели, что люди склонны собственные настроения чаще, чем настроения «других», представлять в позитивных терминах. Поэтому и страх в динамике собственных настроений указывается заметно реже, чем в динамике настроений окружающих. Аналогичные различия наблюдаются и при характеристике респондентами собственного экономического положения в сравнении с по-

ложением в своем городе или районе и, тем более, с положением в стране. По всей видимости, люди оценивают собственное состояние по личному опыту, а состояние «других» в значительной мере с помощью стереотипов общественного мнения или масс-медиа.

Как видно из *табл. 2*, распределение носителей различных общественных настроений в общем массиве опрошенных (и соответственно в населении страны) заметно изменяется только в ситуациях больших общественных катаклизмов (как осенью 1998 года, эту ситуацию мы рассмотрим специально несколько позже). Ответы респондентов относительно настроений часто не вполне определены (одновременно указывается больше одной позиции), что дает возможность выявить взаимные соотношения оценок.

«Предметные» страхи: природа и динамика

Сопоставим данные о событиях и акциях, порождающих страх населения России по данным трех волн исследования «Советский человек» (см. *табл. 5*).

Из-за различия в методических средствах опрос 1989 года позволяет представить только «иерархию» (по частоте упоминаний) страшящих событий. Данные 1994 и 1999 годов – средние показатели, построенные на основе пятибалльной шкалы (от позиции «совершенно не испытываю страха» до – «испытываю постоянный страх»).

Конечно, к списку «предметных» страхов могут быть предъявлены те же методологические претензии, что и к списку настроений: позиции сформулированы исследователями, число позиций могло быть иным, если, скажем, добавить страх перед СПИДом или наркоманией, террористическими актами, военной диктатурой и так далее – соответственно новым настроениям и обстоятельствам. Но дело не в количестве выделяемых позиций («предметов» страха), а в характе-

ре отношений к ним и в сравнительной динамике таких отношений.

Таблица 5

**«Предметы» страхов российского населения
в 1989, 1994 и 1999 годах***

№№ п/п	1989	1994		1999	
	«Предметы» страхов		Индекс	«Предметы» страхов	
1	Болезни близких	Болезни близких	4,3	Болезни близких	4,5
2	Мировая война	Нападение преступников	3,9	Безработица, бедность	4,1
3	Свои болезни	Произвол властей	3,7	Свои болезни	3,9
4	Стихийные бедствия	Болезнь, смерть	3,6	Произвол властей	3,8
5	Старость	Мировая война	3,6	Нападение преступников	3,6
6	Гибель человечества	Безработица, бедность	3,5	Мировая война	3,6
7	Произвол властей	Насилие на национальной почве	3,4	Насилие на национальной почве	3,3
8	Страдания, боль	Публичные унижения	3,2	Стихийные бедствия	3,1
9	Публичные унижения	Возврат к массовым репрессиям	3,2	Публичные унижения	3,0
10	Нападение преступников	Стихийные бедствия	3,1	Возврат к массовым репрессиям	2,9

* Исследования по программе «Советский человек», 1989 (N = 1250 человек), 1994 (N = 3000 человек), 1999 (N = 2000 человек).

Позиция «*болезни близких, детей*» как источник страха введена в список как некий универсальный и естественный инвариант, практически неизменная точка отсчета: лишь 2–3% опрошенных (видимо, одиноких людей) утверждают, что совершенно не испытывают такого страха, а около половины (56% в 1994 году и 63 в 1999-м), напротив, ощущают его постоянно. Несколько реже отмечается страх перед собственными болезнями, не подвержены ему лишь 10–11% (в обоих случаях доля затруднившихся ответить составляет 10–11%). Естественный страх перед болезнями близких и собственными за последние пять лет стал несколько более распространенным, очевидно, под влиянием таких социальных факторов, как кризис системы здравоохранения, дороговизна лекарств и прочее. «Постоянный» страх по своей природе в данном контексте означает, что люди считают весьма вероятным наступление определенных негативных обстоятельств и относительно часто (далеко не всегда и скорее всего не в должной мере) используют какие-то превентивные меры.

Иную природу имеет *страх мировой войны*: это один из важнейших идеологических фантомов времен «железного занавеса», порожденных пропагандой и дефицитом объективной информации о состоянии международных отношений. По мере ослабления действия подобных факторов частота упоминания данного страха уменьшается, показатель опускается со второго места на пятое, потом на шестое. Однако, как показывают исследования разных лет, в особенности последних месяцев, в атмосфере активной ксенофобии страх перехода обострившихся отношений между Россией и западными странами в военный конфликт остается серьезным фактором формирования общественного мнения. В данном случае страх означает не только допущение вероятности военного конфликта мирового масштаба, но и – что наиболее важно – готовность поддержать (хотя бы декларативно) конфронтационные установки государственного руководства;

собственно эмоциональный компонент здесь мало присутствует.

Страх *стихийных бедствий* занял одно из первенствующих мест в массовых опросах после Чернобыльской катастрофы (на деле, не стихийной, а техногенной), которая оказалась в центре общественного внимания в годы гласности. Однако оформившиеся в те годы экологические настроения не получили серьезного развития, не воплотились в эффективные экологические и подобные им движения. Экономические перемены и потрясения привели к спаду общественного внимания ко всей проблематике природных и техногенных бедствий. В нынешней ситуации страх перед стихийными бедствиями – это фактически признание беспомощности человека и общества перед возможными угрозами (а потому и нежелание задумываться над ними).

Страх перед *массовыми репрессиями* – это, по существу, неверие в прочность перемен последних десятилетий, признание возможности возврата сталинизма или формирования подобного режима. В разной мере его испытывали 63% опрошенных в 1994 году и 54% в 1999-м, причем распространенность «постоянного страха» снизилась с 23 до 18%. В опросе 1989 года опасения возврата к массовым репрессиям оказались во втором десятке списка наибольших страхов (на тринадцатом месте, всего 12% упоминаний), в 1994 и 1999 годах – на последних местах в первом десятке перечисленных позиций.

Если страх массовых репрессий имеет «историческую» природу, то страх перед *произволом властей* оказывается продуктом непреходящих и даже растущих обстоятельств социальной реальности. Беззащитность человека перед государственным насилием, поборам и пр. усилилась, так что отмеченный в исследованиях рост рейтинга (и индекса) соответствующего показателя вполне понятен. Наиболее распространенная для современного россиянина (как и для «человека советского») реакция на государственный произвол – не

апелляция к закону, а что-то вроде «покорного лукавства», то есть стремление каким-то образом уклониться или откупиться от незаконного насилия, не оспаривая его впрямую.

Стоит остановиться на новой и явно усиливающейся позиции в списке страхов – страхе перед *безработицей и бедностью*. Источник его роста не нуждается в объяснениях. В 1995 году такой страх в разной мере испытывали 78% респондентов (в том числе постоянно – 32%), в 1999-м – 85% (постоянно 49%). Массовые опасения утраты рабочего места, а вместе с ним и социального статуса, уровня благосостояния, вполне рациональны, обоснованы, неизбежны при наличных социально-экономических обстоятельствах в любом месте и в любое время. Вопрос в том, какие реакции стимулируют такие опасения?

Еще один пример направленного страха в ряду иных эмоциональных реакций дают другие показатели исследования.

Таблица 6

«Какие чувства чаще всего вызывают у Вас...?»
(в % от числа опрошенных)*

Группы людей	Уважение	Симпатия	Сочувствие	Зависть	Раздражение	Гнев	Страх
Современная молодежь	5	19	39	3	15	6	10
Люди с портретом Сталина	12	8	21	0	19	17	3
Люди со свастикой	4	3	3	0	19	47	13
Разбогатевшие	11	8	2	8	25	27	3
Люди с Кавказа	6	3	6	0	34	17	8
Бомжи, нищие	0	1	66	1	15	6	5

* Исследование по программе «Советский человек», 1999 (N = 2000 человек). Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Как видим, в отношении каждой из перечисленных групп раздражение и гнев выражены заметно сильнее, чем страх.

В принципе, «предметные», направленные страхи как опасения возможных нежелательных ситуаций или действий в различных формах присущи людям во все времена и при любых общественных условиях. «Ничего не бояться» лишь неразумные малые дети или невменяемые. Любой «предметный» страх можно интерпретировать как сигнал о наличии какой-то опасности и, соответственно, как стимул к определенным действиям, которые способны эту опасность оценить, устранить, уменьшить, упредить и так далее. Все эти положения совершенно тривиальны. Проблема – практическая и исследовательская – в определении функций таких сигналов в различных ситуациях, общественных и личностных системах социального действия. А также в способах сочетания и взаимодействия «ограничивающих» сигналов (страхов) с действующими в социальных системах сигналами иного рода – стимулирующими, поощряющими и прочее.

Для дальнейшего анализа интересующей нас проблемы представляется целесообразным *различать страхи «хронические» и «острые»*.

Страх, который признается респондентами как постоянный и повсеместный, чаще всего можно отнести к «хроническому» типу: определенная угроза считается более или менее вероятной, но не действующей. Хронический страх способен стать привычным. Реакцией на хронический страх могут быть либо подготовительные меры (например, формирование социальных организаций или систем социального страхования и защиты и тому подобное), либо упование на то, что беда «пройдет мимо» или окажется не столь страшной. Известно, что российская история и психология, как правило, отдавали предпочтение второму варианту поведения.

«Острый» страх перед каким-либо действием или событием (пароксизм страха, испуг), в отличие от хронического, проявляется в напряженных ситуациях и приводит к экстремальным

ординарному напряжению сил носителя соответствующего состояния – человека, группы, социума. Уже поэтому он не может быть длительным. Острый страх способен мобилизовать ресурсы защиты и противодействия угрозе в экстремальной (например, военной) ситуации, но может и вести к растерянности, панике, неконтролируемой агрессии.

Вероятно, выделенные типы являются скорее крайними позициями в некотором спектре состояний, где имеются также промежуточные типы «напуганного» поведения, а также механизмы трансформации, переходов от одного типа к другому.

«Носители» страхов

Рассмотрим данные о распространенности страха как состояния в различных социально-демографических группах (для сравнения приведены также данные о чувстве надежды).

Таблица 7

Распространение чувств страха и надежды, по социально-демографическим группам (в % по строке)*

Группы	Надежда	Страх
<i>Всего</i>	38	18
<i>По полу</i>		
мужчины	33	10
женщины	42	25
<i>По возрасту</i>		
до 40 лет	33	13
40 лет и старше	43	23
<i>По образованию</i>		
высшее	32	13
среднее	35	18
ниже среднего	44	20

* Исследование по программе «Советский человек», 1999 (N = 2000 человек).

Очевидно, что состояние страха чаще относят к себе женщины, люди старшего возраста, с меньшим образованием – иначе говоря, обладающие относительно меньшим запасом социальных ресурсов. К таким ресурсам относится также уровень благосостояния.

Стоит заметить, что чувство «надежды», которое выглядит оптимистической оппозицией «страху», разделяется в первую очередь женщинами, малообразованными, людьми среднего возраста, то есть категориями населения, тоже относительно бедными социальными ресурсами. Это значит, что мы имеем дело с надеждой на милость, на заботу, на счастливый случай («авось»), но не с надеждой на собственные силы.

Несколько сложнее картина распространенности «предметных» страхов. В приводимой ниже *табл. 8* отмечены крайние позиции задававшейся респондентам шкалы.

Таблица 8

«Бойтесь ли Вы и в какой мере...?»
(в % по строке)*

А. ...стихийных бедствий?

Группы	Совершенно не боюсь	Испытываю постоянный страх
<i>Всего</i>	20	20
<i>По полу</i>		
мужчины	29	13
женщины	14	26
<i>По возрасту</i>		
до 40 лет	25	21
40 лет и старше	16	19
<i>По образованию</i>		
высшее	23	12
среднее	23	21
ниже среднего	17	21

Б. ...безработицы, бедности?

Группы	Совершенно не боюсь	Испытываю постоянный страх
<i>Всего</i>	7	49
<i>По полу</i>		
мужчины	9	42
женщины	5	55
<i>По возрасту</i>		
до 40 лет	8	52
40 лет и старше	6	46
<i>По образованию</i>		
высшее	11	40
среднее	8	52
ниже среднего	4	49

В. ...возврата к массовым репрессиям?

Группы	Совершенно не боюсь	Испытываю постоянный страх
<i>Всего</i>	23	18
<i>По полу</i>		
мужчины	26	16
женщины	21	21
<i>По возрасту</i>		
до 40 лет	24	19
40 лет и старше	22	18
<i>По образованию</i>		
высшее	26	20
среднее	24	20
ниже среднего	21	16

** Исследование по программе «Советский человек», 1999 (N = 2000 человек).*

Страх перед стихийными бедствиями распределен между группами примерно так же, как и настроенческий (состояние страха): в большей мере его испытывают женщины, старшие по возрасту, менее образованные. Подверженные чувству

страха также чаще опасаются таких бедствий.

Безработицы и бедности опасаются чаще женщины, чем мужчины, менее образованные, испытывающие настроенческий страх. Пониженный уровень страха в укрупненной возрастной группе старше 40 лет объясняется значительной долей пенсионеров.

Иначе распределены страхи перед возвратом массовых репрессий. Возрастные различия и подверженность настроенческим страхам здесь не имеют видимого значения, высокообразованные опасаются больше, чем малообразованные. Этот страх связан не с практическим повседневным опытом, а с исторической памятью, поэтому его носителями выступают более интеллектуальные группы. Можно сказать, что в данном случае это ресурсно «слабые» группы, – поскольку таким ресурсом является блокировка или отсутствие исторической социальной памяти.

«Не страхом единым»

Представляется как будто очевидным, что показатели страха коррелирует в общественном мнении преимущественно с другими «негативными» настроениями. Соотношения состояния страха с другими «негативными» переживаниями у «окружающих людей», как они представляются респондентам, видны из *табл. 9*.

Таблица 9

**Соотношения эмоциональных состояний
у «окружающих людей»
(в % от числа опрошенных)***

	Усталость	Страх	Обида	Растерян- ность	Отчаяние	Агрессив- ность	Всего
Усталость	100	28	25	25	36	34	52
Страх	49	100	25	20	40	29	29
Обида	49	28	100	18	37	22	26
Растерянность	56	25	20	100	30	28	24
Отчаяние	50	32	26	19	100	31	37
Агрессивность	48	23	16	18	32	100	37

* Исследование по программе «Советский человек», 1999 (N = 2000 человек).

Соотношения показателей «своего» страха со «своими» негативными переживаниями выражены заметно слабее, но порядок величин остается тем же.

Таблица 10

**Соотношения собственных негативных переживаний
респондентов
(в % от числа опрошенных)***

	Усталость	Страх	Обида	Растерян- ность	Отчаяние	Агрессив- ность	Всего
Усталость	100	18	34	21	33	12	38
Страх	38	100	33	19	35	12	18
Обида	44	20	100	19	35	9	29
Растерянность	39	16	26	100	23	6	20

	Усталость	Страх	Обида	Растерянность	Отчаяние	Агрессивность	Всего
Отчаяние	47	24	35	18	100	12	26
Агрессивность	37	16	20	9	26	100	13

* Исследование по программе «Советский человек», 1999 (N = 2000 человек).

Как видим, основные «спутники» страха – усталость, отчаяние, растерянность, в меньшей мере страх связан с агрессивностью (к последнему мы вернемся позже).

Значительно слабее выражены корреляции между чувствами страха и показателями «позитивных» настроений. Так, из тех, кто описывают собственное состояние в терминах страха, только 11% отмечают наличие чувства надежды, 2 – уверенности, 2 – свободы, по 1% – ответственности и уверенности. При характеристике «чужих» чувств страх еще реже сочетается с позитивными переживаниями.

Заметим, однако, что такие соотношения получаются при анализе ответов на *вопросы одного списка*, то есть стоящие рядом и порождающие определенную взаимную индукцию при ответах. Если же сопоставить ответы на вопросы, размещенные достаточно далеко друг от друга, в разных концах анкеты, соотношение эмоциональных оценок может оказаться иным: люди, описывающие собственное состояние в терминах страха, в то же время испытывают и позитивные эмоции.

Таблица 11

Эмоциональные состояния и самооценки
(в % от числа опрошенных)*

Какие чувства появились у Вас за последние годы	Чувствуете ли Вы себя	
	счастливым? **	несчастливым? ***
Надежда	63	23
Усталость, безразличие	41	43
Страх	35	47
Чувство достоинства	69	18
Обида	37	46
Растерянность	47	41
Зависть	78	18
Отчаяние	33	52
Уверенность в завтрашнем дне	77	17
Свобода	63	21
Ожесточение, агрессивность	46	44
Ответственность...	57	30
Гордость за свой народ	50	37
Всего	49	38

* Исследование по программе «Советский человек», 1999 (N = 2000 человек).

** Объединены позиции «совершенно счастлив» и «скорее счастлив».

*** Объединены позиции «скорее несчастлив» и «совершенно несчастлив».

Оказывается, немалая часть людей, подверженных страхам и прочим негативным переживаниям, способна испытывать и наиболее позитивные чувства, считая себя счастливыми людьми.

Если же сопоставить распространенность «предметных» страхов с позитивными самооценками, получаются как будто еще более парадоксальные результаты.

Таблица 12

«Предметные» страхи и самооценки
(в % от числа опрошенных)*

Бойтесь ли Вы и в какой мере..?	Чувствуете ли Вы себя	
	счастли- вым?***	несчастли- вым?***
Безработицы, бедности?		
...совершенно не боюсь	58	28
...испытываю постоянный страх	44	46
Болезни, мучений, смерти?		
...совершенно не боюсь	61	31
...испытываю постоянный страх	46	42
Возврата к массовым репрессиям?		
...совершенно не боюсь	50	39
...испытываю постоянный страх	47	39
Произвола властей		
...совершенно не боюсь	55	34
...испытываю постоянный страх	49	42
Всего	49	38

* Исследование по программе «Советский человек», 1999 (N = 2000 человек).

** Объединены позиции «совершенно счастлив» и «скорее счастлив».

*** Объединены позиции «скорее несчастлив» и «совершенно несчастлив»).

У испытывающих страх позитивные интересы и чувства отмечаются заметно реже, чем у «бесстрашных». (В значительной мере это обусловлено социальным и демографическим составом «носителей» страхов – а таковыми, как мы видели, чаще всего оказываются более слабые возрастные, гендерные, образовательные, имущественные группы.)

Если верно приведенное выше соображение о том, что никто не может жить без «сигналов» страха, то верно и то, что никто – если, конечно, исключить предельные аномаль-

ные ситуации – не может существовать *только* сигналами страха или *только* под их воздействием. Хронические страхи обычно включены в общую сеть эмоционально окрашенных ожиданий, оценок, установок, стимулов действующих в определенном социальном поле. Функции страхов в таком поле состоят не только в предупреждении об опасности (функции ограничителей, ингибиторов в трактовке З. Фрейда), но и в стимулировании противодействия опасности. Как отмечено выше, можно допустить существование в каждой относительно устойчивой системе социальных норм и отношений (да и в динамической структуре социального человека) существование «незримых регуляторов», обеспечивающих некоторый баланс эмоциональных раздражителей и реакций разного рода – как бы «баланс» страхов и радостей, который служит непременным условием существования человека в стабильной или, напротив, бурно изменяющейся социальной обстановке.

Как показано было ранее в исследованиях по программе «Советский человек», источники напряженности носят чаще всего социальный характер, а источники радостей и удовлетворенности – преимущественно личные, семейные³. По данным исследования 1999 года, самые распространенные «предметы» страхов, не считая болезней и смерти, – безработица и бедность (85% «охвата»), произвол со стороны властей (76%), нападение преступников (74%). В то же время предметы, доставляющие «наибольшую радость, удовольствие», – дети (35%), «хорошие деньги» (33%), сад, огород (28%). Работа «в полную силу» приносит радость 18% респондентов, а участие в политической жизни – менее чем 1%. Причем из отмечающих страх как собственное состояние, дети доставляют радость 38%, сад, огород – 37%, «хорошие деньги» – 36%. Считают себя свободными людьми 24% оп-

³ См.: Голов А. Постоянные страхи россиян // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 1995. № 3.

рошенных (в среднем по всему массиву – 36%), счастливыми – 36% (в среднем – 49%).

Повседневные заботы и радости как бы блокируют негативные переживания, ограничивая их воздействие на человека. Вместе с тем, как показано выше, заметная часть людей, испытывающих страх и считающих себя несчастными, придает значение работе, общественному признанию и так далее. «Предметные» же страхи нередко прямо связаны с достижениями – если за ними стоят опасения утратить приобретенный статус, накопленное имущество. Например, страх перед возвращением к массовому террору чаще испытывают люди, ценящие избавление от сталинского режима. Страх перед нападением преступников больше беспокоит тех, кому «есть, чего терять».

Другой вариант трансформации эмоциональных установок и состояний: переход «острых» страхов в «хронические», привычные – рутинизация и, наоборот, актуализация и конкретизация потенциальных опасений – то есть их обострение. Происходит, например, рутинизация страха в отношении мировой войны, но в определенных условиях (наподобие сегодняшних) он может обостряться. Подобные превращения можно увидеть в этнических фобиях, комплексе врага, страхе безработицы и прочее.

Нарушение «эмоционального баланса» человека разрушает личность, аналогичным образом нарушение баланса эмоциональных состояний разрушает стабильность общества. Такая аналогия, впрочем, весьма условна (как и любая «органическая» модель социальной системы).

Этнические установки и фобии

Влияние состояния (настроения) страха на уровень этнической ксенофобии позволяют проследить данные одного из исследований ВЦИОМ 1997 года. (Для большей методологической чистоты рассматриваются только данные о респон-

дентах, имеющих один уровень образования – полное среднее.)

Таблица 13

Страх и этнофобии
(в % по столбцу)*

Позиции	Всего по выборке	Испытывают страх**
Считают, что приезжие с Кавказа имеют слишком большое влияние	50	66
Считают, что евреи имеют слишком большое влияние	18	37
Часто обращают внимание на национальность при знакомстве	13	10
Согласны, что нерусский не может быть патриотом России	27	42
Отрицательно относятся к евреям	14	13
Отрицательно относятся к чеченцам	49	62

* Исследование ВЦИОМ, май 1997 (N = 1500 человек). Выборка: респонденты со средним образованием, 700 человек.

** «Настроение в последние дни».

Этноцентризм и негативные этнические установки больше выражены среди испытывающих состояние (настроение) страха. Причем это в первую очередь относится к установкам по отношению к чеченцам – хотя опрос проводился в мирном 1997 году – и в меньшей мере по отношению к евреям.

Анатомия «катастрофических» страхов осени 1998 года

Финансово-экономический кризис, разразившийся в России после 17 августа 1998 года, привел к самому резкому за весь период наблюдений падению «позитивных» показателей общественных настроений и невиданному всплеску негативных эмоций, в первую очередь – страха (см. табл. 2). Но уже

в конце осени (примерно, с ноября) общественные настроения стали постепенно улучшаться – примечательно, что изменения в настроениях в обоих направлениях начинались до начала соответствующих сдвигов в экономике. К началу 2000 года показатели настроений вышли примерно на «докризисный» уровень начала 1998 года.

Данные *табл. 14* показывают, в какой мере настроение страха после августа 98-го охватило, а затем «отпустило» различные социальные и демографические группы.

Таблица 14

Динамика настроений страха по группам населения
(в % по строке)*

Группы	Январь 1998	Сентябрь 1998	Январь 2000
<i>Всего</i>	11	20	10
<i>По полу</i>			
мужчины	5	12	7
женщины	14	27	12
<i>По возрасту</i>			
до 25 лет	4	9	3
25–40 лет	6	14	4
40–54 года	14	16	9
55 лет и старше	16	34	19
<i>По образованию</i>			
высшее	7	12	6
среднее	11	17	6
ниже среднего	15	26	15
<i>По уровню дохода</i>			
низкий доход	12	18	9
средний доход	12	21	10
высокий доход	6	9	9

* Исследования типа «Мониторинг» ($N = 2400$ человек). Приведены данные об опрошенных, указавших, что в последние дни испытывают «страх, тоску».

Наиболее резкий всплеск настроений страха наблюдался осенью 1998 года у самых социально-активных групп – у мужчин, молодых, образованных, то есть, видимо, у питавших наибольшие надежды на успех и улучшение собственного положения. В группе с относительно высокими доходами настроения страха усилились в меньшей мере, чем в средней доходной группе; можно допустить, что высокие доходы и сбережения (в том числе, в валюте) отчасти стабилизировали влияние кризиса. Во всех группах, за исключением самой старшей по возрасту, распространенность страха как настроения в начале 2000 года не больше, чем в начале 1998-го.

Таблица 15

Динамика настроений страха по статусным группам
(в % по строке)*

Группы	Январь 1998	Сентябрь 1998	Январь 2000
Руководители	5	8	6
Специалисты	6	15	2
Служащие	17	21	8
Квалифицированные рабочие	6	11	6
Неквалифицированные рабочие	13	18	7
Учащиеся	4	14	1
Пенсионеры	18	37	20
Домохозяйки	11	11	9
Безработные	11	16	8

* Исследования типа «Мониторинг» ($N = 2400$ человек). Приведены данные об опрошенных, указавших, что в последние дни испытывают «страх, тоску».

Данные табл. 15 как бы продолжают и кое в чем поясняют материал предыдущей. Менее всего испытали взрыв

страха занимавшие лидирующие позиции (а значит, обладатели страховых ресурсов) и самые обездоленные – неквалифицированные рабочие (которым было почти «нечего терять»). Таблица фиксирует лишь крайние точки кратковременного процесса бурного подъема и более медленного (с конца 1998-го до начала 2000-го – более года) спада настроений массового страха, связанных с экономическим кризисом. Сложнее объяснить, чем обусловлена последующая «нормализация» настроений, поскольку реальные экономические компоненты кризиса (инфляция, низкая покупательная способность и так далее) в большой мере сохранились.

По всей видимости, в переломе общественных настроений сыграли роль:

- преувеличенность тревожных ожиданий, которые не реализовались (экономической катастрофы, всеобщего коллапса не произошло);
- определенное оживление производства и потребительского рынка в изменившихся ценовых условиях;
- частичное покрытие внутреннего долга государства (задолженности по пенсиям и зарплате) за счет дополнительных доходов, «нефтедолларов»;
- изменение морально-политической ситуации в стране с осени 1999 года; об этом феномене речь пойдет ниже.

Функции страха в «чеченском» кризисе 1999 года

Перелом в общественно-политическом развитии России, который определился осенью 1999 года, непосредственно связан с пароксизмом массового страха после известных провокационных взрывов в Москве и других городах. Впервые (видимо, за все годы после второй мировой войны) значительная часть населения ощутила непосредственную физическую угрозу собственной жизни и благополучию.

Как известно, организаторы провокационных взрывов не были обнаружены (и по мнению большинства опрошенных,

никогда и не будут найдены). Непосредственно после этих акций большинство населения (76%) было готово обвинять в них чеченских «боевиков» (Басаева, Хаттаба); реже – российские криминальные структуры (25%); политические силы, стремившиеся дестабилизировать положение в стране и сорвать парламентские выборы, назначенные на декабрь (18%); президента Ельцина и его администрацию (16%); только 10% опрошенных подозревали причастность «официальных властей Чечни, Масхадова», а 3% – российские службы безопасности (опрос типа «Экспресс», сентябрь 1999, N = 1600 человек). Вот как распределились опасения в отношении действий предполагаемых террористов на примере оценок действий «северокавказских экстремистов» (в % от числа опрошенных):

...непосредственно угрожают моей жизни и жизни моих близких	27
...угрожают целостности страны	39
...подрывают экономическое благополучие России	24
...оскорбляют мои патриотические чувства	2
...никак меня не затрагивают	3
Затруднились ответить	5

Чуть более четверти опрошенных указывают *личную* угрозу со стороны боевиков, большинство отмечает страхи «*государственного*» значения.

Правда, если поставить вопрос иначе и спрашивать, боятся ли респонденты того, что они или близкие могут стать жертвами террористического акта, то оказывается, что этого «очень боятся» 42%, а «в какой-то мере опасаются» еще 44%.

Можно обнаружить определенную связь между настроениями «страха» и «мести» по отношению к чеченским боевикам. В ноябре 1999 года почти две трети опрошенных утверждали, что испытывают (34% «определенно» и еще 28% «скорее») «чувство мести, ненависть» к чеченским террори-

стам. Примерно столько же отметили наличие у себя страха перед этими террористами (31% «определенно» и 29% «скорее»). Взаимосвязь этих позиций видна из *табл. 16*.

Таблица 16

**«Испытываете ли Вы чувства ненависти,
мести к чеченским боевикам?», I**
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Испытывают ненависть, месть	
	Сумма ответов «да» и «скорее да»	Сумма ответов «нет» и «скорее нет»
<i>Всего</i>	62	28
Испытываю страха	71	22
Не испытываю страха	53	43
Затруднились ответить	24	13

* Исследование типа «Экспресс», ноябрь 1999 (N = 1600 человек).

Те, кто больше боятся террористов, заметно чаще испытывают и жажду мести.

Спустя четыре месяца (в начале марта 2000), когда вопросы были повторены, соотношение эмоциональных реакций изменилось: ненависть и жажду мщения по отношению к боевикам отметили 35%, а страх перед ними испытывали уже 74%. Причем, в соответствии с ходом событий, поменялись и поводы этого страха: это уже скорее не боязнь таинственных взрывов, а боязнь того, что чеченцы будут мстить за жертвы и разрушения.

Таблица 17

**«Испытываете ли Вы чувства ненависти,
мести к чеченским боевикам?», II**
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Испытывают ненависть, месть	
	Сумма ответов «да» и «скорее да»	Сумма ответов «нет» и «скорее нет»
<i>Всего</i>	35	57
Испытываю страх	38	55
Не испытываю страха	27	70
Затруднились ответить	20	34

* Исследование типа «Экспресс», март 2000 (N = 1600 человек).

Попытаемся выяснить, какие по своему значению страхи («личные» или «государственные») больше влияют на реальное поведение и на намерения людей в данной ситуации. На первый взгляд кажется правдоподобным, что непосредственный, личный страх за собственную жизнь и жизни близких стимулировал вспышку острой ненависти к предполагаемым террористам и оправданием самых жестких ответных действий. Оказывается, однако, что заметной разницы в установках тех, кто «очень боится» стать жертвой террора и тех, кто исключает эту возможность, не видно: из числа первых 48% опрошенных поддержали бы высылку чеченцев из русских регионов в Чечню, из вторых – 46%; применение тяжелых авиабомб – 16 и 23%, атомных бомб – 2 и 6% и так далее.

Можно полагать, что *непосредственной связи между реакцией «страха» и установками на массированный «антитеррор» не существует*. Посредником является общественно-политическая атмосфера (отчасти искусственно создаваемая пропагандой, актуализацией хронических фобий и прочее). Эмоциональный взрыв массового страха послужил скорее инструментом организованных

«уроков ненависти» (в терминологии Дж. Оруэлла), чем их причиной.

Вот список причин, вызвавших наибольшие (предметные, направленные) страхи в сентябре 1999 года (в % от числа опрошенных, опрос типа «Экспресс», N = 1600 человек):

Ускоренный рост цен	62
Разгул преступности	60
Волна террористических актов, дестабилизация положения в стране	48
Дальнейший рост безработицы	44
Широкомасштабная война на Северном Кавказе	41
Продолжение спада производства, закрытие предприятий	40
Приход к власти фашистов, экстремистов	25
Усиление экономической и политической зависимости от Запада	19
Народный бунт	15
Введение в стране чрезвычайного положения, диктатуры	14

Показательно, что даже в таком «взрывном» месяце как сентябрь 1998 года, ровно половина упоминаний в первом десятке страхов – это обычный для российского общества набор экономических тревог, остальные позиции занимают страхи, специфические для общественно-политической атмосферы момента. (Отметим, что большая война на Кавказе тогда еще казалась всего лишь возможной; правительство Путина многократно заявляло, что такая война исключена.)

Таблица 18

**«Какие чувства вызывают у Вас сообщения
о действиях российских войск в Чечне?»**
(в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа	Октябрь 1999	Декабрь 1999	Март 2000
Восхищение	3	3	2
Удовлетворение	21	24	15
Беспокойство	55	52	63
Стыд	9	7	7
Никаких особых	8	8	7
Затруднились ответить	4	5	6

* Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек).

Как видим, уровень тревожного беспокойства за два месяца почти стабилен. Это состояние близко к неопределенному, диффузному страху, источники и последствия которого не фиксированы специально (это может быть и страх перед самим фактом военных действий, потерями, террористическими и общеполитическими последствиями конфликта и так далее).

Спустя полгода после начала последней чеченской войны она все еще имеет значительную поддержку среди населения России. Однако, судя по рассмотренным выше данным, эмоциональная составляющая этой поддержки претерпела примечательные изменения. Непосредственный страх перед актами террора, отчасти сыгравший триггерную роль в начале кампании, явно утратил свое значение. Установка на доведение силовой акции «до конца» подкрепляется атмосферой ожесточения, а отчасти и страха перед возможными актами мести со стороны чеченцев. Но, видимо, более важной оказывается сложившаяся за эти месяцы «рациональная» составляющая агрессивной установки – представление о *безальтернативности* принятого курса на военное решение

национально-политических проблем. Подкрепляется это представление тем, что никакая авторитетная политическая сила не предложила населению и политической элите России никакого иного варианта. Здесь (как и в ситуации с поддержкой нового президента) кое в чем повторяется известная из недавней истории ситуация безальтернативного «выбора». Эмоциональной составляющей такого выбора служит не столько «всеобщий энтузиазм», сколько всеобщее ощущение отсутствия иного выхода.

Радости и огорчения: баланс «общих» и «своих»

Разграничение и взаимовлияние эмоциональных состояний разного уровня («у себя» и «у других», «для себя» и «для страны»), о котором уже упоминалось, имеет принципиальное значение для обеспечения эмоционального равновесия общества. Рассмотрим два ряда данных, полученных на протяжении нескольких недель (см. *табл. 19, 20*).

Таблица 19

«Положение дел в каких областях более всего радует Вас в последнее время?» (в % по столбцу)*

Варианты ответа	I	II	III	IV	V
На международной арене	4	4	4	3	4
Политическое положение в России	4	5	4	6	5
Экономическое положение в России	2	3	2	3	4
Положение в городе, районе	6	6	5	5	5
Военные действия в Чечне	7	17	18	13	10
Материальное положение семьи	5	6	5	7	7
Успехи в работе (учебе)	15	13	12	15	13
Отношения со знакомыми, сотрудниками	23	20	19	22	23
Отношения в семье	31	30	28	30	32
Романтическая (сексуальная) жизнь	6	7	6	6	6
Собственное здоровье	14	12	13	13	14

Варианты ответа	I	II	III	IV	V
Здоровье близких	12	10	11	13	14
Ничего из перечисленного	29	29	30	32	30

* Исследования типа «Экспресс», опросы I–V с 7 февраля по 10 марта 2000 (N = 1600 человек).

Примечательно, что этот ряд показателей не обнаруживает практически *никакой динамики*, если не считать чеченской ситуации – этой пульсирующей болевой точки на карте эмоциональных состояний населения. Тем интереснее сопоставление радостей и огорчений.

Более всего *радуют* людей простые и близкие предметы – семья, друзья-сотрудники, работа, учеба. Более всего *огорчают* – материальное положение собственной семьи, экономическое положение страны и, разумеется, война в Чечне (некоторые колебания индикаторов последней позиции, видимо, связаны с динамикой информации об успехах и потерях). О здоровье люди думают скорее, когда оно не в порядке, поэтому состояние здоровья чаще упоминается в ряду огорчений.

Таблица 20

**«Положение дел в каких областях
более всего *огорчает* Вас в последнее время?»
(в % по столбцу)***

Варианты ответа	I	II	III	IV	V
На международной арене	6	8	9	8	7
Политическое положение в России	20	19	21	22	18
Экономическое положение в России	40	41	44	43	38
Положение в городе, районе	13	16	17	17	13
Военные действия в Чечне	48	39	36	44	44
Материальное положение семьи	46	44	41	44	44

Варианты ответа	I	II	III	IV	V
Дела на работе (учебе)	5	5	5	6	4
Отношения со знакомыми, сотрудниками	2	3	3	3	2
Отношения в семье	4	5	4	5	4
Романтическая (сексуальная) жизнь	2	2	2	2	2
Собственное здоровье	23	24	22	24	25
Здоровье близких	17	16	17	16	17
Ничего из перечисленного	4	4	6	4	5

* Исследования типа «Экспресс», опросы I–V с 7 февраля по 10 марта 2000 (N = 1600 человек).

Личные заботы безусловно преобладают над «общими». Отсюда и практически действующие «приоритеты» социальных эмоций и механизм их трансформации – вытеснения, замещения, переоценки.

Сфера личных (семейных, домашних) забот, страхов и радостей постоянно отгораживает человека от переживаний общеполитического, государственного и так далее уровней. «Общие» заботы как бы прорываются на личностный уровень в экстраординарных ситуациях – крупного бедствия, войны. (Экономическое положение России выступает как непосредственная, «своя» забота, поскольку это не просто тревожная информация по телевидению, а уровень потребительских цен, инфляции, безработицы, невыплат и прочее.)

Если использовать в качестве пояснения вариант продуктивной метафоры, можно представить эту ситуацию следующим образом. Обитатели большого дома живут в своих квартирах (в американской версии надо говорить о городе и доме), то есть в доме-квартире сосредоточены их заботы–радости–страхи–огорчения и прочее, на уровень большого дома (города) они выходят преимущественно в ситуациях общей беды, например, пожара. Такое распределение сфер и типов интересов более всего характерно, видимо, для «со-

ветской» модели поведения с ее строгим разграничением элитарных (государственных, партийных, верхушечных) и массовых, «обывательских» забот.

От эмоций к действиям: варианты и механизмы переходов

Главная и самая интригующая проблема социологического анализа эмоциональных состояний – в понимании их воздействия на поведение, на социально значимые действия людей. Ясно, что страхи, надежды, радости могут быть по-разному использованы и преодолены; вопрос в условиях и вариантах их реализации.

Может показаться, что проще всего оценить действие как будто заведомо «позитивных» факторов – чувств радости, удовлетворенности, которые стимулируют социальную или трудовую активность, преодоление препятствий и так далее. Но люди могут довольствоваться разными уровнями gratification, ограничивать свои притязания, воспринимать пассивное или даже «понижающее» приспособление к наличной ситуации как предел возможного успеха. Чтобы оценить значение отдельных эмоциональных реакций или сигналов (как «стимуляторов», так и «ингибиторов»), нужно принимать во внимание всю структуру социального действия, в рамках которой они функционируют.

С помощью рассмотренных выше данных относительно эмоций страха, можно сделать выводы не только о распространенности различных их типов, но и о различных вариантах их *преодоления* или *использования*. Как уже отмечалось, далеко не всегда привычное («хроническое») состояние страха означает постоянные чувства психологической подавленности, тоски и тому подобное. Один из распространенных вариантов преодоления острого страха состоит в его превращении в страх привычный, хронический, вытесняемый на периферию сознания, то есть за пределы непосредственного

напряжения, беспокойства. Так происходит, например, со страхом перед неотвратимыми событиями (смерть, природные катаклизмы). Но даже в этих ситуациях имеются варианты *пассивного* подчинения обстоятельствам и *активного* противодействия (борьбы с болезнями, предупреждения наиболее опасных последствий стихийных бедствий, превентивных мер и тому подобное). Аналогичная дилемма (сформулированная в монологе Гамлета) возникает практически в любой экономической или социальной ситуации. Любой хронический страх может вести либо к подчинению обстоятельствам, режиму, внешнему давлению и прочему – либо к активному противодействию.

В ситуациях *острого* страха ответными реакциями могут быть паника или *агрессия*, но также и мобилизация экстраординарных возможностей для *сопротивления*.

Как показывает опыт, и советская и постсоветская действительность чаще всего стимулировали *пассивные* варианты преодоления социальных страхов (приспособление, привыкание, надежда на то, что «худшего не случится»).

Так, по данным исследования типа «Мониторинг», проведенного в момент наибольшего обострения экономического положения и социально-психологической напряженности в России (сентябрь 1998, N = 2400 человек), только 3% опрошенных указали, что угроза увольнения привела к большей сплоченности их трудового коллектива. Чаще всего упоминались такие явления, как отчужденность между людьми («каждый за себя») – 22%; самостоятельные поиски другой работы – 21%; конфликты и борьба за сохранение рабочих мест – 17%; поиски поддержки у начальства – 10%. Всего 2% опрошенных отметили, что угроза безработицы побудила людей лучше работать, 3% – что работать стали хуже. Получается, что угроза безработицы вызывает преимущественно пассивные и малоэффективные реакции тех, кого эта угроза затрагивает.

Как мы видели (см. *табл. 20*), военные действия в Чечне

беспокоят почти половину опрошенных, но эта реакция неоднозначна: чаще людей беспокоят длительность и потери операции, значительно реже – характер и политические последствия этой войны. Но и самое серьезное беспокойство не превратилось в сколько-нибудь значимые действия протеста.

Аналогичным образом опасения относительно возможности новой диктатуры, чрезвычайных мер, нарушений прав человека и свободы прессы, возврата к массовым репрессиям не стимулировали движений в защиту демократических институтов.

Экологические страхи отодвинуты на обочину общественного интереса. Фактически мало кого волнует, что требования радиационной и какой-то иной безопасности соблюдаются плохо, в том числе и на уровне массового поведения.

Это подтверждает, что наиболее важной проблемой является не столько существование в общественном мнении определенного набора «страхов», сколько неспособность общества находить активные варианты реакций на опасности. А точнее, неспособность элиты предложить обществу рациональные и активные варианты таких реакций.

Характер рассматриваемого материала – данные опросов общественного мнения – навязывают исследователям преимущественно «поведенческий» план анализа. Однако интерпретация и понимание того же материала в узко поведенческие схемы не укладывается. Для понимания функций таких социальных эмоций, как страхи или радости, выражаемые в определенных социальных группах, недостаточно изучать только текущие массовые поведенческие реакции на внешние стимулы, требуется принять во внимание действующие на различных уровнях механизмы институциональной «организации» таких реакций.

Страх, мобилизующий и легитимизирующий массовое ожесточение в последней «чеченской» ситуации, стимулирован скорее политически, чем психологически: это не непосредственная «массовая» реакция, а скорее акция политиче-

ской верхушки, использовавшей массовую готовность поддаться требуемым настроениям.

История массовых фобий разного рода – в том числе отечественная – показывает, что действующим фактором в них служил не столько непосредственный страх перед какими-то (реальными или предполагаемыми) носителями зла, сколько страх быть причисленным к «врагам» и их пособникам, а потому оказаться жертвой репрессивных акций. Массовые страхи служили средством «негативной» консолидации политических и культурных элит тоталитарного общества.

Именно такие функции исполнял, например, пароксизм массового страха и массового доносительства в годы «большого террора» 30-х годов; в более ослабленных вариантах аналогичный механизм действовал в ходе многочисленных кампаний «упорядочивания» политической и культурной элиты вплоть до 80-х годов. Эмоциональный баланс обеспечивался принудительным ритуальным оптимизмом – от бодряще-маршевых песен и борьбы с «очернительством» до восторженного преклонения перед «гением вождя» (в позднейших вариантах – перед «мудрой партией» и так далее).

В любых ситуациях устрашения, в том числе массового, самым устойчивым и лукавым в то же время оказывается страх интернализированный, проникший в структуру самоидентификации субъекта. Одно из проявлений такого «внутреннего» страха – боязнь разрушить привычный или сакрализованный образ, лишиться удобного средства самооправдания. Реакцией на череду политических и персональных разоблачений, происходивших на поверхности общественной жизни последнего полувека (после 1953 года) у значительной части населения стало упорное стремление реставрировать хотя бы ограниченную зону непогрешимых авторитетов – с окружающим ее балансом публичных страхов и тихих радостей.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

НАШИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ: ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ (Околоюбилейные размышления)

7 декабря 1987 года было подписано Постановление Президиума ВЦСПС и Госкомтруда СССР «О создании Всесоюзного центра изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам» – формальная дата появления на свет ВЦИОМ. Реально его работа, конечно, началась позже и не в один какой-то день: отбор сотрудников, формирование всесоюзной (тогда еще) региональной сети, отработка компьютерной технологии и так далее заняли месяцы. Потом шли годы проверки на прочность, испытаний политических и внутренних, возмужания, обучения, накопления опыта и умения понимать полученные результаты.

Первое десятилетие жизни и работы ВЦИОМ можно рассматривать под разными углами зрения – перебирать опросы, отчеты, оценивать кадры, вспоминать конфликты. В настоящей очерке я попытаюсь посмотреть на нашу биографию с точки зрения принципиальных *проблем*, с которыми пришлось столкнуться за прошедшие годы. Надеюсь, что небольшая доза мемуарного стиля не повредит этой установке.

Что такое ВЦИОМ?

Условия и время создания нашего центра, естественно, наложили свой отпечаток на характер ВЦИОМ как организации – или даже как своеобразного «организма».

Во-первых, ВЦИОМ создавался, так сказать, «официально» – в соответствии с указаниями-постановлениями вышестоящих инстанций (упомянутое выше постановление ВЦСПС и ГКТ ссылается на решение ЦК КПСС и Совмина от апреля 1987 года), поскольку иных способов законного учреждения организаций тогда просто не существовало. Это значит, что приходилось сначала долго и упорно убеждать

таковые инстанции в том, что новая организация не только не окажется опасной, но принесет пользу в осуществлении предполагаемой «линии». Что и сумели тогда сделать Б.А. Грушин и Т.И. Заславская. Это дало Центру признанный (а первоначально и монопольный) статус, дарованную крышу над головой, первоначальный набор необходимого оборудования и «академический», то есть по тем временам неплохой, уровень зарплаты для штатных сотрудников, в том числе и в регионах России и всего тогдашнего Союза. Правда, с этими льготами обычно были связаны и ограничения: начинались они с пресловутой оговорки в самом названии Центра, который обязывался изучать общественное мнение «по социально-экономическим вопросам» и никаким иным; породившие эту организацию «инстанции» сохраняли за собой право контролировать, а то и пресекать ее деятельность. Старое поколение социологов (работавших в ИКСИ и других «передовых» академических заведениях конца 60-х годов) очень хорошо это знало. Но время было другим. (Помнится, старые коллеги, собравшись вместе заново, гадали, сколько лет удастся нормально прожить в этот раз – получалось, не больше двух-трех. Мы ошибались, потому что переоценивали прочность «системы»: оказалось, что двадцать лет составили «систему» куда сильнее, чем нас самих.) На деле в условиях нараставшего «перестроечного» замешательства само желание высокого начальства как-то держать нашу работу под контролем быстро исчезло. Практически, насколько мне известно, попытки вмешиваться в наши дела свелись к нескольким кадровым скандалам (например, профсоюзные чины помешали назначить одним из заместителей директора Б. Докорова).

А контроля сверху за содержанием работы ВЦИОМ – за тематикой и интерпретацией опросов – практически не было никогда. (Однажды зарубежные визитеры долго пытались выяснить у меня, каким образом «политбюро» утверждает наши вопросы; им трудно было поверить, что такую ответст-

венную функцию, как постановка вопросов перед населением, мы исполняем по собственному разумению.) Ограничение рамок деятельности «социально-экономическими вопросами» продержалось – и то из-за внутренней осторожности – не более года, после чего мы уже безо всякой оглядки спрашивали людей о политике, партии, межнациональных отношениях и так далее.

Правда, были обиды со стороны тех, кто рассчитывал на заведомо приятные для себя результаты. Чиновники ВЦСПС были шокированы тем, что профсоюзы имеют самые низкие показатели доверия среди населения по сравнению с другими социальными институтами. (Как известно, так обстоит дело и сейчас.) Более шумный резонанс имела другая история, по моему, осени 1989 года. Тогда один из наших сотрудников, покойный ныне Я. Капелюш, по просьбе редакции газеты «Аргументы и факты», имевшей репутацию радикально-демократического издания, занимался анализом читательских писем и пришел к выводу, что среди их авторов наибольшим авторитетом пользуется А.Д. Сахаров, а М.С. Горбачев заметно уступает ему. Обиженный генсек даже сам звонил во ВЦИОМ Т.И. Заславской (не застал, она была в больнице), а мы опасались каких-то санкций. Конечно, обижаются на данные ВЦИОМ до сих пор – обычно это обладатели невысоких предвыборных рейтингов, – но это происходит совсем в иной ситуации, когда ничей указующий перст нам грозить не может.

К сожалению, многие наши газетные критики – обычно политически пристрастные и не слишком сведущие в практике исследования общественного мнения – продолжают приписывать ВЦИОМ официозность и усматривать в его сообщениях проправительственный уклон. Особенно часто приходилось сталкиваться с такими суждениями в горячие месяцы предвыборных кампаний.

Другая «прирожденная» особенность ВЦИОМ – его гибридность, сочетание черт опросной (поллинговой) фирмы и

академического аналитического центра. Отсюда определенная тяжеловесность внутренней структуры, которая вызывала нарекания со стороны некоторых коммерчески ориентированных коллег. Притом создавался Центр не с нуля, а в значительной мере из нескольких готовых «блоков» – людей, ранее работавших с Заславской, Грушиным, Рутгайзером, Левадой. Разными были и сферы квалификации и направление амбиций людей – социологов, экономистов, политологов, математиков и прочих. Сами эти блоки складывались для других дел, в иных условиях, и не так просто было притереться друг к другу и приспособиться к новым задачам. Этого удалось достичь с определенными человеческими потерями; уходили прежде всего те, кто не способен был к совместной работе и не выдержал соблазнов рыночной конкуренции.

То, что удалось сохранить двойственность структуры центра, по-моему, очень важно, особенно для перспективы. Сегодня в стране действуют десятки фирм, *собирающих* данные о состоянии общественного мнения (того, что принято относить к этой сфере), на порядок меньше тех, о которых можно сказать, что они *изучают* этот феномен, еще меньше претендующих на то, что они его пытаются его *понимать*. ВЦИОМ по положению своему обязан и стремится делать и то, и другое, и третье. (Введенный девиз ВЦИОМ – «ОТ МНЕНИЙ К ПОНИМАНИЮ» – в какой-то форме отображает эту установку, а кроме того напоминает об известной традиции социологической мысли.) Упрекать его скорее стоило бы за то, что не все и не всегда мы умеем анализировать и понимать достаточно глубоко и серьезно. Но об этом несколько позже.

Позволю себе припомнить, что когда в прошлые времена, в начале 70-х, зарождавшуюся молодую социологию разгоняли (а точнее, загоняли в строго отведенные рамки), ее упрекали прежде всего в намерении – весьма, впрочем, осторожном – самостоятельно думать, выйти за предписываемые

категории дозволенного знания. Сегодня нет идеологического диктата, зато имеется довольно жесткий диктат рыночной ситуации («кто платит за обед...»), включая сюда и политический рынок: требуются преимущественно самые простые и даже «сырые» данные, спрос на аналитические разработки невелик, а на теоретические конструкции как будто и вовсе отсутствует. Причем это не наша национальная особенность, а характеристика общемировой ситуации.

Здесь, однако, требуются оговорки. При более внимательном рассмотрении и «рыночный» спрос не столь прост, каким он кажется на первый взгляд, – особенно, если принимать во внимание направления развития рынка. Рано или поздно во всяком рыночном хозяйстве наступает стадия, когда требуется уже не только сбор текущей информации, но обстоятельный анализ долгосрочных перспектив, латентных трендов, конструирование сложных моделей и так далее; тогда «экономические Нобели» получают место рядом с «физическими». А кроме того – и сверх всего сказанного – можно и нужно жить «в рынке», но «не рынком единым». Конечно, только мощная и опирающаяся на разнородные опоры организация может себе это позволить.

Это важно припомнить после того, как первые «удары» рыночной стихии мы, в общем, неплохо выдержали, – вопреки ожиданиям некоторых бывших коллег и новоявленных конкурентов. Выдержали, потому что развернули новые для себя формы деятельности – маркетинговые исследования, изучение масс-медиа и бизнеса, качественные методы, а параллельно с этим – довольно эффективно приспособили к изменившейся обстановке систему оплаты труда внутри Центра и деловые отношения с регионами. В итоге – вышли на конкурентный рынок, не опустившись до уровня модных «фирмачей на побегушках», сохранив свое лицо, способность к учебе и развитию, возможность привлекать новые силы и оправдывать доверие.

Переход этот ВЦИОМ дался нелегко, пришлось расстать-

ся – в основном в 1992 и 1994 годах – с целыми группами работников, которые не смогли или не пожелали «вписаться» в плавный поворот. Чтобы сохранить равновесие и не нарушить нормальный ход исследовательского механизма, пришлось более осторожно, чем требовалось обстановкой, относиться к уже отработанным схемам организации и юридическим формам всей работы. (Разумеется, я несколько рационализирую перипетии пройденного пути с его поворотами, поскольку пытаюсь выделить наиболее принципиальные моменты в ситуациях, где на поверхности, как это обычно бывает, действовали просто мелкие личные амбиции и прочее; поэтому не упоминаю конкретных фамилий и конфликтных случаев.)

Что мы все-таки изучаем?

Нескончаемые (в принципе) споры о «предмете исследования» ведутся обычно при появлении какой-то новой области знания, притом чаще всего – вокруг и по поводу нее. (Если бы физики или медики вместо того, чтобы работать в своих областях, изначально занимались дискуссиями об их определениях и границах, – мир человеческий был бы иным.) Новообетенную в 60-е годы нашу социологию долго мучили спорами о «предмете», мешая ей развернуться, готовить кадры, набираться опыта. Споры эти, навязанные социологам извне («свыше», со стороны господствовавших партидеологов), имели сугубо схоластический характер – не в ругательном, а в довольно строгом историческом смысле этого термина: все ведь сводилось к тому, как «разместить» социологию на официальной схеме наук разного уровня и значения.

Попытки изучения общественного мнения в советские времена (например, то, что делал Б. Грушин с начала 60-х годов) тоже встретили «методологическими» штыками, притом не только сверху. Многим тогдашним социологам – и мне в их числе – казалась сомнительной сама возможность

изучать общественное мнение в стране всеобщего принудительного единомыслия и дефицита, где не признавался ни политический, ни даже коммерческий выбор. Свою нишу социологические исследования, использовавшие массовые, в основном, локальные опросы находили в оценках и пожеланиях населения, работников в отношении условий труда, быта, расселения и так далее.

Вместе с надеждами и иллюзиями «ранней» перестройки (1987–1988) возродились и представления о том, что у нас не только можно будет серьезно изучать всеми имеющимися средствами собственное общество, но что в нем появится и такой долгожданный предмет как «реальное» общественное мнение – плюралистичное, свободное, направленное. Но когда все внешние барьеры на пути изучения общественного мнения как будто пали и кто угодно получил возможность беспрепятственно спрашивать кого угодно о чем угодно и (увы!) как угодно, – вопрос о «предмете» нашей работы, о существовании общественного мнения не утратил своего смысла. Приходится слышать сетования о том, что в стране несостоявшейся демократии по-прежнему нет и настоящего общественного мнения; огорчительно слышать такие суждения от людей, которые внесли серьезный вклад в организацию исследований именно в этой области.

Коротко повторю тезисы, которые не раз публиковались. Термин «общественное мнение» имеет *два разных значения* – назову их «методологическим» и «историческим».

Первый из них охватывает сумму приемов сбора и обработки «субъективной информации» (иногда за рубежом говорят об изучении «субъективных явлений») – с утверждениями относительно фактов, оценок, предположений, переживаний, которые дают массовые опросы, беседы со специалистами, групповые дискуссии по очень широкому кругу тем. Опыт – в том числе и наш собственный – показывает, что при соблюдении необходимых условий (надежности выборки, построения вопросов и так далее) субъективная ин-

формация, которая получена с помощью выборочных опросов, может быть ничуть не менее надежной и точной, чем «объективная информация», которой пользуется, например, государственная статистика (на деле последняя также часто опирается на высказывания респондентов, скажем, при переписях населения или имущества). При этом надежность полученных результатов в принципе не зависит от того, насколько отдельные опрошенные осознают мотивы собственных предпочтений или антипатий по отношению к какому-то деятелю или какой-то группе товаров, насколько организованными и влиятельными являются их мнения по этому поводу. Конечно, требуется наличие соответствующего выбора и возможности его репрезентировать в выборке.

Приходится встречаться с суждениями о том, что у нас избиратели не знакомы с программами и лидерами партий, за которые они голосуют, потребители плохо знают товарные марки, которым они выражают предпочтение и так далее. Но критерии рационального выбора, тем более, массового, всегда и везде ограничены: и в Туле, и в Техасе электорат ориентируется не столько на программы, сколько на имидж кандидатов, на привычные партийные и персональные склонности. В свое время К. Леви-Стросс предлагал различать предметы антропологии и социологии по такому критерию: социология изучает сознательные действия, антропология – бессознательные (обычаи, нравы). С этим трудно вполне согласиться хотя бы потому, что в любом поведенческом акте присутствуют компоненты разного уровня и типа осознанности.

Наши особенности, как представляется, связаны с неразвитостью условий, которые иногда называют «социологической культурой». Я бы отнес сюда, во-первых, массовую готовность и привычку быть опрошенными, во-вторых, уровень опыта и квалификации интервьюеров, в-третьих, характер общественных ожиданий (как «снизу», так и «сверху») в отношении самих опросов. А кроме того, существуют и фак-

торы, связанные с определенными культурными традициями (что порождает, например, заметный процент отказов при вопросах на интимные темы) и восприятием текущей ситуации (при вопросах об имуществе или сбережениях). О роли «внешних» запретов сейчас уже говорить не приходится, но в недавнем нашем прошлом именно они в первую очередь делали практически невозможным измерение массовой субъективной информации. Власти опасались не столько нежелательных ответов, сколько опасных («провокационных») вопросов, респонденты побаивались отвечать...

Следует выделить еще одно, в конечном счете, наиболее важное условие необходимости и действенности таких инструментов, как репрезентативный опрос: нужно, чтобы общество (население) могло быть представлено как множество независимых друг от друга единиц. Понятно, что для жестко регламентированных традиционных обществ это просто невозможно; трудно представить и описание тоталитарных систем с помощью категорий массовых процессов и массовых опросов.

Электоральные ситуации 1995–1996 годов показали достаточно убедительно, что политические опросы в России могут быть технически вполне надежными и пригодными для представления хода и исхода общенациональных избирательных кампаний – не хуже, чем это делается в Англии, Румынии, Турции и где угодно. Регулярные исследования доходов, потребления, потребительских настроений с помощью опросных инструментов, как известно, также дают достаточно надежные результаты, иногда дополняющие макростатистические, а иногда и недоступные для последних.

В нынешних условиях повсеместно, в том числе у нас, с помощью субъективной информации изучают прежде всего потребительский рынок и потребительское поведение, – притом весьма широко понимаемое: к нему относят потребление любых социальных и культурных благ, вплоть до слушания классической музыки. Это дает основания для того, чтобы

всякое исследование, проводимое на основе массовых опросов и качественных методов, относить к «маркетинговым» – так принято, например, в последние годы в ЭСОМАР (Европейское общество изучения общественного мнения и маркетинга).

Субъективная информация дает картину самооценки состояния общества (в разрезе его групп и регионов, если это требуется) – то, что метафорически называют показателями общественного «термометра», «барометра», «анализатора», «радиометра» и прочее. В работах Б. Грушина это когда-то именовалось «состоянием массового сознания». Общественным *мнением* эти показатели называют скорее всего лишь потому, что их получают те же организации и примерно теми же методами, которыми лет 60–70 назад начали изучать предпочтения массовых избирателей или читателей. То есть к общественному мнению во втором смысле они имеют преимущественно историческое отношение.

А вопрос о том, «есть ли у нас общественное мнение», относится не к инструментарию получения субъективной информации, а к социальному *институту*, который обладает определенной структурой и выполняет определенные функции в обществе, задает определенные способы действия, одобряет, осуждает, – словом, является некой общественной силой. Для этого общественное мнение должно быть действительно мнением, то есть системой социально-организованных и социально-значимых суждений, оценок. Причем организованных не только «извне» (гражданские свободы, системы массовой информации, политический плюрализм), но и, так сказать, «изнутри» (символы, стереотипы, комплексы значений и средств выражения).

Понятно, что общественное мнение в таком смысле далеко не безразлично к обществу, в котором оно действует. Общепризнанно, что развитое и влиятельное общественное мнение возможно и необходимо в развитых демократиях. Отечественный опыт последних лет питает сомнения и раз-

очарования в отношении эффективности любых демократических институтов – в том числе и общественного мнения – в нынешнем российском обществе. Можно сослаться в этой связи на слабость общественных протестов против чеченской войны, на двусмысленность позиций большинства населения в отношении реформ и реформаторов, на отсутствие общепризнанных политических и нравственных лидеров общества, на готовность значительной части общества поддаваться примитивному манипулированию, увлекаться популистскими лозунгами, поддерживать авторитарные приемы и политический авантюризм. Но на те же явления можно посмотреть и с другой стороны. Протесты против войны все же в конечном счете оказали определенное влияние на то, что невозможность решения «чеченской проблемы» карательными действиями была наконец понята, – и это несомненно окажет свое влияние в будущем. Партийные симпатии в стране определены плохо, но устойчивое неприятие возврата к прошлому у большинства населения – налицо. Свобода мысли и слова ни у кого не вызывает сомнения. Общациональных лидеров нет, но симпатиями пользуются все же преимущественно те деятели, которые заявляют себя как демократы и реформаторы. Существуют и организуются все более и другие направления мнений – что тоже вполне закономерно.

Общественное мнение повсюду выражается и формулируется через масс-медиа. Купленные и перекупленные финансово-промышленными монополиями газеты и каналы телевидения явно участвуют в окол властных интригах, подменяющих политическую борьбу, но в общих вопросах идут в русле основных тенденций общественного мнения и вряд ли могут действовать иначе. Если принять во внимание, сколь малый промежуток времени отделяет нас от эпохи всеобщего принудительного единомыслия, – становится понятно, что другого состояния общественного мнения трудно было и ожидать. Моментальных перемен в этой ситуации быть не может, возможен лишь долгий и противоречивый процесс

вызревания института общественного мнения наряду и в связи с другими демократическими институтами.

Инструменты изучения общественного мнения, о которых шла речь ранее, могут внести в этот процесс существенный вклад, хотя и не так просто, как это казалось десятков лет назад.

Кому мы все-таки служим? Проблема «зеркала»

Еще одна традиционно «изначальная» тема, сопровождавшая наше появление на свет – *для чего* нужно изучать общественное мнение? Обращаясь к опыту первых лет работы ВЦИОМ, нельзя не видеть, как много было у нас и вокруг нас упрощенных и наивных представлений о непосредственном, практическом, чуть ли не спасительном для общества смысле такой работы. Притом исходили они из разных источников.

Иллюзия непосредственной практической пользы витала над первыми социологическими системами О. Конта и других мыслителей; в более зрелые времена отношения социологии с социальной практикой стали, естественно, трактоваться более сложно. Этот опыт почти буквально повторили в 60-е годы у нас, когда попытки возрождения социологической науки пришлось оправдывать ссылками на потребности «научного управления обществом». Никакого «научного управления» в условиях загнивавшего социализма не получилось – как, впрочем, нет его и в развитых странах. В годы перестроечных исканий опять пошли в ход иллюзии о том, что на основе опросов общественного мнения – без формирования новых социальных и рыночных институтов, без новой системы социальных интересов и ориентаций – можно принимать рациональные решения. (Конечно, иллюзии общества тоже имеют значение, без них ничто бы не сдвинулось с места.)

Видимо, поощряя создание нашего Центра и подобные

благие начинания, «начальство» рассчитывало, что им покажут приятную картину всеобщей поддержки официально-прогрессивистской линии. Когда это не получилось, стали возникать горькие обиды, о которых уже говорилось.

Но значительно больше ждали от нас тогда те, кого мы начали опрашивать. Вот характерные суждения из писем (ответов на пресс-анкету, к которой я еще вернусь): «Анкета ваша понравилась, ...но теперь хотелось бы, чтобы вы в наикратчайшие сроки все подсчитали и попросили дать ответ или прокомментировать кого-нибудь из лидеров ЦК (вам все же ближе). Он теперь уж точно увидит, чем живет народ и чего он хочет...». На многочисленных полумитинговых встречах с разгоряченной гласностью аудиторией постоянно повторялся вопрос: знают ли высшие власти о наших данных, слышат ли они требования людей и так далее. (Тут, кстати, прослеживался известный стереотип массовых представлений о властителях, до которых нужно «докричаться».)

У нас самих, насколько можно судить по первым публикациям и обсуждениям, тоже было немало примитивных иллюзий, но несколько иного рода. Первые результаты зондажей показывали значительное преобладание позитивных оценок перестройки, гласности, деятельности М. Горбачева, и это легко можно было принять за успешное становление демократических институтов и интересов. Бывало, что ответы на отдельный вопрос (подсказанные если не текстом анкеты, то преобладавшим тоном СМИ) исследователи принимали за фундаментальную установку, словесно выраженные оценки – за готовность действовать в определенном направлении, и тому подобное. Учиться понимать значение получаемого материала приходилось – да и сейчас приходится – на ходу, в процессе работы.

На то, что наши данные окажут какое-то непосредственное влияние на политические или управленческие решения, мы особенно не рассчитывали. Возможно, в некоторых случаях такое влияние можно было предположить. Так, в труд-

ное лето 1991 года мы получили и тут же распространили информацию о том, как население Союза отнеслось бы к выходу из его состава отдельных республик. Самым важным было категорическое неприятие людьми насильственных акций центральной власти против сепаратистов. По некоторым сведениям, эта информация сыграла свою роль в том, что план карательных экспедиций по отношению к странам Балтии так и не был приведен тогда в действие. Через 3–4 года нам пришлось многократно выяснять отношение российского населения к военным акциям в Чечне и сообщать о нем широкой публике. В какой-то мере это помогало общественным протестам против войны и содействовало ее прекращению в 1996 году.

Однако ситуация меняется тогда и постольку, поскольку политическая жизнь сводится к политическим «технологиям» – например, при завоевании избирательной поддержки или при принятии «технологических» управленческих решений. В рамках избирательных кампаний многочисленные опросные данные не только могли с известной степенью точности показать ожидаемые уровни поддержки различных кандидатов, но также и выявить технологию успеха, значение отдельных средств и приемов электоральной агитации. Поэтому избирательные штабы кандидатов могли надеяться на использование данных опросов для мобилизации своих сторонников и рекомендации определенных способов деятельности. Впрочем, до последнего времени опросы общественного мнения исполняли в избирательных кампаниях более примитивные функции – укрепляя надежды на успех (иногда, правда, ошибочные) у одних и отнимая их у других.

Вопрос о влиянии маркетинговых исследований на коммерческую практику требует особого анализа; замечу лишь, что в большинстве случаев узко-маркетинговые опросы весьма «технологичны» и потому способны оказывать прямое воздействие на тактику и дизайн рекламы, политику сбыта соответствующих брендов и так далее.

Если же вернуться к извечной постановке самого общего вопроса о том, «кому служит» изучение общественного мнения, то, по-моему, самый общий ответ на него может быть только таким: в конечном счете – обществу. Не власти, не политикам, не коммерческим интересам, а именно *обществу*. Социальный «заказ» – это метафора, а вот общественная функция вполне реальна и прямо не зависит от намерений отдельных заказчиков и исполнителей. В конечном счете картина общественного мнения, созданная множеством исследований, распространенная и перетолкованная масс-медиа – некоторое «зеркало» общества, предъявленное ему самому. За этим символом (а зеркальное отражение, как известно, является из одним самых распространенных социально-мифологических символов) кроется целый пучок значений.

Зеркало общественного мнения может достаточно точно, подробно и динамично отражать сложное и переменчивое «лицо» общества, то есть внешнюю, демонстративную поверхность интересов и намерений массы людей. Фиксировать детали и перемены в «лице», разумеется, важно прежде всего для того, чтобы проникнуть в механизм актуального или потенциального перехода от массового «выражения» к массовому действию. Многие стороны этой картины и ее глубины можно изучать иначе – например, с помощью методов экспериментальной психологии и социологии, игры, искусства, неформализованного понимания. Но охватить достаточно быстро и всю поверхность, и динамику отображаемого сегодня вряд ли можно без регулярных массовых зондажей.

Иногда говорят, что получая ответы на массовую анкету мы имеем дело не с «настоящими» мнениями людей, а с декларациями, формулами, терминами, которые продиктованы этим людям через масс-медиа. Трудно усомниться в том, что язык общественного мнения задается средствами массовой информации, но никакого другого языка масса и не может иметь. Именно медиа сегодня составляют сложную систему

зеркал, в которых видит себя человек, причем он привыкает и приспосабливается к определенным вариантам собственно-го отображения (и это самая частая, самая массовая реакция), возмущается другими вариантами (что бывает значительно реже и относится скорее к группам и людям, которые вырываются за рамки общераспространенных эталонов).

В традиционных и литературных мифологемах *зеркало* (изображение, портрет) неизменно наделялось колдовскими свойствами влияния на изображаемое лицо – достаточно вспомнить, как использовались такие символы у Н. Гоголя, у А. Тарковского. Зеркало общественного мнения тоже активно, не всегда приятно, заставляет считаться с собой; как и в мифах, его нередко стараются спрятать или разбить. Зеркало организует, успокаивает, мобилизует, тревожит, побуждает прихорашиваться и так далее. В ультрастабильных традиционных обществах образ Зеркала использовался и как нормативный эталон (знаменитое в XVIII веке «Юности честное зеркало»); сейчас это может быть преимущественно эталон оспариваемый. Оспаривают «зеркало мнений», конечно, прежде всего политические аутсайдеры и неудачники – с этим нам приходилось, в частности, сталкиваться в период избирательных кампаний 1995–1996 годов.

«Есть мнение»? Уроки нетипичной анкеты 1989 года

Один из первых поучительных эпизодов нашей работы с общественным мнением в самый напряженный, переломный момент горбачевской перестройки был связан с единичным и, вообще говоря, исключительным случаем. Напомню ситуацию для новых читателей. В начале 1989 года в отделе теории ВЦИОМ придумали исследование по итогам минувшего года (тогда оно называлось «Новый год» или «Общество 88–89») и вариант анкеты опубликовали в «Литературной газете», которая тогда имела репутацию очень демократического и массового издания, в том пиковом году гласности

она выходила тиражом в шесть миллионов (!) экземпляров. Самый крупный знаток изучения общественного мнения отец-основатель Центра Б.А. Грушин уверенно предсказал: получим тысячу писем, больше не может быть. Через неделю почта стала приносить мешки писем-ответов, всего их набралось почти 200 тысяч. Вскоре появились и результаты «обычного» репрезентативного опроса по той же анкете (2000 респондентов по всесоюзной выборке). Сравнение двух массивов позволило исследователям подготовить книгу¹, которая и сейчас дает определенный материал для размышлений.

Авторы отмечали уникальную насыщенность событиями изучавшегося года. Именно в том году процессы общественных перемен, начатые в 1985 году и казавшиеся поначалу верхушечными, «прежде всего процессы распада и дискредитации старых... общественных структур приобрели лавинообразный характер. Массы реально стали включаться в противоречивые процессы, стимулируемые перестройкой». Тогдашняя общественная атмосфера со всеми ее надеждами и тревогами сегодня представляется во многом наивной и, во всяком случае, безвозвратно ушедшей. Стремление респондентов пресс-анкеты «высказаться» и добиться ответа от «верхов» весьма характерно для периода, когда «уже» научились высказываться, но «все еще» ожидали милостей от старого партначальства.

В этих условиях мы видели свою главную задачу не в отслеживании «колебаний общественного мнения», а в изучении того, как формируется сам этот социальный институт. Рассмотрение заведомо непредставительного пресс-опроса объясняли для себя необходимостью видеть «динамическую структуру общества», факторы социальной активности, механизм распространения изменений². Пресс-опрос охватил

¹ См.: Есть мнение! Итоги социологического опроса. М.: Прогресс, 1990.

² Там же. С. 7, 8, 14–15.

преимущественно более образованную элиту общества (более половины откликнувшихся – высокообразованные специалисты и руководители), поэтому сравнение его данных с репрезентативными в какой-то мере позволяло представить себе тогдашнюю разность потенциалов в обществе.

Приведу некоторые данные из двух вариантов первого «новогоднего» исследования.

Таблица 1

Итоги 1988 года в общественном мнении
(в % от числа опрошенных)

Позиции анкеты	Репрезентативный опрос*		Пресс-опрос**	
Причины трудностей	Коррупция, пьянство	59	Засилье бюрократов	63
Участие в политической жизни	«Нет возможности влиять...»	34	«Нет возможности влиять...»	64
«Мужчины года»	М. Горбачев Н. Рыжков Б. Ельцин	55 13 4	М. Горбачев А. Сахаров Б. Ельцин	69 17 16
Важнейшее событие 1988 года	Начало вывода советских войск из Афганистана	63	Начало вывода советских войск из Афганистана	56
Переворот в высшем руководстве...	Возможен	19	Возможен	32
	Невозможен	53	Невозможен	52

* Исследование ВЦИОМ (N = 2000 человек).

** Опрос читателей «Литературной Газеты» (N = 200 тыс. человек).

Как молоды – осторожны и нерешительны! – мы были... («мы» – это общество и исследователи того далекого года). Отметим, что элита больше бранила бюрократов, сетовала на невозможность политического участия, надеялась на Горбачева и... опасалась переворота «антихрущевского» типа.

Наше политическое участие: удачи и неудачи

Первые реальные избирательные кампании 1989 года (выборы народных депутатов СССР) и 1990-го (выборы российских депутатов) прошли, к сожалению, без социологических опросов; видимо, ни потенциальные заказчики, ни исследователи не были готовы к такому виду политического участия. Впервые ВЦИОМ опробовал небольшой по репрезентативности опрос (N = 1000 человек) накануне президентских выборов в России (РСФСР) 12 июня 1991 года. Результат оказался довольно удачным: согласно опросу, Б. Ельцин мог получить 60% голосов избирателей, по официальным данным за него голосовали 57%. Правда, выяснить влияние других пяти кандидатов этот опрос не позволил. Вскоре после выборов в июле 1991 года был проведен специальный опрос, посвященный выяснению распределения поддержки различных кандидатов и мотивов голосования; в частности, рассматривалась структура избирательной поддержки В. Жириновского. (Последовавшие события августа отвлекли общественное внимание от обстоятельного анализа результатов и методологической стороны этого исследования.)

В бурном 1993 году ВЦИОМ уже по собственной инициативе выяснял ситуацию перед апрельским референдумом по вопросу доверия к президенту Ельцину, его экономической политике, досрочных выборов президента и Верховного Совета. Данные опроса были по главным позициям близки к официальным результатам.

Референдум. Апрель 1993

Вопросы референдума*	Опрос ВЦИОМ**	Официальные данные***
<i>Доверие президенту РФ</i>		
Да	53	59
Нет	31	39
<i>Одобрение социальной и экономической политики</i>		
Да	40	53
Нет	41	46
<i>Досрочные выборы президента</i>		
Да	35	32
Нет	55	30
<i>Досрочные выборы Народных депутатов</i>		
Да	65	43
Нет	19	19

* Текст вопросов референдума приведен в сокращении.

** Опрос ВЦИОМ проводился 16 апреля 1993 (N = 1600 человек, в % от числа опрошенных).

*** Данные Центризбиркома (в % от числа голосовавших).

Эти успешные, в общем, опыты электоральных исследований привели к тому, что серия предвыборных опросов накануне выборов в Государственную Думу 13 декабря 1993 года проводились по той же методике, с теми же ожиданиями, что «городские» данные, с определенными оговорками, окажутся пригодными для представления избирательных намерений всей массы избирателей. Здесь нас постигла крупная неудача – сильно преувеличенным оказалось влияние тогдашних правящих сил («Выбора России») и преуменьшенной избирательная поддержка оппозиции (прежде всего, ЛДПР). Правда, буквально в последние дни перед выборами, когда публикация опросных данных уже не разрешалась, мы смогли заметить важные сдвиги в избирательских настроениях – быстрый рост влияния партии В. Жириновского и

уменьшение поддержки правительственных сил.

Таблица 3

Выборы в Государственную Думу по партийным спискам. 13 декабря 1993

Основные политические партии и блоки	Опрос ВЦИОМ*	Официальные данные**
Аграрная партия России	2	8
Блок «ЯБЛ»	9	8
«Выбор России»	15	15
Гражданский союз	2	2
Демократическая партия России	5	6
КПРФ	5	12
ЛДПР	9	23
ПРЕС	4	7
«Женщины России»	4	8
РДДР	4	4

* Опрос ВЦИОМ проводился 8 декабря 1993 (N = 1155 человек; в % от числа опрошенных).

** Данные Центризбиркома (в % от числа голосовавших).

Очевидно, что мы недооценили – как методически, так и теоретически – новое политическое явление: политическую энергию недовольных масс, прежде всего из малых городов и сел, служивших основной базой поддержки партии Жириновского. («Левая», коммунистическая оппозиция была еще довольно слаба и ее влияние было трудно предсказуемым по опросным данным.) Недооценили мы тогда и нараставшего негативного для правительства влияния кровавых событий октября 1993 года в Москве. Если в первый момент большинство населения, по некоторой традиции лояльности к Ельцину и неприятия действий парламентского руководства, считали действия президентской стороны в те дни оправданными, то уже в ноябре ситуация изменилась: разочарование большинства и раскол «демократической» элиты подорвали

влияние власти и привели к переоценке октябрьского конфликта.

Пришлось серьезно заняться переоценкой собственной методики опросов и восстановлением престижа электоральных исследований. Это касалось выборки и способов взвешивания результатов. Кроме того, сложилось впечатление, что мы принципиально не поняли такого изменения в структуре общественных настроений, которое явилось концом «мобилизационного общества».

Следующие политические испытания – думские выборы декабря 1995 года – ВЦИОМ выдержал довольно успешно.

Таблица 4

Выборы в Государственную Думу по партийным спискам. 16 декабря 1995

Основные политические партии и блоки	Опрос ВЦИОМ*	Официальные данные**
КПРФ	19	22,3
НДР	10	10,1
ЛДПР	12	11,2
«Яблоко»	10	6,9
«Женщины России»	9	4,6
«Вперед, Россия!»	4	1,9
Партия самоуправления трудящихся	4	4,0
ДВР	4	3,9
Аграрная партия России	3	3,8

* Опрос ВЦИОМ проводился 16 декабря 1995 (N = 1600; в % от числа намеревающихся голосовать).

** Данные Центризбиркома (в % от числа голосовавших).

Здесь было немного ошибок: переоценено влияние «Женщин России» и «Яблока», кроме того, недооценено влияние «Трудовой России» (которая получила около 4% голосов).

Электоральные исследования перед президентскими выборами 1996 года оказались более точными.

Таблица 5

Президентские выборы 1996 (I тур)

	Опрос ВЦИОМ*	Прогноз ВЦИОМ**	Официальные данные***
Б. Ельцин	36	35–39	37
Г. Зюганов	24	29–34	31
А. Лебедь	10	10–11	15
Г. Явлинский	8	7	7
В. Жириновский	6	8	6

* Опрос ВЦИОМ проводился в конце июня 1996 (N = 1600; в % от числа намеревающихся голосовать).

** Предвыборный прогноз ВЦИОМ с учетом предполагаемого распределения мнений тех, кто не дал ответа о своих намерениях (около 10% опрошиваемых).

*** Данные Центризбиркома (в % от числа голосовавших).

Таблица 6

Президентские выборы 1996 (II тур)

	Опрос ВЦИОМ*	Официальные данные**
Б. Ельцин	53	53,8
Г. Зюганов	34	40,3

* Опрос ВЦИОМ проводился 30 июня 1996 (N = 1600; от числа намеревающихся голосовать).

** Данные Центризбиркома (в % от числа голосовавших).

Собственно говоря, после этих выборов задача электоральных исследований в России как будто превратилась в чисто технологическую; чтобы правильно показать динамику намерений избирателей, требуется грамотно реализовать уже отработанную технику исследования и отследить динамику электоральной поддержки различных кандидатов. Однако

принципиальное значение приобрел вопрос о перспективах расстановки самих политических сил, которые могут претендовать на поддержку избирателей.

Известно, что на прошедших президентских выборах решающую роль сыграло «протестное» голосование: из тех 38% избирателей, которые во втором туре поддержали Ельцина, только половина считала себя его сторонниками, другая половина голосовала «против Зюганова». Один из итогов этого – неустойчивость общественных настроений в последующий сложный год, неясность контуров будущих избирательных блоков.

Мониторинг – главный «фирменный» продукт ВЦИОМ

Весной 1993 года была запущена самая трудная и значимая исследовательская программа центра – мониторинг экономических и социальных перемен, разработанный под руководством Т. Заславской и превратившийся в своего рода символ, знамя общей работы ВЦИОМ. При всех трудностях, связанных прежде всего с отсутствием регулярного финансирования, программу удастся поддерживать и постоянно вводить в сферу научного знания материал долговременных рядов данных по основным сферам социальной и экономической жизни общества. Для осуществления такого проекта требовалось то самое сочетание регулярных опросов с аналитической работой квалифицированных специалистов разного профиля, которым обладает ВЦИОМ – и, по-видимому, только ВЦИОМ.

Опыт мониторинга показал, насколько плодотворным и интересным может стать отслеживание длительных рядов субъективной информации. Выявление сиюминутных настроений и кратковременных колебаний общественного настроения имеет, разумеется, свой смысл, но это – другое дело.

Во-первых, мониторинговая программа является важней-

шим средством проверки методологической надежности инструментов исследования. Физики считают критерием истинности экспериментального результата возможность его повторить в тех же условиях. Близость результатов многомесячных, многолетних замеров определенного показателя дает принципиальную возможность считать такие результаты достоверными (при соблюдении прочих адекватных условий, например, правильности построения выборки, в противном случае возможны повторяющиеся, систематические ошибки).

Во-вторых, обнаруживаемая мониторингом устойчивость ряда важнейших субъективных показателей – например, настроения, индекса терпения, оценок собственного положения и прочего – говорит о том, что в обществе, в самосознании и самочувствовании людей, сохраняется основа определенной стабильности. Это позволяет человеку, семье, основным социальным связям сохраняться в условиях бурных перемен и нестабильности. В отслеживаемых с помощью мониторинговых исследований долговременных рядах показателей можно выделить разные уровни устойчивости:

- показатели доверия к политическим лидерам (особенно, если это касается наиболее «модных», опирающихся на личную популярность) обнаруживают максимум изменчивости;
- симпатии по отношению к политическим партиям и направлениям изменяются медленнее;
- тенденции экономического поведения (потребительские настроения и другие) следуют сдвигам в экономической конъюнктуре и социальных настроениях;
- индикаторы социального самочувствия (терпения, ожиданий) колеблются в определенных пределах в зависимости от социально-политической обстановки в стране;
- индикаторы личного самочувствия остаются практически неизменными за долгий период наблюдений.

Видимо, показатели социального состояния могут быть, в принципе, разделены на ситуативные, «экстравертные», от-

ражающие отношения к переменчивой внешней конъюнктуре, и «интравертные», отражающие внутреннюю структуру человеческих установок. Первые тяготеют к нестабильности, адаптации к меняющейся среде, вторые – к стабильности, к сохранению некоторой базовой структуры ориентаций.

Человек – советский и постсоветский

В научном отношении самым амбициозным проектом ВЦИОМ является широко задуманный «Человек». Как материалы, так и программные установки этого проекта не раз публиковались в журнале «Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения». Если первое исследование и написанная на его основе книга³ базировались на одном опросе, то теперь в распоряжении исследователей не только возможность сопоставительного анализа двух опросов (1989 и 1994), но и множество данных, полученных в ходе исследований типа «Мониторинг», которые позволяют видеть существенные моменты динамики и статичности на «человеческом» уровне. Видимое богатство материала, однако, не компенсирует методологических и теоретических проблем, которые нуждаются в значительно более глубокой разработке.

Изменения, происшедшие за последние годы в различных сферах жизни общества, вынуждают исследователей принимать во внимание новые предметы социально-антропологического анализа, не существовавшие или малозаметные в конце 80-х годов, а также изменять подходы к ряду рассматривавшихся ранее проблем.

Тогда многим представлялось, что крушение официальных институтов принуждения и идеологической обработки, присущих советской системе, высвободит человека «нового» по отечественным масштабам – или «нормального» по миро-

³ См.: Советский простой человек. М.: Мировой океан, 1993.

вым – способного действовать в рамках демократии. Действительность оказалась более сложной, ломка старой общественной системы – длительной и мучительно противоречивой.

В этих условиях приобрели самостоятельное значение проблемы положения человека в системе социальных институтов, возможностей квазиполитической мобилизации, различных уровней адаптации к изменившимся условиям официальности и повседневности, утверждения сферы приватности, формирования новых групповых рамок деятельности, механизмов идентификации, комплексов и фобий, наблюдаемых в исследованиях общественного мнения. Достигнутая в результате перемен последних лет открытость по отношению к внешнему миру оказалась противоречивой и болезненной – и в человеческой сфере не менее, чем в экономической и социальной.

Сохраняет свою напряженную актуальность и вопрос о том, насколько долго и какой ценой человек может этот тяжелый переход выдерживать – иначе говоря, о «запасе прочности» человеческого материала в различных его структурных образованиях и слоях, а также и о самой природе этой «прочности».

Сделанное и несделанное

За время своей работы (до июля 1997) ВЦИОМ провел около *тысячи* массовых опросов, в ходе которых было опрошено *полтора миллиона* человек. Выпущено 32 номера журнала «Мониторинг», несчетное число статей в прессе, информационных материалов, отчетов и так далее. ВЦИОМ пользуется хорошей известностью в стране и в мире.

Мы имели основания для того, чтобы считаться «ведущим» исследовательским центром по изучению общественного мнения в СССР и потом в России – не потому, что кого-то «вели» или кому-то «указывали», а только потому, что стремились профессионально работать и исследовать полу-

ченные результаты. Можно надеяться, что это положение ВЦИОМ удастся сохранить и впредь.

«Мониторинг...» 1997. № 6

Научное издание

Левада Юрий Александрович

Сочинения

Социологические очерки
1993–2000

Составитель **Левада** Тамара Васильевна.

Технический редактор Шаталова Л.В.

В книге использованы фотографии
из личного архива Ю.А. Левады.

Подписано в печать 28.06.2011.
Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 32.
Тираж 200 экз. Заказ № 1725.

Издатель Карпов Е.В.
121357, Москва, ул. Верейская, д. 29

Отпечатано в типографии
ООО «Бизнес континент»
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 4